

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

SIBERIAN HISTORICAL RESEARCH

Научный журнал

2024

№ 1

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 54966 от 08.08.2013)

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 94047

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, входящих
в международные реферативные базы данных и системы цитирования,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», Высшей аттестационной комиссии

Учредитель – Томский государственный университет

Главный редактор

Функ Дмитрий Анатольевич, Московский государственный лингвистический университет, Россия

Редакционная коллегия:

Соколовский Сергей Валерьевич, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия – заместитель главного редактора

Зайцева Ольга Викторовна, Томский государственный университет, Россия – заместитель главного редактора

Хазанов Анатолий Михайлович, университет Висконсин-Мэдисон, США
Нам Ираида Владимировна, Томский государственный университет, Россия
Швайцер Петер, университет г. Вена, Австрия

Трубина Елена Германовна, Уральский федеральный университет, Россия

Редакторы отдела рецензий:

Басов Александр Сергеевич, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Ковальский Святослав Олегович, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Редакционный совет:

Балзер Марджори Мандельштам, Джорджтаунский университет, США

Бич Хуберт, университет г. Уппсала, Швеция

Бирталан Агнеш, университет им. Лоранда Этвеша, Венгрия

де Грааф Тьеерд, университет г. Гронинген, Нидерланды

Грант Брюс, университет Нью-Йорка, США

Дериглазова Лариса Валериевна, Томский государственный университет, Россия

Дыбо Анна Владимировна, Институт языкознания РАН, Россия

Дятлов Виктор Иннокентьевич, Иркутский государственный университет, Россия

Завьялов Владимир Игоревич, Институт археологии РАН, Россия

Зиновьев Василий Павлович, Томский государственный университет, Россия

Крадин Николай Николаевич, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Россия

Лбова Людмила Валентиновна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия

Миськова Елена Вячеславовна, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Степанов Шарль, Практическая Школа Высших Исследований, Франция

Харусь Ольга Анатольевна, Томский государственный университет, Россия

Хлыновская-Рокхилл Елена Владимировна, Кембриджский университет, Великобритания, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Секретарь: *Альбина Глуценко (Рассказчикова)*, Томский государственный университет, Россия

Переводчик: *Даниил Уигет*, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Адрес издателя и редакции:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет.

E-mail: shrjournal@mail.tsu.ru. Сайт журнала: www.journals.tsu.ru/siberia

Издательство: Издательство Томского государственного университета.

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.

Телефоны: 8(382-2)–52-98-49; 8(382-2)–53-15-28; 8(382-2)–52-96-75

Сайт: <http://publish.tsu.ru>

E-mail: rio.tsu@mail.ru

Founder – Tomsk State University

Editor-in-Chief

Funk, Dmitriy, Moscow State Linguistic University, Russia

Editorial Board:

Sokolovskiy, Sergey, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia – Associate Editor

Zaytseva, Olga, Tomsk State University, Russia – Associate Editor

Hazanov, Anatoliy, University of Wisconsin-Madison, USA

Nam, Iraida, Tomsk State University, Russia

Schweitzer, Peter, University of Vienna, Austria

Trubina, Elena, Ural Federal University, Russia

Book Review Editors:

Basov, Aleksandr, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

Kovalskiy, Svyatoslav, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

Editorial Advisory Board:

Balzer, Marjorie Mandelstam, Georgetown University, USA

Beach, Hubert, Uppsala University, Sweden

Birtalan, Agnes, Eotvos Lorand University, Hungary

de Graaf, Tjeerd, Groningen University, the Netherlands

Grant, Bruce, University of New York, USA

Deriglazova, Larisa, Tomsk State University, Russia

Dybo, Anna, The Institute of Linguistics, RAS, Russia

Dyatlov, Viktor, Irkutsk State University, Russia

Zavyalov, Vladimir, Institute of Archaeology RAS, Russia

Zinoviev, Vasiliy, Tomsk State University, Russia

Kradin, Nikolay, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far-East, Far-Eastern Branch of the RAS, Russia

Lbova, Lyudmila, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

Miskova, Elena, Institute of Ethnology and Anthropology RAS, Russia

Stépanoff Charles, Ecole Pratique des Hautes Etudes, France

Kharus, Olga, Tomsk State University, Russia

Khlinovskaya Rockhill, Elena, University of Cambridge, UK,
Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

Secretary *Albina Glushchenko (Rasskazchikova)*, Tomsk State University, Russia

Translator *Daniel Wiget*, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

СОДЕРЖАНИЕ

Функ Д.А. Редакторская колонка	8
--------------------------------------	---

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Боас Ф. Классификация американских языков (перевод с англ. И.В. Кузнецова)	14
Кузнецов И.В. Американистика и компаративистика. Комментарии переводчика	29

СОСЕДИ И СОСЕДСТВО: ДЖИННЫ И ЛЮДИ В МУСУЛЬМАНСКИХ КУЛЬТУРАХ (продолжение)

(отв. ред. специальной темы номера – К.П. Трофимова и А.А. Ярлыкапов)

Башарин П.В. Джинны и дивы как «чужие»: демонизация образа врага в классической мусульманской традиции и ее истоки	47
Трофимова К.П. Нарративы о джиннах и динамика суфийской религиозности на Балканах. Этнографический очерк	69
Ярлыкапов А.А. Йинли молла в Ногайской степи: феномен советского ислама	91

АНТРОПОЛОГИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (отв. редактор специальной темы номера Д.А. Функ)

Функ Д.А. Антропология в условиях неопределенности. Размышления о динамике и статике научного творчества	106
Голубинская А.В. Что бы сделал Роберт Мёртон, если бы у него был ChatGPT? ...	112
Николаи Ф.В., Маслов А.Н. Неопределенность темпоральных границ в исследованиях исторической реконструкции	125
Мочалова М.А. Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920–1930-е гг.	139

MISCELLANEA

Веселовская Е.В., Рассказова А.В., Рашковская Ю.В., Просикова Е.А. Внешний облик населения средневековой крепости Плѣс	166
Ростовцева В.В., Бутовская М.Л., Мезенцева А.А. Представления о привлекательности мужского и женского тела и особенности полового диморфизма русских и бурят	185
Шульгина О.М., Давыдов В.Н. Агитрейс на Чукотке: «Энергию планов и замыслов – в энергию дел». К 90-летию фотографа Н.Н. Боброва	210
Танайлова В.А. Память и политика. Кавказская война в мемориальном пространстве Чечни	229
Дятлов В.И., Дятлова Е.В. Чайна-таун в России: судьба символа «китайской экспансии»	251

РЕЦЕНЗИИ

Басов А.С. Добывающие компании и местные сообщества в Канаде и на Филиппинах	272
---	-----

CONTENTS

Funk D.A. Editor's Note	8
--------------------------------------	---

ANTHROPOLOGICAL HERITAGE

Boas F. The Classification of American Languages (Translated from English by Igor V. Kuznetsov)	14
Kuznetsov I.V. American Studies and Comparative Linguistics. Comments by the Translator	29

NEIGHBORS AND NEIGHBORSHIP: DJINN AND HUMANS IN MUSLIM CULTURES (continuation)

(Guest Editors K.P. Trofimova and A.A. Yarlykapov)

Basharin P.V. Jinn and Divs as the Other: Demonizing the Enemy in Classical Islamic Tradition and its Origins	47
Trofimova K.P. Narratives of the Djinn and the Dynamics of Sufi Religiosity in the Balkans. An Ethnographic Essay	69
Yarlykapov A.A. <i>Yinli Molla</i> in the Nogai Steppe: The Phenomenon of Soviet Islam ...	91

THE ANTHROPOLOGY OF UNCERTAINTY *(Executive Editor D.A. Funk)*

Funk D.A. Anthropology in Uncertain Conditions. Thoughts on the Dynamics and Statics of Scientific Creativity	106
Golubinskaya A.V. What Would Robert Merton Do if He Had ChatGPT?	112
Nikolai F.V., Maslov A.N. The Uncertainty of Temporal Boundaries in Reenactment Studies	125
Mochalova M.A. The Production of Knowledge and Heritage as a Struggle Against Uncertainty: The Case of the Indigenous Peoples of Taimyr in the 1920s–1930s	139

MISCELLANEA

Veselovskaya E.V., Rasskazova A.V., Rashkovskaya Y.V., Prosikova E.A. The Appearance of the Population of the Medieval Fortress of Ples	166
Rostovtseva V.V., Butovskaya M.L., Mezentseva A.A. Preferences for Male and Female Body Parameters and Characteristics of Sexual Dimorphism in Russians and Buryats	185
Shulgina O.M., Davydov V.N. Agitreis in Chukotka: “The Energy of Plans and Thoughts – To the Energy of Deeds”. To the 90th Anniversary of Photographer N.N. Bobrov	210
Tanaylova V.A. Memory and Politics. The Caucasian War in the Memorial Space of Chechnya	229

Diatlov V.I., Diatlova E.V. Chinatown in Russia: The Fate of the Symbol
of “Chinese Expansion” 251

REVIEWS

Basov A.S. Mining Companies and Local Communities in Canada
and the Philippines 272

doi: 10.17223/2312461X/43/1

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

Уважаемые читатели!

Пошел двенадцатый год жизни журнала *Сибирские исторические исследования*.

Прежде, чем кратко представить наши планы на этот год, хочу сделать несколько комментариев в отношении года ушедшего. И даже не применительно к журналу (который, кстати, сохранил свои позиции во всех лидирующих журнальных базах банных и рейтингах), а в целом к нашей дисциплине, во всякой случае, к российской ее части.

Из важных ее потерь и приобретений я бы выделил следующие два.

Безусловная потеря – уход из жизни ученого-энциклопедиста Сергея Александровича Арутюнова (1932–2023). Хотел написать, российского, но это было бы неверно. Арутюнов был ученым с мировым именем. Его докладами и лекциями заслушивались коллеги и студенты как у нас в стране, так и в Европе, Азии, Америке. Острый ум, уникальные аналитические и ораторские способности, открытия мирового уровня и великолепные книги снискали ему славу выдающегося ученого еще при жизни. Прекрасный учитель, он за свою долгую жизнь одних лишь кандидатов и докторов наук подготовил не менее полусотни, не говоря уже о нескольких поколениях студентов-этнологов.

При всей своей академической монументальности Арутюнов был еще и удивительно живым человеком, человечным во всех проявлениях. Он любил шумные застолья, он писал стихи, и он был при всем при том скромным человеком: хорошо помню обрывок уголка газеты на табличке двери его кабинета, на котором от руки было написано «член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов». Немного выпендрежа, но уж точно никакой помпезности и официоза.

Феномен, имя которому – гений, думаю, так и останется загадкой, которую будут решать многие поколения исследователей, идущих ему во след.

Из существенных приобретений (в широком смысле слова) я бы отметил активизацию интереса к истории нашей науки, позволяющую лучше понять как истоки антропологической мысли, так и ее современные проблемы и перспективы, да и собственно наше место, место антропологов в этом мире. В 2023 г. на свет родилась новая книжная серия «Методы антропологии», в которой стали активно публиковаться переводы работ, сыгравших – по тем или иным причинам не всегда сразу и

напрямую – значимую роль в становлении и развитии этой науки. Лишь только за первый год в серии вышло семь значимых книг¹ Рут Бенедикт, Пола Радина, Янагиты Кунио, Франца Боаса и Джеймса Фрэзера. Казалось бы, ничего удивительного, ведь даже сейчас существует еще несколько серийных изданий с переводами классических антропологических работ, но есть одно значимое отличие. Это не серия, в которой в год издается в лучшем случае одна книга². К семи изданным за год работам в серии «Методы антропологии» в наступившем году должны прибавиться еще порядка полутора десятка знаковых трудов – книги Ф. Боаса, З. Хёрстон, М. Чаплицкой, П. Радина, Р. Флаэрти, Г. Бейтсона, Д. Хаймса, Б. Уорфа, Д. Стокинга, Ф. Ванклея и др. И изданы они должны быть без ущерба как для качества переводов, что достигается сотрудничеством с командой профессиональных переводчиков из Московского государственного лингвистического университета, так и для научной составляющей книг, к работе над выпуском которых привлекаются ведущие этнологи/антропологи.

Есть и то, что волнует. Прежде всего это продолжающаяся (само)изоляция российской антропологии. Отдельные индивидуальные поездки наших коллег на международные зарубежные форумы общей ситуации не меняют. Доступ к современной литературе и журнальным базам данных сведен практически на нет, что, в общем-то, делает бессмысленными попытки надувания щек управленцами от науки, а порой и нами самими: мы все глубже погружаемся в трясины местечковых подходов к изучаемым феноменам просто потому, что не знаем, как с ними работают за рубежом. Не читать и не общаться с коллегами в нашей дисциплине нельзя, и эту ситуацию надо исправлять обязательно и как можно скорее.

Но есть еще одно, на что я хотел бы обратить внимание коллег. Очередной конгресс антропологов и этнологов России, состоявшийся летом 2023 г. в Санкт-Петербурге, как мне видится, в последний день работы продемонстрировал разрыв сообщества специалистов, называющих себя антропологами, этнологами или этнографами. На итоговое заседание и безальтернативные выборы президента ассоциации пришли 150 человек, ставших в итоге членами этой ассоциации. Это менее пятой части от общего числа тех, кто принял участие в работе конгресса (напомню, что всего было 803 участника). Даже с поправкой на наличие среди непришедших некоего числа тех, кто раньше уехал с этого форума, это повод

¹ В декабре 2023 г. серия «Методы антропологии» с успехом была представлена на книжной ярмарке non-fiction № 25. См.: <https://vk.com/@-212818264-nonfiction-25-rezentaciya-serii-metody-antropologii>

² В серии «Этнографическая библиотека» за 40 лет выпущено 19 книг, из них 14 переводных.

задуматься о том, что и почему происходит в данном сообществе и какими могут быть перспективы дальнейшего его существования.

А теперь о журнале. Мы рассчитываем на появление на его страницах целого ряда важных для развития антропологии/этнологии текстов и на интерес к ним широкого круга читателей. В этом году в планах публикация специальных тем номеров, посвященных, в частности, антропологии неопределенности, репрезентации этничности коренных малочисленных народов, социальным последствиям экстрактивизма, феномену поля в советской этнографии, палеоискусству, истории науки, включая издание ранее не переводившихся на русский язык классических антропологических работ, продолжение уже давно начатого разговора о джиннах и людях в мусульманских культурах. В рубрике *Miscellanea* мы по-прежнему планируем помещать статьи, в теоретическом ключе затрагивающие и обсуждающие самые различные аспекты современной социокультурной антропологии. Редакторы отдела рецензий, как и ранее, готовы предлагать на рецензирование значимые в научном плане книги. Мы будем рады видеть в журнале как информирующие и аналитические рецензии, так и обзоры.

Надеюсь, что антропология вопреки всем обстоятельствам останется той наукой, которую мы все привыкли в ней видеть, открытой и готовой к обсуждению самых сложных социальных и культурных проблем (не хотеть или бояться говорить о них – это даже хуже, чем не уметь порой их понять и объяснить), а журнал *Сибирские исторические исследования* – востребованной для публикации серьезных антропологических работ площадкой.

Дмитрий Функ

EDITOR'S NOTE

Dear Readers!

The twelfth year of the life of the journal *Siberian Historical Research* has begun.

Before briefly presenting our plans for this year, I want to make a few comments about the year that has passed. And not even in relation to the journal (which, by the way, has retained its position in all the leading journal databases and ratings), but in general to our discipline, or, at least, to the Russian part of it.

Of its important losses and acquisitions, I would single out the following two.

An unconditional loss is the passing away of the encyclopedic scientist Sergei Alexandrovich Arutyunov (1932-2023). I wanted to write "Russian", but that would be wrong. Arutyunov was a world-renowned scientist. His reports and lectures were heard by colleagues and students both in our country and in Europe, Asia, and America. His sharp mind, unique analytical and oratorical abilities, world-class discoveries and excellent books earned him fame as an outstanding scientist during his lifetime. An excellent teacher, he has trained at least fifty candidates and doctors of sciences alone in his long life, not to mention several generations of ethnology students.

For all his academic monumentality, Arutyunov was also a surprisingly lively person, humane in all its manifestations. He loved noisy feasts, he wrote poetry, and he was, for all that, a modest man: I well remember a fragment of a newspaper corner on the sign of his office door, on which it was handwritten "Corresponding member of the Russian Academy of Sciences Sergey Arutyunov". Something of a show-off, but certainly no pomposity and officiousness.

This phenomenon whose name is genius, I think, will remain a mystery that will be solved by many generations of researchers following him.

Of significant acquisitions (in the broadest sense of the word) I would note the increased interest in the history of our science, which allows us to better understand both the origins of anthropological thought and its current problems and prospects, and indeed our place, the place of anthropologists, in this world. In 2023, a new book series named "Methods of Anthropology" was born, in which translations of works that, for one reason or another, did not always immediately and directly play a significant role in the formation and development of this science began to be actively published. In the first year alone, seven significant books were published in the series¹ by Ruth Benedict,

¹ In December 2023, the series "Methods of Anthropology" was successfully presented at the book fair Non-Fiction No. 25. See: <https://vk.com/@-212818264-nonfiction-25-prezentaciya-serii-metody-antropologii>

Paul Radin, Yanagita Kunio, Franz Boas and James Fraser. It would seem that this is not surprising, because even now there are several more serial editions with translations of classical anthropological works, but there is one significant difference. This is not a series in which, at best, one book¹ is published per year. To the seven works published in the year in the series "Methods of Anthropology" in the coming year, about a dozen more landmark works should be added — books by Boas, Hurston, Chaplitskaya, Radin, Flaherty, Bateson, Hymes, Whorf, Stocking, Vanclay and others. And they should be published without prejudice to both the quality of translations, which is achieved by cooperation with a team of professional translators from the Moscow State Linguistic University, and for the scientific component of books, the work on the release of which involves leading ethnologists / anthropologists.

There is also something that is worrying. First of all, it the ongoing (self)isolation of Russian anthropology. Individual trips of our colleagues to international foreign forums do not change the overall situation. Access to modern literature and journal databases is practically nullified, which, in general, makes pointless attempts to inflate the cheeks of "managers from science", and sometimes by ourselves: we are sinking deeper into the quagmire of parochial approaches to the studied phenomena simply because we do not know how to work with them abroad. It is impossible not to read or communicate with colleagues in our discipline, and this situation must be corrected as soon as possible.

But there is one more thing that I would like to draw the attention of my colleagues to. The latest congress of anthropologists and ethnologists of Russia, held in the summer of 2023 in St. Petersburg, as I see it, on the last day of work demonstrated the rupture of the community of specialists calling themselves anthropologists, ethnologists or ethnographers. 150 people came to the final meeting and the uncontested election of the president of the association, who eventually became members of this association. This is less than a fifth of the total number of those who took part in the congress (let me remind you that there were 803 participants in total). Even adjusted for the presence among the non-participants of a certain number of those who left this forum earlier, this is an occasion to think about what is happening in this community and why, and what the prospects for its further existence may be.

And now about the journal. We look forward to the appearance on its pages of a number of texts important for the development of anthropology/ethnology and to the interest of a wide range of readers in them. This year, it is planned to publish special topics in issues devoted, in particular, to the anthropology of uncertainty, the representation of the ethnicity of indigenous small peoples, the social consequences of extractivism, the phenomenon of the field in Soviet

¹ In the Ethnographic Library series, 19 books have been published over 40 years, 14 of them translated.

ethnography, paleoart, the history of science, including the publication of classical anthropological works that had not been translated into Russian before, the continuation of a conversation about djinn and people that had long been started in Muslim cultures. In the *Miscellanea* section, we still plan to place articles that theoretically touch upon and discuss the most diverse aspects of modern socio-cultural anthropology. The editors of the review department, as before, are ready to offer scientifically significant books for review. We will be glad to see both informative and analytical reviews and overviews in the journal.

I hope that anthropology, despite all the circumstances, will remain the science that we are all used to seeing in it, open and ready to discuss the most difficult social and cultural problems (not wanting or being afraid to talk about them is even worse than sometimes not being able to understand and explain them), and the journal *Siberian Historical Research* will be in-demand site for publications of serious anthropological works.

Dmitriy Funk

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Научная статья
УДК 303.446.23 (81-119)
doi: 10.17223/2312461X/43/2

Классификация американских языков

Франц Боас

Аннотация. Вниманию читателей предлагается перевод статьи «Классификация американских языков» авторства Ф. Боаса (1920 г., с дополнением 1929 г.) – одного из отцов-основателей современной антропологии, «героического ментора» Исторической школы и американского дескриптивизма, включая поле, которое посвящено исследованию бесписьменных языков. К указанному времени лингвистические антропологи из Северной Америки совершили огромный прорыв в изучении и систематизации «экзотических» (неевропейских) языков, появились знаменитые шесть фил Э. Сэпира. Для понимания особенностей методологии, которой руководствовались эти исследователи, исключительно важна позиция Боаса. К сожалению, его работы на указанную тему никогда не переводились на русский язык. Представленная публикация призвана восполнить этот пробел.

Ключевые слова: Франц Боас, родство языков, компаративистика, скрещенные языки, языки коренных американцев

Для цитирования: Боас Ф. Классификация американских языков / пер. с англ. И.В. Кузнецова // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 14–28. doi: 10.17223/2312461X/43/2

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/2

The Classification of American Languages (Translated from English by Igor V. Kuznetsov)

Franz Boas

Abstract. The readers are invited to familiarize themselves with an article, ‘The Classification of American Languages’ (1920, with an extension of 1929), by Franz Boas, who was one of the founding fathers of modern anthropology, as well as the “heroic mentor” of the Historical School and American descriptivism, including the field devoted to the study of unwritten languages. By the time Boas’s article was published, linguistic anthropologists from North America had made a huge breakthrough in the study and systematization of “exotic” (non-European) languages, and Edward Sapir’s famous six phyla appeared. To understand the peculiarities of the methodology that guided these researchers, Boas’s position is extremely important. Unfortunately, his works on this topic have never been translated into Russian. The presented publication is intended to fill this gap.

Keywords: Franz Boas, linguistic relationship, comparative studies, mixed languages, Native American languages

For citation: Boas, F. (2024) The Classification of American Languages (Translated from English by Igor V. Kuznetsov). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 14–28. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/2

1920¹

С тех пор как майор Пауэлл завершил свою классификацию американских языков, которая была опубликована в 7-м томе Ежегодных отчетов Бюро (американской) этнологии, а исправленное издание которой содержится в первом томе «Справочника североамериканских индейцев», исследователи, изучающие американские языки, уделяли больше внимания лучшему пониманию и более глубокому знанию отдельных языков, чем классификации. Большинство материала, на котором основана работа майора Пауэлла, крайне скудно, и очевидно, что более тщательные исследования покажут родство между языковыми семьями (linguistic stocks), какое нельзя было с уверенностью установить в то время. Классификация во многом основана на словарях. Многие из них содержатся в устаревшей литературе и весьма неадекватны. Другие были поспешно собраны в соответствии с требованием ситуации, и ни майор Пауэлл, ни кто-либо из его сотрудников, таких как Альберт С. Гэтшет и Джеймс Оуэн Дорси, не стали бы заявлять, что их классификация и карта распространения языков могут рассматриваться как окончательные.

В последние годы, во многом благодаря влиянию д-ра Эдуарда Сэпира, возродились попытки сравнения на основе словарей языков, которые, видимо, очень различаются, и д-ра Э. Сэпир, А. Крёбер, Р. Диксон и особенно Радин попытались доказать далекоирующие родственные связи.

Поскольку многие годы я занимал такую позицию, что при сравнении американских языков в исследовании должно продвигаться от явно близкородственных диалектов к более разнящимся формам, кажется желательным кратко изложить теоретическую точку зрения, на которой возник и до сих пор основывается мой собственный подход. Еще в 1893 году я указывал, что изучение грамматики американских языков демонстрирует наличие ряда разительных морфологических сходств между [211|212] соседствующими семьями, не сопровождающихся, однако, ощутимыми сходствами в словаре. В то время я был склонен рассматривать эти сходства как доказательство родства того же порядка,

¹ Оригинал публикации: Boas F. The Classification of American Languages // Boas F. Race, Language, and Culture. New York : Macmillan, 1940. P. 211–218. Страницы оригинала указываются в квадратных скобках в тексте.

что и у языков, принадлежащих, к примеру, к индоевропейской семье (family). Хотя дальнейшие исследования, в особенности в Калифорнии, показали, что мы можем обобщить наблюдения, сделанные мной на основе языков Северо-Тихоокеанского побережья, я сомневаюсь, что интерпретация, данная в то время, является разумной.

Когда мы рассматриваем историю человеческих языков, как она раскрывается благодаря их настоящему размещению и тому немногому, что мы знаем об их истории за последние несколько тысяч лет, представляется совершенно ясным, что нынешнее широкое распространение небольшого числа языковых семей является поздним явлением и что в более ранние времена область, занимаемая каждой языковой семьей, не была большой. Кажется разумным полагать, что число языков, какие исчезли, очень велико. Взяв в качестве примера наши американские условия, мы можем наблюдать в настоящее время, что на множестве языков говорят маленькие сообщества, и, хотя нет доказательства недавнего развития какого-либо нового, сильно отклонившегося языка, существуют многочисленные доказательства, показывающие исчезновение некоторых языков и постепенное распространение других. Как постепенно расширялась область, занимаемая индоевропейской семьей, а чужие языки становились вымершими из-за ее экспансии, так мы обнаруживаем, что китайский постепенно расширял свою область. В Сибири тюркский (Turkish) и другие туземные языки вытеснили древние местные языки. В Африке огромная экспансия банту является скорее недавней. Арабский язык вытесняет туземную речь в Северной Африке. В Америке экспансия алгонкинской речи продолжалась в течение исторического периода, и некоторые изолированные языки Юго-Востока были вытеснены крикским и родственными ему языками. В другом месте я обсуждал этот вопрос и объяснил свое видение, что, вероятно, в очень раннее время разнообразие языков среди людей того же физического типа было гораздо большим, чем сейчас. Здесь я не имею в виду, что все языки должны были развиваться совершенно независимо, но, скорее, что, если бы существовал общий древний источник нескольких современных языков, они настолько бы дифференцировались, что без исторических знаний об их развитии попытки доказать взаимосвязь языков не смогли бы увенчаться успехом.

Необходимо держать в уме, что проблемой изучения языков не является таковая [их] классификация, но наша задача в том, чтобы проследить историю развития человеческой речи. Поэтому классификация суть лишь средство [212|213] в конце. Наша цель – распутать историю развития человеческого языка и, если возможно, открыть лежащие в его основе психологические и физиологические причины. С этой точки зрения языковые феномены нельзя рассматривать как нечто единичное, но каждое проявление языковой деятельности должно изучаться сначала само по себе, а затем в их отношении к иным языковым феноменам.

Тремя фундаментальными аспектами речи человека являются фонетика, грамматика и вокабуляр. Когда мы обратимся к их рассмотрению по отдельности, то обнаружим, по крайней мере в Америке, курьезную ситуацию. Изучение фонетики показывает, что отдельные признаки имеют ограниченное и четко определенное распространение, которое в целом суть непрерывное. Приведем пример: исключительное развитие серии звуков *k* и латеральных (звуков *l*) является общим для наиболее разнящихся языков Северо-Тихоокеанского побережья, тогда как в Калифорнии и к востоку от Скалистых гор эта характерная черта исчезает. Похожим образом назализация гласных отсутствует в северо-западной части Америки, но весьма сильно развита на центральных и восточных равнинах. Лабиализация звуков *k* после *o* или *u* широко распространена на крайнем Северо-Западе и нечасто за пределами этой территории. Изучение фонетики Америки недостаточно развито, чтобы детально описать области распространения характерных звуков или групп звуков, но на основании того, что нам известно, можно с уверенностью заявлять, что сходные фонетические черты часто принадлежат языкам, которые морфологически совершенно различны, и что, с другой стороны, в одной и той же языковой семье (linguistic stock) развивались весьма большие фонетические различия.

Изучение морфологии американских языков иллюстрирует также определенные области характеристики. Например, наиболее поразительно то, что редупликация как морфологический процесс встречается пространно на Великих равнинах и в восточном Вудлэнде, а также в части тихоокеанского побережья к югу от границы Британской Колумбии с Аляской. Среди великих семей севера она совершенно неизвестна. Инкорпорация, которая в ранние времена рассматривалась как одна из наиболее характерных черт американских языков, также ограничивается некоторыми определенными группами. Она типично развита в шошонской группе, пони, кутенэй и ирокезской, тогда как к северу от этого региона либо отсутствует в своей характерной форме, либо развита слабо. Употребление инструменталиса, который указывает на способ действия, выполняемого частями тела или другими инструментами, также в целом показывает непрерывное распространение. Это фундаментальная черта в кутенэй, шошонских и сиу, и в каждой из них она выражена в похожей манере [213|214]. Употребление подлинных падежей и локатива, как и сходных именных форм, имеет место в шошонском языке и у некоторых его соседей, тогда как в других регионах оно скорее редкость. Еще большим значением обладает дифференциация именных и глагольных концептов, а также между нейтральными и активными глаголами, распределение которых несколько иррегулярно.

Хотя наше знание этих явлений в любом смысле не является адекватным, кажется достаточно ясным, что если изучить детально разные признаки, области их распространения не совпадут.

Изучение словаря предоставляет похожие условия. Казалось бы, число заимствованных слов в американских языках не так велико, как в европейских языках. По крайней мере, сложно распознать заимствованные слова в большом количестве. Однако поразительно то, что категории слов, которые встречаются в соседствующих языках, иногда весьма схожи. Это проявляется, например, в случае терминов родства. Характерным примером является то, до какой степени взаимно используются термины родства на западных плато. Понятно, что номенклатура и культурные состояния тесно связаны, и, следовательно, кажется правдоподобным, что сходство в основных категориях лексики будет иметь место там, где культурные условия те же или почти те же.

Это замечание не имеет прямого отношения к корням (*stems*), которые лежат в основе словообразования. До определенной степени они зависят от морфологических характеристик, по крайней мере, настолько, что несуществующие грамматические категории должны восполняться иными способами. Когда, к примеру, в некоторых языках, таких как эскимосский, отсутствуют элементы наречного типа (*adverbial elements*), которые соответствуют нашим предлогам (в, из, вверх, вниз и т.д.), они должны быть восполнены специальными глаголами, не обязательно существующими в языках, изобилующих локативными глагольными элементами. В целом можно наблюдать определенную корреляцию между лексикографическим и морфологическим аспектами языка. Чем чаще «материальные» понятия (в штейнталевском смысле) выражаются морфологическими приемами, тем более генерализованными в целом являются основы слов, и слова образуются в основном отграничением этих основ. Когда мы находим сходную структуру, мы обнаруживаем, следовательно, и тенденцию к развитию сходных категорий основ. Однако есть и другие, которые не настолько детерминированы. Например, для многих американских языков характерно то, что глагольные идеи выражаются различными основами в зависимости от формы объекта, по отношению к которому глагол выступает как сказуемое (*the verb predicates*). Эта черта особенно проявляется в глаголах существования и движения, так что различается существование или движение предмета круглого, протяженного [214|215], плоского и т.д. Эта черта заметна среди прочих [языков] в атапаскских, тлинкитском, квакиутль и сиу.

Хоть я не склонен категорически утверждать, что области распространения фонетических явлений, морфологических характеристик и групп, основанных на сходствах словарей, абсолютно различны, полагаю, что необходимо отвечать на этот вопрос эмпирически, прежде чем мы сможем приступить к решению общей проблемы истории современных американских языков. Если окажется верным, а я верю, что это так, что все эти различающиеся области не совпадают, тогда неизбежен вывод, что разные языки должны были оказывать перспективное влияние

друг на друга. Если эта точка зрения верна, то нам следует задаться вопросом, насколько явления аккультурации распространяются и на владение языком.

Учитывая условия жизни в примитивном обществе, становится понятно, как фонетика одного языка может влиять на нее же в другом. Многие американские племена весьма малы, и межплеменные браки, если их сравнивать, часты либо благодаря мирным сношениям, либо из-за похищения и порабощения женщин после военных набегов. В каждом племени всегда должно быть значительное число чужеземцев, которые поздно в [своей] жизни овладели чуждым языком, и которые посему передали чужое произношение своим детям. Правда, мы не можем привести определенных наблюдений, доказывающих распространение данного феномена, но вряд ли стоит сомневаться в том, что эти процессы имели место в случаях, когда число чужих женщин было значительным в пропорции к числу коренных. Объективное изучение языков также показывает, что фонетические влияния действительно распространяются от одного народа к другому. Наиболее характерным примером, вероятно, являются южные банту, которые усвоили кликсы бушменов и готтентотов, несмотря на враждебность, которая царилла между этими группами.

Не так-то просто понять развитие сходных категорий слов в соседних языках. Несомненно, что социальная и политическая организация, а также религиозная жизнь стали схожими у соседних племен благодаря процессу аккультурации. Сходство форм жизни порождает необходимость в развитии терминов, выражающих эти формы, и так непрямо вызывает сходство тех идей, которые выражаются словами. Когда мы применяем это допущение к таким концептам, как термины родства, относительно которых у нас остается сомнение, порождает ли термин чувство, сопровождающее суммирование [215|216] индивида под [какой-либо] категорией, или же чувство создает термин, трудно понять психологический процесс, приводящий к сходству классификации, хотя факты распределения доказывают, что сходства обусловлены диффузией. Эта трудность становится очевидной, если мы имеем дело с фундаментальными понятиями, содержащимися в древних корнях (stems), лежащих в основе современных слов. К примеру, как природа ума должна классифицировать всякое движение согласно форме, распространившейся из одного языка в другой?

Равным образом трудно понять распространение морфологических признаков из одного языка в другой. Тем не менее я весьма склонен считать, что такие перемещения действительно происходят, и даже полагаю возможным, что они могут изменить фундаментальные структурные характеристики. Такого рода примером является вторжение именных падежей в верхнечинукские диалекты, предположительно благодаря влия-

нию [языка] сахаптин. Я считаю, что особенное развитие второго третьего лица в кутенэй, которое столь характерно для алгонкинских, также обязано феномену контакта, ибо мы вряд ли где-то обнаружим похожее продвижение этой тенденции. Еще один случай своеобразного параллелизма встречается среди эскимосов и чукчей. Несмотря на фундаментальные различия между двумя языками, современное развитие глагола с его многочисленными полупричастными формами показывает своеобразный параллелизм. Рассматриваемые черты совершенно отсутствуют в соседствующих языках, и по этой причине трудно удержаться от заключения, что эти сходства должны быть обязаны историческим причинам.

Распространение таких явлений по всему миру настолько нерегулярно, что было бы совершенно неоправданно утверждать, что все сходства в фонетике, классификации понятий или морфологии обязаны заимствованиям. Напротив, их распределение показывает, что их следует рассматривать как обусловленные психологическими причинами, такими как неизбежная необходимость классификации опыта в речи, которая может привести лишь к ограниченному числу категорий, или физиологические возможности артикуляции, также ограничивающие диапазон возможных звуков, достаточно различимых ухом и ясных для понимания.

Приведу несколько примеров: вряд ли можно настаивать, что множественные инструментальные префиксы хайда и такие же в шошонском, кутенэй и сиу исторически связаны. Это правда, что шошонский, кутенэй и сиу образуют непрерывную группу, к которой можно было бы добавить многие калифорнийские языки. Учитывая непрерывность этого ареала и отсутствие аналогичных форм вне его, я сильно склоняюсь к тому [216|217], чтобы поверить, что к их особенному развитию должна была привести какая-то историческая причина, но было бы трудно связать исторически с этим районом хайда. Точно так же опрометчиво увязывать интенсивное развитие глоттализированных звуков в Чили с аналогичными звуками Северо-Западного побережья Америки; различие между нейтральными и активными глаголами среди майя, сиу и в тлинкитском или появление трех родов в индоевропейских и чинук.

Наш опыт в индоевропейских и семитских языках ясно показывает, что могут происходить широкие заимствования слов и что заимствованные слова претерпевают такие изменения, что их происхождение будет понято только путем исторического изучения. На то, что похожие явления имели место в американских языках, указывает распространение таких слов, как названия животных и растений, кои в некоторых случаях заимствуются. Другие классы именных концептов не так подвержены заимствованию из-за широкого использования во многих американских языках описательных терминов. Тем не менее в смешанных поселениях можно обнаружить и значительное количество заимствованных слов.

Такого рода пример представляют комокс острова Ванкувер, которые говорят на сэлишском языке с сильной примесью слов квакиутль, или белла кула – еще один сэлишский народ, заимствовавший многие квакиутльские и атапаскские термины. Нет особой трудности в понимании процесса, который приводит к заимствованию слов. Межплеменные контакты должны действовать в этом отношении сходным образом, как и международные контакты в наши времена.

Если эти наблюдения относительно влияния аккультурации на язык верны, то историю американских языков в целом нельзя рассматривать, исходя из предположения, что все языки, демонстрирующие сходство, должны расцениваться как ветви одной и той же языковой семьи. Скорее, нам следует найти феномен, параллельный чертам, характерным для других этнологических явлений, а именно развитие из разнообразных источников, которые постепенно перерабатываются в одну культурную единицу. Мы должны принимать во внимание тенденцию языков поглощать чужеродные черты в таком множестве, что больше мы уже не сможем говорить о едином происхождении и что было бы произвольным связывать [некий] язык с тем или другим стволом (stock), внесшим [свой] вклад. Иными словами, в целом теория “Ursprache” для каждой группы современных языков должна быть отложена до тех пор, пока мы не докажем, что эти языки восходят к единому стволу и что они не возникли в значительной степени благодаря процессу аккультурации.

Справедливо, что при сравнении современных индоевропейских [217|218] языков без какого-либо знания их предыдущей истории могло бы очень трудно доказывать родство, скажем, между армянским и английским языками, и нам пришлось бы принять заключение, аналогичное предложенному здесь. Частично этот вывод был бы верным, ибо наши современные индоевропейские языки содержат много материала, не являющегося индоевропейским по происхождению. Фундаментальный вопрос заключается в том, может ли этот материал стать настолько обширным и настолько повлиять на морфологию, что включение языка в ту или иную группу будет произвольным.

Суммируя, представляется, что критическое отношение к данной проблеме вынуждает подойти к нашей задаче с трех точек зрения. Во-первых, мы должны изучить дифференциацию таких диалектов, как суские, маскогские, алгонкинские, шошонские, сэлишские и атапаскские. Во-вторых, необходимо осуществить детальное изучение распространения фонетических, грамматических и лексикографических явлений, последнее также включает, в частности, принципы, на которых основывается группировка понятий. Наконец, наше изучение должно быть направлено на исследование не только сходства языков, но столь же интенсивно и на их различия. Только на этой основе мы сможем надеяться на решение общей исторической проблемы.

1929¹

[Классификация американских индейских языков]

Автор указывает на случаи, когда сопредельные языки, хоть и различные по структуре и словарю, совместно демонстрируют разительные морфологические особенности, которые должны были распространиться посредством заимствований из языка в язык. Следовательно, просто генеалогическая классификация не может адекватно представить развитие, но также должна быть принята в расчет «гибридизация».

В статье, опубликованной в 1920 году, я обсуждал проблему взаимоотношений языков американских индейцев. Я указывал, что морфологические типы распределены по большим ареалам и что в этих морфологических группах возникают различия, представляющие характер словаря, что затрудняет предположение о том, что языки, на которых сейчас говорят, происходят из одного и того же “Ursprache”. Я также указывал, что в малых языковых единицах ранних времен условия смешения совершенно отличались от тех, что обнаружены в языках, на которых говорили в крупных ареалах многие индивиды. Дальнейшее рассмотрение проблемы привело к заключению, что ответ на основной вопрос следует искать в исследовании взаимных влияний и того, в какой степени они могут видоизменить языки, в частности, насколько один языковой тип может повлиять на морфологию другого.

Полагаю, каждый согласится, что слова могут быть заимствованы и могут изменить словарь языка; также вероятно, что фонетический характер одного языка может повлиять на то же у его соседей. В упомянутой выше статье я привел несколько общих примеров, и хочу добавить еще один пример, который кажется особенно поучительным. Нез-перс, восточный сахаптинский язык, обладает строгими правилами гармонии гласных, согласно которым гласные можно разделить на два класса: *a* и *o* в качестве одной группы и все остальные в качестве второй. В системе консонантов встречается *s* с приподнятым краешком языка и серия зубного *t*. Другим характерным звуком является звонкая аффриката, что-то [219|220] похожее на *dl*. В XVIII столетии большая группа сахаптинов проникла в штат Вашингтон, а некоторые из них пересекли Каскадные горы, где смешались с проживавшими там сэлишскими племенами. Фонетические элементы современного диалекта этого региона практически идентичны таковым соседних сэлишских племен. Система гласных та же. От гармонии гласных не осталось и следа.

¹ Оригинал публикации: Boas F. Classification of American Indian Languages // Boas F. Race, Language, and Culture. New York : Macmillan, 1940. P. 219–225. Страницы оригинала указываются в квадратных скобках в тексте.

Мы признаем, что сравнение словарей языков, история которых неизвестна, представляет серьезные трудности и что изменения, вызванные звуковыми передвижениями (*the shifting of sounds*), семантической модификацией и новообразованиями, могут быть настолько многочисленными, что идентификация становится возможной лишь в исключительных случаях. Языки ведут себя в этом отношении по-разному. Некоторые из них, как эскимосский, настолько консервативны, что даже сейчас дифференциация диалектов Аляски и Гренландии слаба, хотя обе группы разделились более тысячи лет назад. Тем поразительнее дивергенция словаря алеутского [языка], вероятно, родственного. Ацтекский менялся по мере того, как пропал более высокий литературный стиль, исчезли старые идеи и появились новые при сопутствующем изменении словаря. В синтаксисе испанские типы восторжествовали в подчинении и сочинении предложений. Во всех других отношениях современный язык не изменился. Кажется даже возможным признать диалектные различия между разными областями, которые можно реконструировать на основе грамматик начала XVI века. С другой стороны, селишские языки Британской Колумбии и Вашингтона иллюстрируют большую нестабильность в морфологии и лексикографии. Можно только догадываться, каковы причины различий в поведении разных языков. Часто выраженное мнение о том, что «примитивные языки» очень быстро претерпевают изменения, верно лишь в весьма ограниченной степени.

Несомненно, во многих случаях языки, возникшие из одного и того же источника и изменявшиеся только внутренними силами, могли стать настолько разными, что без исторических данных невозможно установить их родство. Тем не менее остается вопрос, могла ли произойти гибридизация языков (*hybridization of languages*) не только в фонетике и словарном запасе, но и в морфологии.

Насколько мне известно, действительный процесс переноса грамматических категорий из одного языка в другой никогда не наблюдался, хотя известно, что происходят малые изменения, такие как принятие кое-где [той или иной] формы, и синтаксические влияния. Синтаксическая модификация [220|221] американских языков под влиянием испанского предлагает хороший пример изменений последнего типа. Доказательство диффузии морфологических форм может быть лишь непрямым, основанным на фактах распространения и частичного соответствия вкупе с фундаментальными различиями.

В некоторых случаях далекого морфологического сходства, как в атапаскских и тлинкитском, мы можем чувствовать, что ассимиляция структуры более древнего языка атапаскскими довольно невероятна и что если не удастся обнаружить словарное соответствие надежнее, чем было представлено к этому времени, мы можем заподозрить, что вторгшимся атапаскским был принят более древний словарь. До тех пор, пока

определенные фонетические передвижения не будут доказаны достаточным количеством параллельных форм и не будет проведено исчерпывающее сравнение словарей, мы должны признать, что в двух языках невозможно идентифицировать обширную массу основ, включая местоимения, числительные и большинство других основ, и оставить открытым вопрос, может ли быть получен из общего источника лексикографический материал целиком или его большая часть.

Более трудны те случаи, когда имеется частичное согласование по морфологическим признакам между соседними и явно различающимися языками и расхождение в диалектах очевидно родственных языков. Могу привести пример такого рода. Я уже упоминал ранее о гармонии гласных в неперс. Насколько мне известно, только кус в Орегоне последовательно показывает похожее явление. Неизвестно, обладают ли им соседние молала и калапуя. Другие сахаптинские диалекты не демонстрируют его.

В чинук имеется местоименный род. Существуют не только местоимения трех родов – или, точнее говоря, пяти именных категорий, ибо двойственное и множественное число принадлежит к той же системе, – но каждое существительное обладает префиксом одного из пяти местоимений. Ни в одном из языков граничащих групп не имеется категории рода, исключая ряд диалектов, расположенных в непосредственной близости от чинук, особенно всех диалектов элишских племен, которые проживают вдоль побережья в северном и южном направлениях, и квилеут (Quileute). Во внутренних элишских диалектах род не встречается. Если будет подтверждено, что квилеут родствен вакашским, с которым он показывает морфологическое сходство, то это будет единственный язык руппы, имеющий род. Во всех этих указаниях род ограничивается местоимением.

В чинук диминутивы выражаются изменением согласных. Звонкие и глухие консонанты глоттализуются, а *ʃ* меняется на *s*. Велярные фрикативные становятся средненебными фрикативными. Соседствующие сахаптинские группы, которые фундаментально отличаются от чинук, используют изменения согласных [221|222] с той же целью. Некоторые из [этих] изменений такие же, как и в чинук: *ʃ* меняется на *s*, велярные – на средненебные, а кроме того, происходит смена *n* на *l*.

Мы обнаруживаем спорадическое, окаменевшее использование того же самого процесса в элишском диалекте, на котором говорят к северу от области чинук, в кус – на побережье Орегона (Handbook of American Indian Languages, part 2¹ и в качестве живой [еще] черты – в вийот в Северной Калифорнии. В последнем примере географическую смежность установить нельзя.

¹ Frachtenberg L. Coos // Handbook of American Indian Languages. Part 2. Washington: Government Printing Office, 1922 (Bulletin No. 40, Bureau of American Ethnology). P. 383.

Следует отметить, что в то время, как род существует вдоль побережья в северном и южном направлениях, образование диминутива путем изменений согласных происходит на территории, простирающейся на восток.

Еще одно любопытное сходство можно проследить между квилеут, квакиутль и цимшиан, на которых говорят в области, простирающейся от штата Вашингтон до аляскинской границы. В этих трех языках местоименное выражение существительного (или артикля) трактуется по-разному для имен собственных и нарицательных. Они образуются посредством двух отдельных классов. В квилеут и квакиутль обнаруживается дальнейшее соответствие, поскольку артикль, употребляемый с именами собственными, также употребляется и для неопределенных, т.е. неизвестных объектов. К примеру, «я ищу кита» – неопределенное, «я нашел кита» – определенное.

Во многих американских языках проводится четкое различие между владением субъектом и владением другим лицом, подобно латинским *suus* и *ejus*. Небольшая группа, включающая эскимосский, алгонкинские и кутенэй, выражает эти отношения особыми глагольными формами – так называемым обвиативом миссионеров, писавших по-алгонкински, четвертым лицом Талбицера. Феномен наиболее выражен в кутенэй из-за того, что даже в случае простого переходного глагола с субъектом в третьем лице и именным объектом присутствие двух третьих лиц обозначается обвиативным суффиксом, следующим за именным объектом. Интересно отметить, что западные сахаптинские языки, которые, в целом, примыкают к кутенэй, делают такое же различие для подлежащего в предложениях, содержащих только одно третье лицо, и в случае, если предложение содержит два третьих лица. И в кутенэй, и в западных сахаптинских существует дифференциация между формами в таком предложении, как «мужчина видел меня» и «мужчина видел женщину». В кутенэй различие обнаруживается в объекте, в сахаптинских – в субъекте. В некоторых сахаптинских диалектах эта черта обнаруживается только в местоимении, а не в существительном. Общее употребление одинаково в только что рассмотренной группе языков, несмотря на разницу в используемых средствах (devices) [222|223].

Следующую интересную особенность можно наблюдать в языках Северотихоокеанского побережья. Указательные местоимения часто детально разработаны. Они не только видят различия между лицом рядом с говорящим, рядом с лицом, к которому обращаются, и рядом с лицом, о котором говорят, но часто добавляют более точную локацию. Тлинкит Аляски дифференцирует то, что находится рядом с ним, но ближе, чем ты, и то, что находится рядом с ним, но дальше тебя; или могут быть обозначены позиции впереди, позади, над или под говорящим. Среди племен, растянувшихся от реки Колумбия на север до Аляски, – та же

группа, которая делает различие между именами собственными и именами нарицательными, – вводится другое указательное понятие, а именно видимости и невидимости. В чинук есть демонстративы, обозначающие, к примеру, «рядом с говорящим, видимое». То же самое происходит в квилеут и береговом сэлиш, но не в диалектах внутренних сэлишей. Это же является характерной чертой квакиутль. Мне не известно о ее появлении ни в одной другой группе соседних языков.

Еще одной особенностью, характерной для части той же группы, является разделение местоименного субъекта и объекта в переходных глаголах. Глагол, не сопровождающийся тем, что мы должны бы назвать наречием, принимает суффикс, состоящий из комбинированных местоименного субъекта и объекта. Когда глагол сопровождается определяющим наречием, субъект присоединяется к этому определителю, который принимает форму непереходного глагола, в то время как объект остается прикрепленным к основному глаголу. «Я не видел его» можно было бы выразить словами «не-я вижу-его». Эта тенденция проявляется точно в такой же форме в квилеут, береговом сэлиш и вакашских. В цимшиан она не так полно развита, ибо местоименный субъект в сослагательных формах предшествует глаголу и фонетически соединяется с предшествующим наречием. Аналогия, однако, не является строгой.

Еще одно интересное сравнение может быть сделано между чукотским и эскимо(сским). Что касается общей формы, эти два языка совершенно различны. Чукотский использует концевую редупликацию, префиксы, суффиксы и гармонию гласных. Кроме того, существуют жесткие правила относительно скоплений начальных согласных, которые приводят к важным изменениям в форме основы. Ничего из такого рода [явлений] в эскимо[сском] нет. Нет редупликации, каких бы то ни было префиксов, следов гармонии гласных. Какие-то изменения в основе происходят благодаря влиянию суффиксов. С другой стороны, имеет место определенное число категорий, которые являются общими для этих двух соседствующих языков. Формы множественного числа одинаковы – и эскимо(сский), и чукотский образуют форму множественного числа суффиксом *t*. Именной субъект в эскимо(сском) трактуется по-разному в случае переходных и непереходных глаголов [223|224]. Субъект переходного глагола имеет то, что можно было бы назвать относительной формой, общей как для родительного падежа, так и для транзитивного субъекта. Субъект непереходного глагола имеет ту же форму, что и объект переходного глагола. Эта черта встречается и в иных языках, как сахаптинский, и обнаруживается в местоименных формах многих других языков. Но в циркумполярной области только чукотский и эскимо(сский) обладают подобной дифференциацией именных форм. Процессы, посредством которых осуществляется эта дифференциация в эс-

кимо(сском) и чукотском, совершенно различны, ибо объект в чукотском образуется путем концевой редупликации; в эскимо(сском) же субъект отличается суффиксом. Более того, в обоих языках мы обнаруживаем значительное число послелогов, которые выражают отношения места, такие как «у», «к», «от» и т.д. Аналогия в модальном развитии глагола также весьма поразительна. Примечательно разнообразие причастных форм, которые могут принимать личные местоимения, и заметное сходство показывает группа понятий, выраженных модальностями.

Рассматривая эти данные в целом, можно сказать, что в значительном числе туземных языков Северотихоокеанского побережья мы обнаруживаем, несмотря на фундаментальные различия в структуре и словаре, сходства в отдельных грамматических чертах, распределенных таким образом, что поразительные сходства показывают соседствующие языки. Области, в которых обнаруживаются сходные черты, не совпадают по сравниваемым признакам.

Мне кажется почти невозможным объяснить это явление без допущения диффузии грамматических процессов в сопредельных областях.

Здесь должно подчеркнуть смежность распределения, ибо сравнительная грамматика ясно показывает, что сходные черты могут развиваться независимо в разных частях света. Категории рода, фонетическая близость между Северо-Западным побережьем и Чили, применение редупликации и многие другие черты проявляются при таком распределении, при каком историческая связь исключается. С другой стороны, распространение одной и той же особой группировки понятий или одних и тех же способов выражения по сопредельным областям вряд ли можно объяснить на основе независимого происхождения.

Насколько я могу видеть, попытка объединить различные языки сопредельных областей, которые обладают схожими процессами, невозможна из-за фундаментальных различий в концептуализации, грамматических процессах и словаре.

Обсуждаемые здесь феномены ведут к результату, аналогично [224|225] достигнутому К. Лепсиусом в его изучении африканских языков. Он заключил, что в Африке встречается большое число смешанных языков. Его выводы во многом подтверждаются недавними исследованиями, особенно суданских языков. Также имеются параллели с результатами, полученными Х.Г. фон дер Габеленцем в его изучении языков Новой Гвинеи и Меланезии, а его умозаключения обосновываются недавними изысканиями Демпвольфа. Проблема хорошо сформулирована профессором Прокошем, который настаивает на детальном сравнении европейских языков со всеми их соседями, к какой бы языковой семье (linguistic stock) они ни принадлежали. Это согласуется также с точкой

зрения Г. Шухардта, который указывает, что существует градация, начинающаяся с небольшого числа заимствований и продолжаясь через более интенсивное перемешивание, вплоть до полной смены языка. Вопрос, который интересует нас, суть не теоретическая дефиниция родства языков, как его определяет Мейе, но только их исторического развития.

Если высказанный взгляд верен, тогда невозможно жестко сгруппировать американские языки в генеалогическую схему, которая показывала бы развитие каждой языковой семьи вплоть до современных форм, но мы должны признать, что многие языки имеют множественные корни.

Научная статья
УДК 303.446.23 (81-119)
doi: 10.17223/2312461X/43/3

Американистика и компаративистика. Комментарии переводчика

Игорь Валерьевич Кузнецов

Институт языкознания РАН, Москва, Россия, i.kuznetsov@iling-ran.ru

Аннотация. В комментариях автор перевода восстанавливает широкий контекст, в котором писались публикуемые работы, обращая пристальное внимание на характер личных взаимоотношений Франца Боаса с бывшими учениками, текущую повестку науки и более общие дискуссии того времени. В публикации используются интервью со специалистами и архивные материалы из Американского музея естественной истории (Нью-Йорк), а также двух опубликованных собраний, в частности переписка, которую вели между собой основные акторы описываемых событий: Э. Сэпир, А. Крёбер, В.Г. Богораз и др. Два основных вывода заключаются в следующем: к рассматриваемому периоду во взглядах Боаса восторжествовало скептическое отношение как к методике европейской компаративистики, так и к ценности построения генеалогической классификации в частности; этот сдвиг объясняется тем, что в своей борьбе с эволюционизмом, ведущим, по мнению ученого, к европоцентризму, ему важно было подчеркнуть значение не происхождения, а воздействия среды на историю языка.

Ключевые слова: Франц Боас, родство языков, компаративистика, скрещенные языки, на-денё, эскимосско-алеутские языки, чукотско-камчатские языки

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 20–18–00159, <https://rscf.ru/project/20-18-00159/> (руководитель – И.В. Кузнецов), организация, осуществлявшая финансирование, – Институт языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН).

Для цитирования: Кузнецов И.В. Американистика и компаративистика. Комментарии переводчика // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 29–46. doi: 10.17223/2312461X/43/3

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/3

American Studies and Comparative Linguistics. Comments by the Translator

Igor V. Kuznetsov

*Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
i.kuznetsov@iling-ran.ru*

Abstract. In these comments, the author of the translation reconstructs the wide context in which selected works were written, paying close attention to the character of

the personal relationships between Franz Boas and his former students, the current scientific agenda and more general discussions of that time. The article uses interviews with experts and archival data from the American Museum of Natural History (New York), as well as two published collections, in particular the correspondence between the main actors of the events described: Edward Sapir, A.L. Kroeber, Waldemar Bogoras et al. Two main conclusions are as follows: by the period under review, a skeptical attitude to both the methodology of European comparativist studies and the value of constructing a genealogical classification triumphed in Boas's views. This shift is explained by the fact that in his struggle against evolutionism, which, in the scholar's opinion, leads to Eurocentrism, it was important for him to emphasize the importance not of origin, but of the influence of the environment on the history of language.

Keywords: Franz Boas, linguistic relationship, comparative studies, mixed languages, Na-Dene, Eskaleut, Chukchi-Kamchatkan

Acknowledgments: The research was supported by the grant of the Russian Science Foundation (project No. 20-18-00159, <https://rscf.ru/project/20-18-00159/>). PI – I.V. Kuznetsov.

For citation: Kuznetsov, I.V. (2024) American Studies and Comparative Linguistics. Comments by the Translator. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 29–46. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/3

Франц Боас неоднократно пытался систематизировать свое видение проблемы классификации языков коренных американцев – заключительные два раза в начале и в конце 1920-х гг. Позже, применяя «метод ножиц и клея» (Дж. Стокинг), он по обыкновению перепечатал обе статьи в знаменитом итоговом сборнике своих трудов (Boas 1940), чтобы в нужном ключе показать развитие собственных научных взглядов ровно так же, как в случае с публикацией авторизованного перевода очень ранней, еще немецкой «Цели этнологии», содержавшей следы эволюционизма, неприемлемого для зрелого Боаса (Boas 1889a; 1940: 626–638).

Первая часть небольшой диалогии увидела свет в “American Anthropologist”, в номере за октябрь–декабрь 1920 г. Из ее текста, в частности, видно, что автор следил за продвижением всех, кто «в последние годы» был занят сокращением числа языковых «стволов», выделенных Джоном У. Пауэллом (Powell 1891): Эдуарда Сэпира, Альфреда Крёбера и Роланда Диксона, «и особенно [Пола] Радина» (Boas 1940: 211). «Особенно» потому, что Боаса, должно быть, насторожила чрезмерная радинская вера в общекультурную значимость генеалогических связей и уж точно его слишком радикальная гипотеза в отношении родства всех североамериканских языков. Как безудержные фантазии Радина (Radin 1919) спровоцировали скороспелое выступление Сэпира в Чикаго, так сэпировский доклад «Взгляд с высоты птичьего полета» (Sapir 1921), в котором 58 пауэлловских семей сводились всего-то к 6 филам (суперсемьям), мог способствовать появлению статьи Боаса в официальном органе ААА (Американская антропологическая ассоциация), призванном если не окончательно закрыть тему, то направить ее в нужное русло.

Миф-(пред)история, изображенная уже в первом абзаце, удивительно точна: Боас прошелся по авторству Пауэлла. Вероятно, он не знал того, что знал Крёбер об исключительной роли пауэлловского сотрудника Г.У. Хеншо (Kroeber 1993), но упомянул двух других из реальных авторов «пауэлловской» классификации – А. Гэтшета и Дж.О. Дорси. Работа 1893 г., на которую почти в самом начале ссылается Боас, представляла собой его доклад, тоже чикагский, «Классификация языков Северотихоокеанского побережья» (Boas 1894: 339–46). Тогда, на Международном конгрессе антропологии, устраивавшемся в рамках Колумбийской выставки, он и предположил, что хайда, тлинкитский и атапаскские языки могут быть родственны. Но теперь важно было подчеркнуть, что его взгляды относительно европейского сравнительно-исторического языкознания поменялись и он вообще разуверился в научной значимости теории генетического родства языков.

Оказывается, в 1920 г. исследователь больше не разделял распространенного мнения о том, что морфологические признаки подвержены заимствованию менее, чем термины, и что не лексические когнаты, а «структурное сходство следует считать окончательным доказательством исторической связи между двумя языками» (Boas 1894: 342). Можно продолжить, процесс развития языков мира, «глоттогонический», как в следующее пятилетие окрестит его акад. Н.Я. Марр, уподоблялся Боасом скорее дереву с множеством языков и семей в основании, крона которого поредела к нашему времени и все еще продолжает сходить на нет. И языки, которые обнаруживают взаимную близость, вовсе не обязательно рассматривать «как ветви одной и той же языковой семьи» (Boas 1940: 217), поскольку они могут получить свой материал более чем из одного источника – языкового «ствола» (stock). Американист настаивал поэтому, что «теорию “Ursprache”» надо отложить до лучших времен, пока в каждом конкретном случае не будет доказано строго линейное наследование языковых черт.

Более того, само стремление классифицировать языки на основе их генеалогических связей, зачастую дальних, а потому неочевидных и туманных, представлялось ему чем-то уводящим в сторону от действительных проблем науки. В изучении «истории развития людской речи» это занятие должно занимать периферийное место, «классификация суть лишь средство в конце» (Boas 1940: 212–213). Вместо того чтобы упорствовать в этом направлении, он предлагал сосредоточить усилия на других вещах: во-первых, на изучении процесса дивергенции языков группировок уровнем ниже, существование которых уже доказано (сиуская, мускогская, алгонкинская, шошонская, сэлишская и атапаскская); во-вторых, детально рассмотреть все нюансы в географическом распределении фонетических, грамматических и лексикографических явлений, ведь «языковые феномены нельзя рассматривать как нечто единичное»

(Boas 1940: 213); и, в-третьих, исследовать не только сходства, но и различия языков (Boas 1940: 218).

Ф. Боас выступал в этом вопросе как скептик, начиная с “Handbook of American Indian Languages”, во «Введении» к которому содержится раздел с похожим названием – «Классификация языков». Тогда, в год набирающей силу «мании классификаторства» (1911), вопреки всяким ожиданиям, сам он ровно ничего не предложил, ни одной новой гипотезы: «[М]ы должны ограничить себя отнесением американских языков к тем лингвистическим семьям, для которых мы можем предоставить доказательства родства, которые невозможно оспорить» (Boas 1911: 58). Хотя все знали, что Боас был переполнен полезными наблюдениями и догадками на этот счет, ведя полевую работу на Северо-Западном побережье. Вместо этого на 15 страницах он методично отслаивал друг от друга всевозможные случаи языкового сходства в фонетике, морфологии и лексике, которые могут объясняться как общностью происхождения от «одного предкового языка», так и контактами различных американских индейских языков между собой (50). В поисках примеров «эффектов смешения» (the effects of mixture) языков ученый ссылался на африканские штудии о. В. Шмидта и К. Майнхофа и даже на лидера младограмматиков Г. Пауля, найдя у него соответствующую цитату.

Уже тогда отчетливым стремлением было вписать язык в общий контекст культуры и подчинить его повестке из концептов и методик, отлаженных применительно к последней. Так, Боас рассуждал, что называется, на голубом глазу, о релевантности/нерелевантности географического детерминизма. Будто бы влажность, штормовые ветры Северо-Западного побережья вызывали хронические простудные заболевания («так утверждалось»), способные породить «гортанное произношение и резкость» языков коренного населения (тлинкитского, хайда, цимшиан, квакиутль, сэлишских, чинук) – наличие в них глоттализированных и прочих, тогда как отсутствие столь сложно артикулируемых звуков в языках Калифорнии объяснялось, наоборот, мягкостью ее климата. Как было сказано, впервые на столь контрастные различия в фонетике двух соседних культурных ареалов – Северо-Западное побережье заканчивалось на севере Калифорнии, где жили хупа, юрок и вийот, – обратили внимание А. Крёбер и Р. Диксон. Боас с легкостью опровергал вышеуказанное заблуждение, напоминая, что чукотский и эскимосский языки с принципиально разным фонетическим строем соседствовали в Арктике, а сэлишские, распространенные не только на побережье, но и через Скалистые горы, во внутренних районах Британской Колумбии, все равно сохранили свою сложную фонетику.

На типах жилища, лука, технологиях в указанных и других районах он выводил закономерность, так сказать, общеметодологическую, о том,

что в культуре наличествует нечто вроде мембраны, как правило, защищающей ее от прямого воздействия среды, а именно «инерция или консерватизм, которые предупреждают людей от изменения своих устоявшихся привычек, ставших до такой степени обыденными, что являются более или менее автоматическими» (Boas 1911: 56). Увлечшись, антрополог вообще забывал, что речь идет о языке, когда, например, переносил на свой объект дискуссии о соотношении двух путей в появлении элементов культуры – распространения их из единого очага или параллельного изобретения в разных местах, а затем стадиального развития. Вслед за другими своими релятивистскими работами он настаивал, что за различиями языков не надо искать психические различия (53–58).

Недоверие Боаса к генеалогическим построениям хорошо видно на конкретных примерах. Начнем с Северо-Западного побережья. Помимо специфической фонетики, которая в ходу у всех языков «между побережьем Орегона и горой Святого Ильи», в них же обнаруживается характерная иносказательность команд на манеру японских и имеются морфологические сходства, наиболее явные в атапаскских, тлинкитском и хайда, особенно по контрасту с окружающими языками, такими как эскимосский и цимшиан (Боас почему-то называет еще алгонкинские, строго говоря, для них не соседние, по крайней мере, на протяжении последнего тысячелетия). Однако он обращает внимание на то, что отмеченные выше сходства плохо сочетаются с отсутствием лексических когнатов, а значит, делать вывод о едином происхождении настолько различающихся языков «кажется совершенно невозможным» (Boas 1911: 45). В другом месте, где отдельно написано про тенденцию к полному вытеснению привычного императива приказанием в перифрастической форме, вердикт близкий – «вполне возможно, что группы психологических концептов, выраженные средствами грамматических форм, сложились в одном языке под влияние другого» (48).

Сегодня Sprachbund (лингвистическая область) тихоокеанского Северо-Запада воспринимается не столь расширительно, и обычно ее ядром считают сэлишские, вакашские и чемакуаские языки, а отдельные общие черты прослеживают до чинукских на юге, цимшиан на севере и сахаптинских и кутенэй на востоке (Thomason 2000: 320). Что же касается, самых северных языков ареала, то, по крайней мере, для атапаскских и тлинкитского вслед за Сэпиром по-прежнему постулируется генетическое родство. Как уже отмечалось, Боас стоял у истоков этой гипотезы, но в 1911 г. больше не хотел как-то выделять их в таком качестве и рассматривал вместе с другими языками побережья как в чем-то близкие, но не родственные.

Из контекста явствует, что еще одним таким случаем являлась близость ирокезских и кэддо, в которой другие, прежде всего Сэпир, видели прецедент генетического родства, у Боаса же «пони и ирокезские <...>

образуют группу, характеризующуюся определенными чертами, которые не обнаруживаются в других языках» (Boas 1911: 46), но возникновение которой он склонен был объяснять скорее ареальным взаимодействием языков.

В сравнении с вводным словом к «Руководству по языкам американских индейцев» анализируемая статья явно вторична и просто служит ее кратким изложением. В ней нет ничего принципиально нового, разве что расставлены по-другому акценты. Некоторые факты и иллюстрации прямо перекочевали из «Введения». Так, Боас снова упоминает о заимствовании щелкающих звуков у сан (бушменов) их соседями южными банту. Он также приводит еще один знакомый сюжет о непривычно высокой роли в Северной Америке межплеменных браков как триггера, способствующего росту взаимовлияния неродственных языков через распространение двуязычия. Видно намерение еще больше подчинить язык культурному процессу, в те годы трактуемому им как аккультурация: «<...> [Н]ам следует задаться вопросом, насколько явления аккультурации распространяются и на владение языков» (Boas 1940: 215). Обретение языками сходства в результате лингвистических контактов антрополог прямо называет диффузией. А вполне по-компаративистски написанный параграф («Происхождение диалектов»), который открывал раздел о классификации «Введения» и, очевидно, был призван уравновесить боасовский скептицизм, оказался больше не нужен.

Как и в прошлый раз, особого интереса заслуживают отдельные примеры. Появление именных падежей в верхнем чинук автор объясняет заимствованием из сахаптинского языка, а двух третьих лиц в кутенэй – из алгонкинских. Но ведь Сэпир использовал морфологические сходства, в том числе и в этих языках, чтобы решить важные проблемы своей таксономии: во-первых, оправдать включение кутенэй в алгонкино-вакашскую филу и, во-вторых, доказать принадлежность трех изолятов Плато (сахаптин–вайилатпу–лутуами) к большой пенутийской семье (впрочем, он соглашался с тем, что в верхнем чинук могут фиксироваться сахаптинские послелогои относительно позднего происхождения – ES/ALK 09.12.1915; Golla 1984: 201).

Вдобавок Боас пускается в рассуждения, что, мол, морфологическое сходство помимо заимствования может объясняться еще и банальным совпадением: «Распространение этих явлений по всему миру настолько нерегулярно, что было бы совершенно неоправданно утверждать, что все сходства в <...> морфологии должны быть обязаны заимствованиям» (Boas 1940: 216). Никак по-иному невозможно объяснить наличие «множественных инструментальных префиксов» сразу в хайда, шошонских, кутенэй и сиу, как и трех грамматических родов в индоевропейских языках и чинук, или различие нейтральных и активных глаголов в майя, сиу и тлинкитском.

Все опять-таки говорит о том, что основной посыл разбираемой статьи предназначался тем самым бывшим ученикам – Крёберу, Радину, но больше всего Сэпиру. Никакой другой нужды в публикации не было, кроме того, чтобы откликнуться как-то на их явные достижения в классифицировании языков Нового Света и напомнить при этом о собственных заслугах. Как фигуранты отреагировали в этот раз на «папу Франца»? Сэпир изумлялся. Перед самым выходом боасовской «Классификации американских языков» он писал Крёберу (ES/ALK 04.10.1920; Golla 1984: 347):

Считаю, что он все еще сомневается (или притворяется, что сомневается) в годности построений на-дене (объединяющей предположительно тлинкит, хайда и атапаскские языки – *И.К.*). И все же его собственная тлинкитская книга (грамматические заметки о тлинкитском языке; Boas 1917. – *И.К.*) является лучшим подтверждением моей статьи, какого только можно было бы пожелать. По сути, он перенаденил (he out-Na-dene's) меня до изнеможения в этой книге, но не замечает, что сделал это! Итак, ты, психоаналитик, где комплекс?

Мы не имеем понятия, объяснял ли Крёбер эту странность сложностями отношений ученика и учителя, в которых, разумеется, много черт эдипова комплекса, но чуть позже Сэпир сам перестал ждать со стороны старшего коллеги какого-либо понимания, по крайней мере, в том, что касается обоснования филы на-дене (ES/RL 15.02.1921; Lowie 1965: 44–46):

<...> Боас не принимает к сведению сделанное мною тогда заявление, что я представил лишь небольшую часть доказательств. С тех пор у меня, конечно, накопилось гораздо больше. То, что кто-то, как Боас, знает тлинкитский, и хорошо знаком с атапаскским, и может одновременно держать в голове оба эти языка, и не в состоянии оценить характер их исторической связи (которая, по-видимому, не что иное, как общее происхождение) – пожалуй, самая симптоматичная вещь в лингвистической позиции Боаса, которую я знаю. Это все равно, что выбросить золото из-за того, что сердцу ближе кусок олова.

Сэпир также делился с Крёбером, что из недавней переписки с Боасом вынес, как тот по-прежнему «весьма тяжело обеспокоен» (*very ponderously concerned with*) возможностью заимствования морфологических признаков и рассматривает порожденное таким заимствованием внешнее сходство вообще в качестве альтернативы языковому родству (ES/ALK 04.10.1920; Golla 1984: 347). В этой связи Лайл Кэмпбелл пытается представить дело так, что отношение к устойчивости морфологии в контексте языковых сравнений вскрывает разницу в подходах Боаса и Сэпира. Будто бы вначале они являлись практически единомышленниками в данном вопросе, но к 1920 г. эволюционировали в противоположных направлениях. И если последний усомнился в том, что «морфологические паттерны» могут достаточно широко заимствоваться и предпринимал попытки по различению заимствованных форм и унаследован-

ного из праязыка материала, то Боас только укрепился в своем подозрении, настаивая, что видимая разница в обоих случаях может вовсе стираться (Campbell 1997: 72).

Кэмбелл сделал свой вывод на основании фразы, мельком брошенной Сэпиром в том самом письме к Лоуи, в котором обсуждались главы книги «Язык» и, в частности, понятие языкового дрейфа: «Очень похоже, что я как-то слишком мало придавал важности процессам заимствования. Возможно, Боас и я расходимся в этом пункте» (ES/RL 23.05.1921; Lowie 1965: 49). Но, как было показано в предыдущем разделе, наоборот, с годами Сэпир стал обращать больше внимания на возможность скрещения языков, хоть, может быть, и не так сильно, как только что вырисовавшийся его антагонист.

Что до Крёбера, то, как оказалось, еще в 1915 г. он имел «дружескую дискуссию об отношениях с Боасом» и пытался убедить того, что никто не собирается с ним ссориться из-за его позиции, коль он сам не чувствует необходимости «противодействовать (to antagonize) нашей» (ALK/ES 28.11.1915; Golla 1984: 199). В целом же Крёбер оставался верным приверженцем боасовского дескриптивизма, признавая, что «[ч]исто аналитическая и описательная работа Боаса, конечно же, была и все еще крайне необходима <...>. Влияние Боаса в направлении здравого критического подхода будет постоянно оставаться с нами». Правда, и ему казалось, что их бывший ментор «вероятно, чересчур оптимистичен (over-sanguine)» по части возможного обмена «множеством структурных черт» между отдельными «стволами» наподобие того, как ведут себя культурные элементы при контактах (ALK/ES 27.12.1920; Golla 1984: 358).

В этом смысле Радин был еще бóльшим боасовцем. К 1922 г. он подготовил объемную грамматику ваппо, которая увидела свет только в 1929 г. в крёберовской университетской серии, и не без участия Боаса, являвшегося тогда председателем Комитета по исследованию индейских языков при Американском совете ученых обществ (Radin 1929: 1, footnote). Радин, эмигрант, как и все они, без колебаний противопоставлял младограмматиков, коих называл подчеркнуто по-немецки “Jung-Grammatiker”, «американской школе филологии». К ней он относил всех авторов «Руководства по языкам американских индейцев», кроме Э. Сэпира и В. Талбицера, считая, по-видимому, что они ближе к европейской лингвистике (4).

По Радину, сила и одновременно слабость этой школы заключалась в ее «иконоборческой» (iconoclastic) сути, проявлявшейся в восстании против догм, но и ведущей к изоляции от «классической школы филологов». Под догмами он имел в виду постулаты, выдвигавшиеся до того Б. Дельбрюком, К. Бругманом и А. Лескином: а) о том, что фонетические изменения носят бессознательный характер и не терпят исключений, и б) что

ведущую роль в них играет принцип аналогии. Чтобы опровергнуть эти устоявшиеся взгляды, Радин ссылался на Крёбера, у которого получалось, что, по крайней мере, в йокатс «абстрактное грамматическое различие полностью приостанавливает и снова приводит в действие <...> конкретный и физический фонетический закон» – изменение гласной в основе при прибавлении суффикса зависит от его значения (Kroeber 1907: 211; Radin 1929: 2). Но ведь именно так рассуждал и Сэпир, предупреждая, что бессмысленно рассматривать изменения в звуковой системе языка в отрыве от морфологии и без учета его общего дрейфа. Нелишне было бы привести и другие американские случаи «сознательного контроля» над действием звуковых законов. Например, когда на Аляске носители одного атапаскского языка заимствуют из близкородственного языка слово, то стараются адаптировать его с учетом хорошо известных им фонетических соответствий, так что практически невозможно отличить заимствование от корневой лексики – явление, которое Майкл Краусс назвал «туземной компаративистикой» (Krauss 1980).

Через пару лет после радинского замечания в американистике вспыхнет дискуссия о возможности выделения в индейских языках звуковых законов, затрагивающая наряду с прочим и вопрос о сущности этого явления. Инициаторами ее будут выступать Л. Блумфилд – автор реконструкции працентрально-алгонкинского языка на основе шести регулярных фонетических изменений в его диалектах (фокс, оджибва, равнинном кри и меномини; см.: Bloomfield 1925, 1926, 1928), и Сэпир, добавивший свои 15 фонетических законов, которые действуют в различных атапаскских языках, от навахо и хупа до сарси и чипевайан (Sapir 1931; Сэпир 1993: 313–322). Совместными усилиями они переведут решение боасовской проблемы чередующихся звуков (см.: Boas 1889b; Боас 2022) – адекватности восприятия евроамериканским исследователем фонетики индейских языков – в плоскость совершенствования методик их сравнительного изучения. И к 1950-м гг. М. Сводеш (Swadesh 1952) довершит исследование по детальной проработке «фонологической географии» сэлишских языков, начатое еще Ф. Боасом и Г. Хэберлином (Boas, Haeblerlin 1927). В следующее десятилетие формулировка вопроса о звуковых переходах в предельно широком историческом контексте, затрагивающем все основные попытки его решения, прозвучит в президентской речи Чарльза Хоккета перед Лингвистическим обществом Америки (Hockett 1965).

«Ответ» Радина полон цитат из боасовской «Классификации американских языков». Вместе с тем исследователя волновало, что никто из специалистов по индейским языкам его времени не пошел так далеко, как он сам, и не признал генетическое единство всех выделяемых в Америке языковых семей. По его мнению, это существенно искажало пер-

спективу рассмотрения их истории, в отличие от индоевропеистики, которая давно преодолела жесткие рамки синхронии в изучении самых разных языковых явлений – падежной системы, спряжений глаголов, синтаксиса и проч.: «На всем протяжении я искал, как выставить язык во всей его множественности и текучести» (Radin 1929: 5). На что Гарри Хойджер (Хойер) заметит: «Вся его лингвистическая работа была отмечена пренебрежением, если не абсолютным избеганием задачи по определению структуры языка» (Hoijer 1959: 842). Впрочем, как уже было продемонстрировано (см.: Кузнецов 2023), подобный упрек можно было бросить в адрес боасовской лингвистики тоже.

Идеи и аргументы в пользу отказа от принципов сравнительно-исторического языкознания в американских исследованиях сконцентрированы еще сильнее во второй части диалогии со слегка модифицированным названием – «Классификация американских индейских языков». Чем объясняется ее появление уже после того, как схлынул поток интереса к проблеме дальнего лингвистического родства, вызванного ламперскими успехами 1919–20 гг.? 1929-й – это год выхода последней работы Сэпира на данную тему – энциклопедической статьи (Sapir 1929), впервые с большим опозданием представляющей «шесть фил» широкой читательской публике. Событие это, безусловно, могло послужить для Боаса толчком, чтобы повторно напомнить о своих взглядах.

Итак, в своей новой статье Боас высказывается еще определеннее в пользу реальности скрещения языков, процесса их «гибридизации»: «[М]ы должны признать, что многие языки имеют множественные корни» (Boas 1940: 225). По-прежнему весьма интересны обосновывающие такой вывод примеры, особенно самый первый: «В упомянутой выше статье я привел несколько общих примеров, и сегодня хочу добавить еще один пример, который кажется особенно поучительным» – незперс в группе сахаптинских (218). По разным поводам этот язык упомянут в тексте три или четыре раза (порой Боас не уточняет, о каком именно – сахаптинском, восточном или западном, идет речь). Так, в незперс (вост. сахаптинском) имелась гармония гласных, которая исчезла за Каскадными горами, где мигрировавшие сахаптины «пережились с проживавшими там сэлишскими племенами» (220) и переняли у них соответствующую фонетическую систему. В 1927 г. антрополог познакомился с Арчи Финни – незперс из шт. Айдахо. Этот коренной американец при содействии «папы Франца» поступил в Нью-Йоркский университет, а в 1929 г. был послан в поле, в свою родную резервацию, собирать материал по языку незперс. Позже, уже после описанных событий он поедет в РСФСР обмениваться опытом и даже получит там степень кандидата наук (Кузнецов 2020). Очевидно, Боас обращался к фактам указанного языка, что называется, по горячим следам.

Еще более наглядной иллюстрацией того, насколько далеко может зайти взаимовлияние неродственных языков, послужило сравнение эскимосского и чукотского. В этой паре отмечаются структурные сходства, которые автор статьи трактовал не иначе как результаты контактов: будто бы и в том и в другом языке множественное число образуется при помощи, в сущности, одинакового суффикса; формально субъект при непереходном глаголе совпадает с объектом переходного глагола; имеются множественные послелогии со значением места и аналогии в выражении модальности глаголов и т. д. и т. п. (Boas 1940: 223–34). Антрополог сам знал инуктитут (язык Баффиновой Земли), использовал очерк эскимосского, выполненный для “*Handbook of American Indian Languages*” Талбицером, который тут же упомянут. Грамматика же чукотского языка авторства В.Г. Богораза готовилась для второго тома “*Handbook*’а” и увидела свет лишь в 1922 г., поэтому логично, что соответствующие материалы не приобретали для Боаса актуальность раньше этой даты. В 1927 г. российский ученый писал из Ленинграда П.Э. Годдарду, тогда куратору этнологии Американского музея естественной истории, желая получить восковые валики с чукотскими записями времен Джесуповской экспедиции (AMNH-DA: Goddard/WB 18.02.1927, WB/Goddard 08.03.1927, Goddard/WB 04.04.1927). Осенью 1928 г. Богораз собственной персоной приехал Нью-Йорк, где участвовал в XXIII Международном конгрессе американистов. Его разместили в “*International House*” на Риверсайд-драйв, всего-то чуть севернее кампуса Колумбийского университета, в котором Боас по-прежнему состоял профессором. Вернувшись домой, всю весну следующего года Владимир Германович переписывался с Кларком Уисслером относительно судьбы своей рукописи об азиатских эскимосах, за которую в конце концов ему перевели на берлинский счет 300 долларов (AMNH-DA: CW/Sherwood 02.02.1929, Anonymous/WB 01.03.1929, WB/CW 18.04.1929). Так или иначе, он не позволял себя забыть, и у Боаса оказалось более чем достаточно поводов обратить, наконец, свой взор в направлении поисков чукотско-эскимосских схождений.

Тема взаимоотношений этих двух языков или языковых групп, как кажется, впервые поднятая именно «героическим ментором», заинтересует Талбицера, который попытается доказать, что виной всему – наличие эскимосского субстрата в чукотском (Thalbitzer 1952). Следующие поколения лингвистов, однако, будут писать о возможном их родстве, в частности Дмитрий Шимкин, сравнивавший чукотский с алеутским (Shimkin 1960), и М. Сводеш, доказывавший генетическую общность чукотско-камчатских с эскалеутскими в целом (Swadesh 1962), либо, как это делает О.А. Мудрак (Mudrak 2008), объединять их внутри еще более широкой группировки, например ностратической.

Независимо от того, насколько правдоподобны выводы всех этих исследователей, занимательные случаи ареального взаимодействия чукчей

и эскимосов в языке, по-видимому, все же имеются. Г.А. Меновщиков, в 1930-е гг. описавший (старо)сиренинский язык, к сожалению, уже мертвый, обратил внимание на специфический $\widehat{tj}$ -акцент его носителей. Соответствующий «переднеязычный дорсальный аффрикативный согласный», отсутствующий во всех других эскимосских языках, употреблялся ими вместо z, s, l, j, r , наиболее же часто в лексике, не находящей соответствий в остальных эскимосских языках и диалектах. Но звук этот характерен для женского варианта чукотского, где также замещает r , ср. муж. *karám* ‘нелзя’ при жен. *katŕém* и др. Более того, в речи эскимосов села Сиреники $\widehat{tj}$ вел себя необычно, не оказывая влияния на соседние согласные (не оглушая их и проч.). В устной беседе Н.В. Вахтин (интервью, 5 сентября 2023 г.) предложил следующее объяснение, хотя и посчитал его маловероятным: возможно, предки сиренинцев жили юго-западнее (женский диалект неизвестен у непосредственных их соседей – восточных чукчей), где переженились на чукчанках, акцент которых закрепился в местном эскимосском и стал передаваться по женской линии. В свою очередь информантами Меновщикова также являлись исключительно женщины, в силу своего большего долголетия оказавшиеся последними носительницами вымиравшего языка. При этом сам его первооткрыватель побоялся сделать подобное заключение: «В данном случае сравнение с чукотским женским произношением аффрикаты $[\widehat{tj}]$ делается только в плане типологического сопоставления, но не для иллюстрации возможного влияния чукотского языка на возникновение фонемы $[\widehat{tj}]$ в языке сиренинских эскимосов» (Меновщиков 1964: 19, прим. 18).

Тем не менее перечень общих для двух языков черт в этом случае, возможно, не ограничивался одной реликтовой фонемой. Старожилам села, ныне перешедшего на русский и чаплинский эскимосский языки, знакома была также гортанная смычка $[ʔ]$, неизвестная эскимосскому, но в чукотском являющаяся отдельной фонемой. Более того, как и в современном чукотском, в старосиренинском отсутствовало двойственное число, наоборот, характерное для эскимосского. Сводеш, убежденный, что полученный им результат «выходит за рамки указания на некую неопределенную форму исторической связи», относил появление этого признака к прачукотско-камчатско-эскалеутскому состоянию (Swadesh 1962: 1284, 1289). Более точно показатель множественного числа $-k$ в чукотском, ср. $-tik$ ‘мы’ и $-tik$ ‘вы’, он предлагал выводить из $*-kt$, соответствующего двойственному алеутского $-g/-k$ и эскимосского $-k$, при этом обращая внимание на сходство чукотского $-ti-k$ с алеутским $-di-g$ в *sgi-di-g* ‘вы оба’. Относительно особенностей распространения двойственного числа в одних только чукотско-камчатских языках писал Богораз: « $[K]$ орякский I (зап. – И.К.) обладает двойственным числом, которое в чукотском по форме соответствует множественному. Множественное же корякского, как I, так и II (вост. – И.К.), представляет набор отличных форм»

(Bogoras 1922: 694). Однако признание реальности существования общей чукотско-камчатско-эскимосской праформы не отменяет того, что в сиренском она могла быть утеряна вслед за чукотским.

Боас демонстрирует незаурядную наблюдательность, когда характеризует эскимосский как особо консервативный в сравнении с другими языками, поскольку «даже сейчас дифференциация диалектов Аляски и Гренландии слаба, хотя обе группы разделились более тысячи лет назад» (Boas 1940: 216). Тем поразительнее выглядит глубина эскимосско-алеутского расхождения. Тот же Г.А. Меновщиков столкнулся еще с одной странностью эскимосской диалектологии, возможно показывающей, в чем тут дело. В старосиренинском, помимо закономерных заимствований из чукотского, имелись чисто алеутские лексемы и структурные элементы, а своей моделью слова он был близок эскимосскому о-ва Нунивак (шт. Аляска). Точно так же уэльско-имакликский диалект о-вов Берингова пролива демонстрировал сходство не столько с соседними аляскинским и науканским на Чукотке, сколько с гренландским эскимосским. Причину описанного этот ученый видел в том, что из-за многочисленных миграций, «разошедшиеся диалекты и языки снова перекрещивались и снова расходились» (Меновщиков 1964: 4), т.е. внутри диалектного континуума равно имели место дивергенция и конвергенция. Добавим, что такая ситуация, вероятно, должна была поддерживаться долговременным сохранением особой культурной и в какой-то степени политической близости, отдельной от алеутов. Эскимосский, как и в чем-то аналогичный ему случай, обнаруженный Сэпиром в Калифорнии (яна), таит в себе многие подводные камни, существенно затрудняя построение классического Stammbaum. Эту проблему ощутит Сводеш, называвший в числе главных трудностей, о которые споткнулись бывшие попытки по установлению внешнего родства эскимосских языков, «неожиданные явления древнего диалектного смешения (old dialect mixture)» (Swadesh 1962: 1267). Ввиду этого он даже готов будет пропустить уровень чукотско-камчатского и эскимосского праязыков в своих собственных реконструкциях (1289):

[И]х носители в общий период образовывали единую речевую общность, хотя, вероятно, и сложную, покрывающую значительную территорию и включающую различные диалектные формы ко времени их окончательного разделения. С другой стороны, эта общность не обязательно была исключительно прачукотской и праскалеутской. Другие свидетельства, все еще исследуемые, предполагают, что, по крайней мере, урало-алтайские (Uraltaian), гилякский, айну и вакашские также [с ними] связаны.

Эскимосы интересовали Боаса со времени его плавания на Баффинову Землю; эскимосско-индейские взаимоотношения на Лабрадоре и Аляске — начиная с 1886 г., когда он представил в Берлине свой план

перспективных исследований (Stocking 1974: 88); проблема установления древнейших связей между Азией и Америкой – по крайней мере с 1888 г., когда, находясь в Виктории (Британская Колумбия), он впервые услышал удивительную речь информантов хайда и тлинкит. Как известно, в последующем все это вылилось в проведение Джесуповской экспедиции. Относительно недавно была обнаружена карта 1896 г., собственноручно написанная акварелью самим «героическим ментором». Разными цветами на нее он нанес объекты, которые предлагал изучить: с американской стороны – эскимосов, алеутов, индейцев Северо-Западного побережья; с азиатской – также эскимосов, а кроме того чукчей и коряков (выделены одним цветом как родственные), ительменов, юкагиров (Yookageer), якутов (Yakoot), нивхов, айнов и разнообразные группы тунгусов (Tungoose). Явно недостаточная еще степень погружения Боаса в тему видна не только из непривычной транслитерации этнических наименований, но и из более серьезного упущения – азиатские эскимосы показаны в двух местах, и южный анклав, значительно южнее Анадыря, выделен ошибочно (Krupnik, Freed 2004: 17). Результаты работы экспедиции позволили исправить ошибки в познании и заполнить белые пятна. После 1920 г. самой резонансной и при этом сугубо лингвистической попыткой по наведению мостов из Старого Света в Новый стала так называемая индо-китайская гипотеза Сэпира о возможном родстве на-дене с сино-тибетскими языками, так что возврат Боаса к эскимосским и здесь выглядел как альтернатива сэпировскому пониманию проблемы. Саму же близость атапаскских языков тлинкитскому и хайда он продолжал истолковывать не генетически, а как следствие влияния общего субстрата, возможно, хайда-тлинкитского в атапаскских. Мы уже видели, что четырем годами позже аналогичным образом поступит Радин.

Концовка статьи 1929 г. снова возвращает нас к миф-истории антропологии, в данном случае лингвистической, как она понималась одним из ее «отцов-основателей». Боас живет в Соединенных Штатах более 40 лет, но и на этот раз все упомянутые им имена немецкие или связаны с Deutsche Sprachraum. В качестве своих будто бы предшественников, обращавших внимание на важность скрещенных языков, автор работы называет востоковедов К. Лепсиуса и Г. фон Габеленца, как современников-единомышленников – Отто Демпвольфа, видящего в праязыке не более чем модель, искусственный конструкт; йельского германиста Эдуарда Прокоша и особенно виднейшего критика младограмматиков Гуго Шухардта. «Вопрос, который интересует нас, – заключает американский антрополог, – суть не теоретическая дефиниция родства языков, как его определяет [Антуан] Мейе, но только вопрос исторического развития» (Boas 1940: 225). Если расширить рамки, то спор Боаса с европейской компаративистикой его времени велся против жесткого увязывания

языка и этничности, преувеличения роли расового фактора. Как и на других полях, и прежде всего в физической антропологии, ему важно было подчеркнуть значение не происхождения, а воздействия среды на развитие (историю) языка.

Список сокращений

ES/ALK – Edward Sapir to Alfred Louis Kroeber
ES/RL – Edward Sapir to Robert Lowie
ALK/ES – Alfred Louis Kroeber to Edward Sapir
AMNH-DA – American Museum of Natural History, Division of Anthropology
Goddard/WB – Pliny Earle Goddard to Waldemar Bogoras
WB/Goddard – Waldemar Bogoras to Pliny Earle Goddard
CW/Sherwood – Clark Wissler to George Sherwood
Anonymous/WB – Anonymous to Waldemar Bogoras
WB/CW – Waldemar Bogoras to Clark Wissler

Список источников

- Боас Ф. О чередующихся звуках / пер. с англ. И.В. Кузнецова // Этнографическое обозрение. 2022. № 4. С. 162–166.
- Кузнецов И.В. «Просто молодой турист в нашей стране»: лингвист и антрополог нез-перс Арчи Финни // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 53–83.
- Кузнецов И.В. К лингвистическим воззрениям Франца Боаса // Вопросы языкознания. 2023. № 3. С. 143–157.
- Меновицков Г.А. Язык сиренинских эскимосов. Фонетика, очерк морфологии, тексты и словарь. М.; Л.: Наука, 1964.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / пер. с англ. под ред. А.Е. Кибрика. М.: Прогресс; Универс, 1993.
- Bloomfield L. On the Sound-System of Central Algonquian // Language: Journal of the Linguistic Society of America. 1925. Vol. 1. P. 130–156.
- Bloomfield L. A Set of Postulates for the Science of Language // Language: Journal of the Linguistic Society of America. 1926. Vol. 2. P. 153–164.
- Bloomfield L. A Note on Sound-Change // Language: Journal of the Linguistic Society of America. 1928. Vol. 4. P. 99–100.
- Boas F. Die Ziele der Ethnologie. Vortrag gehalten im Deutschen Gesellig-Wissenschaftlichen Verein von New York am 8. März 1888. New York: Hermann Bartsch, 1889a [Author's English version as "The Aims of Ethnology" in: Boas 1940. P. 626–638].
- Boas F. On Alternating Sounds // American Anthropologist. 1889b. Vol. 2. P. 47–53.
- Boas F. Classification of the Languages of the North Pacific Coast // Memoirs, International Congress of Anthropology, Chicago, August 28, 1893. Chicago: Schulte, 1894. P. 339–346.
- Boas F. Introduction // Handbook of American Indian Languages. Part 1. Washington: Government Printing Office, 1911 (Bulletin No. 40, Bureau of American Ethnology). P. 1–83.
- Boas F. Grammatical Notes on the Language of the Tlingit Indians. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1917 (The University Museum Anthropological Publications. Vol. 8, No. 1).
- Boas F. Race, Language, and Culture. New York: Macmillan, 1940.
- Boas F., Haeblerlin H. Sound Shifts in Salishan Dialects // International Journal of American Linguistics. 1927. Vol. 4, No. 2/4. P. 117–136.
- Bogoras W. Chukchee // Handbook of American Indian Languages. Part 2. Washington: Government Printing Office, 1922 (Bulletin No. 40, Bureau of American Ethnology). P. 631–903.
- Campbell L. American Indian languages: The Historical Linguistics of Native America. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997 (Oxford studies in anthropological linguistics: 4).

- Golla V. (ed.) The Sapir-Kroeber Correspondence. University of California Press: Berkeley, 1984 (Survey of California and Other Indian Languages. Report No. 6).
- Hockett Ch. Sound Change // *Language*. 1965. Vol. 41, No. 2. P. 185–204.
- Hoijer H. Paul Radin, 1883–1959 // *American Anthropologist*. New Series. 1959. Vol. 61, No. 5. Part 1. P. 839–843.
- Krauss M. On the History and Use Comparative Athapaskan Linguistics. Fairbanks, AK: University of Alaska, Native Language Center, 1980.
- Kroeber A.L. The Yokuts Language of South Central California. Berkeley, Cal.: University of California Press, 1907 (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 2, No. 5). P. 169–393.
- Kroeber A.L. Powell and Henshaw: An Episode in the History of Ethnolinguistics // *Anthropological Linguistics*. Vol. 35. No. 1/4. A Retrospective of the Journal Anthropological Linguistics: Selected Papers, 1959–1985 (1993). P. 46–50.
- Krupnik I., Freed S. Original Boas Map for The Jesup Expedition Discovered // *Arctic Studies Center Newsletter* (Smithsonian Institution, National Museum of Natural History). December 2004. No. 12. P. 16–17.
- Lowie R. Letters from Edward Sapir to Robert H. Lowie, 1–14. Berkeley, Cal.: privately printed, completed, 1965.
- Mudrak O.A. Kamchukchee and Eskimo Glottochronology and Some Altaic Etymologies Found in the Swadesh List // *Aspects of Comparative Linguistics*, 3. *Orientalia et classica*. Trudy Instituta vostochnykh kul'tur i antichnosti, 19 / eds. by A.V. Dybo, V.A. Dybo, O.A. Mudrak, G.S. Starostin. Moscow: RSHU Publ. Centre, 2008. P. 297–336.
- Powell J. W. Indian Linguistic Families of America North of Mexico // 7th Annual Report, Bureau of American Ethnology. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1891. P. 1–142.
- Radin P. The Genetic Relationship of The North American Indian Languages // *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*. 1919. Vol. 14, No. 5. P. 489–502.
- Radin P. A Grammar of The Wappo Language. Berkeley, California: University of California Press, 1929 (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 27).
- Sapir E. A Bird's-Eye View of American Languages North of Mexico // *Science*. New Series. 1921. Vol. 54, No. 1400. P. 408.
- Sapir E. Central and North American Languages // *Encyclopaedia Britannica*, 14th ed. London; New York: Encyclopaedia Britannica Co., 1929. Vol. 5. P. 138–141.
- Sapir E. The Concept of Phonetic Law as Tested in Primitive Languages by L. Bloomfield // Rice S.A. ed. *Methods in Social Science: A Case Book*. Chicago: University of Chicago Press, 1931. P. 297–306.
- Shimkin D.B. Review of Aleut Dialects of Atka and Attu, by K. Bergsland // *American Anthropologist*. 1960. Vol. 62. P. 729–730.
- Stocking G. (ed.) *The Shaping of American Anthropology, 1883–1911*. New York: Basic Books, 1974 [Midway Reprint Edition, 1989].
- Swadesh M. Linguistic Relations across Bering Strait // *American Anthropologist*. New Series. 1962. Vol. 64, No. 6. P. 1262–1291.
- Swadesh M. Salish Phonologic Geography // *Language*. 1952. Vol. 28, No. 2. P. 232–248.
- Thalbitzer W. Possible Early Contacts Between Eskimo and Old World Languages // *Indian Tribes of Aboriginal America*. Sol Tax. ed. *Proceedings of the 29th International Congress of Americanists 3* (1952). P. 50–54.
- Thomason S. Linguistic Areas and Language History // *Studies in Slavic and General Linguistics*. 2000. Vol. 28: Languages in Contact. P. 311–327.

References

- Bloomfield L. (1925) On the Sound-System of Central Algonquian. *Language: Journal of the Linguistic Society of America*, vol. 1, pp. 130–156.

- Bloomfield L. (1926) A Set of Postulates for the Science of Language. *Language: Journal of the Linguistic Society of America*, vol. 2, pp. 153–164.
- Bloomfield L. (1928) A Note on Sound-Change. *Language: Journal of the Linguistic Society of America*, vol. 4, pp. 99–100.
- Boas F. (1889a) *Die Ziele der Ethnologie*. Vortrag gehalten im Deutschen Gesellig-Wissenschaftlichen Verein von New York am 8. März 1888. New York: Hermann Bartsch [Author's English version as "The Aims of Ethnology" in: Boas 1940. pp. 626–638]. (In German and English).
- Boas F. (1889b) On Alternating Sounds. *American Anthropologist*, vol. 2, pp. 47–53.
- Boas F. (1894) Classification of the Languages of the North Pacific Coast. *Memoirs, International Congress of Anthropology*, Chicago, August 28, 1893. Chicago: Schulte, pp. 339–346.
- Boas F. (1911) Introduction. *Handbook of American Indian Languages*, part 1. Washington: Government Printing Office. (Bulletin No. 40, Bureau of American Ethnology). pp. 1–83.
- Boas F. (1917) *Grammatical Notes on the Language of the Tlingit Indians*. Philadelphia: University of Pennsylvania, (The University Museum Anthropological Publications. Vol. 8. No. 1).
- Boas F. (1940) *Race, Language, and Culture*. New York: Macmillan.
- Boas F. (2022) O chereduiushchikhsia zvukakh [On Alternating Sounds]. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review], no. 4, pp. 162–166. (In Russian).
- Boas F., Haeberlin H. (1927) Sound Shifts in Salishan Dialects. *International Journal of American Linguistics*, vol. 4, no. 2/4 (Jan.), pp. 117–136.
- Bogoras W. (1922) Chukchee. *Handbook of American Indian Languages*, part 2. Washington: Government Printing Office (Bulletin No. 40, Bureau of American Ethnology). pp. 631–903.
- Campbell L. (1997) *American Indian languages: The Historical Linguistics of Native America*. New York; Oxford: Oxford University Press (Oxford studies in anthropological linguistics: 4).
- Golla V., ed. (1984) *The Sapir-Kroeber Correspondence*. Berkeley: University of California Press (Survey of California and Other Indian Languages. Report No. 6).
- Hockett Ch. (1965) Sound Change. *Language*, vol. 41, no. 2, pp. 185–204.
- Hojjer H. (1959) Paul Radin, 1883–1959. *American Anthropologist*, new series, vol. 61, no. 5, part 1, pp. 839–843.
- Krauss M. (1980) *On the History and Use Comparative Athapaskan Linguistics*. Fairbanks, AK: University of Alaska, Native Language Center.
- Kroeber A.L. (1907) The Yokuts Language of South Central California. *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*, vol. 2, no. 5, pp. 169–393.
- Kroeber A.L. (1993) Powell and Henshaw: An Episode in the History of Ethnolinguistics. *Anthropological Linguistics*, vol. 35, no. 1/4, A Retrospective of the Journal Anthropological Linguistics: Selected Papers, 1959–1985, pp. 46–50.
- Krupnik I., Freed S. (2004) Original Boas Map for The Jesup Expedition Discovered. *Arctic Studies Center Newsletter* (Smithsonian Institution, National Museum of Natural History), no. 12 (December), pp. 16–17.
- Kuznetsov I. (2020) «Prosto molodoi turist v nashei strane»: lingvist i antropolog nez-pers Archi Finni [“Just a Young Tourist in Our Country”: Archie Phinney, a Nez Perce Linguistic Anthropologist]. *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture], no. 47, pp. 53–83.
- Kuznetsov I. (2023) K lingvisticheskim vozzreniiam Frantsa Boasa [Towards Franz Boas's Linguistic Views]. *Voprosy jazykoznanija* [Topics in The Study of Language], no. 3, pp. 143–157.
- Lowie R. (1965) *Letters from Edward Sapir to Robert H. Lowie*, 1–14. Berkeley, Cal.: privately printed, completed.

- Menovsh'ikov G.A. (1964) *Iazyk sireniskikh eskimosov. Fonetika, ocherk morfologii, teksty i slovar'* [Sireniki Eskimo. Phonetics, Sketch of Morphology, Texts, and Vocabulary]. Moscow-Leningrad: Nauka Publ.
- Mudrak O.A. (2008) Kamchukchee and Eskimo Glottochronology and Some Altaic Etymologies Found in the Swadesh List. A.V. Dybo, V.A. Dybo, O.A. Mudrak, and G.S. Starostin (eds.), *Aspects of Comparative Linguistics, 3. Orientalia et classica. Trudy Instituta vostochnykh kul'tur i antichnosti*, 19, pp. 297–336.
- Powell J.W. (1891) Indian Linguistic Families of America North of Mexico. *7th Annual Report, Bureau of American Ethnology*, pp. 1–142.
- Radin P. (1919) The Genetic Relationship of The North American Indian Languages. *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*, vol. 14, no. 5, pp. 489–502.
- Radin P. (1929) *A Grammar of The Wappo Language*. Berkeley, California: University of California Press (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 27).
- Sapir E. (1921) A Bird's-Eye View of American Languages North of Mexico. *Science, new series*, vol. 54, no. 1400 (Oct. 28), p. 408.
- Sapir E. (1929) Central and North American Languages. *Encyclopaedia Britannica, 14th ed.*, vol. 5. London; New York: Encyclopaedia Britannica Co., pp. 138–141.
- Sapir E. (1931) The Concept of Phonetic Law as Tested in Primitive Languages by L. Bloomfield. Rice S. A. ed. *Methods in Social Science: A Case Book*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 297–306.
- Sapir E. (1993) *Izbrannye Trudy po iazykoznaniu i kul'turologii* [Selected Workings on Linguistics and Cultural Studies]. Moscow: Progress, Univers. (In Russian).
- Shimkin D.B. (1960) Review of Aleut Dialects of Atka and Attu, by K. Bergsland. *American Anthropologist*, vol. 62, pp. 729–730.
- Stocking G., ed. (1974) *The Shaping of American Anthropology, 1883–1911*. New York: Basic Books [Midway Reprint Edition, 1989].
- Swadesh M. (1952) Salish Phonologic Geography. *Language*, vol. 28, no. 2, pp. 232–248.
- Swadesh M. (1962) Linguistic Relations across Bering Strait. *American Anthropologist, new series*, vol. 64, no. 6, pp. 1262–1291.
- Thalbitzer W. (1952) Possible Early Contacts Between Eskimo and Old World Languages. *Indian Tribes of Aboriginal America. Sol Tax. ed. Proceedings of the 29th International Congress of Americanists* 3, pp. 50–54.
- Thomason S. (2000) Linguistic Areas and Language History. *Studies in Slavic and General Linguistics*, vol. 28, Languages in Contact, pp. 311–327.

Сведения об авторе:

КУЗНЕЦОВ Игорь Валерьевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт языкознания РАН (Москва, Россия). E-mail: i.kuznetsov@iling-ran.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Igor V. Kuznetsov, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: i.kuznetsov@iling-ran.ru

The author declares no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 11 ноября 2023 г.;
принята к публикации 07 декабря 2023 г.

The article was submitted 11.11.2023;
accepted for publication 07.12.2023.

СОСЕДИ И СОСЕДСТВО: ДЖИННЫ И ЛЮДИ В МУСУЛЬМАНСКИХ КУЛЬТУРАХ (продолжение) (отв. ред. специальной темы номера – К.П. Трофимова и А.А. Ярлыкапов)

Научная статья
УДК 94 (5-011); 297; 295
doi: 10.17223/2312461X/43/4

Джинны и дивы как «чужие»: демонизация образа врага в классической мусульманской традиции и ее истоки

Павел Викторович Башарин

*Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия
pbasharin@yandex.ru*

Аннотация. Анализируются истоки отдельных мотивов, связанных с демонизацией образа «другого» в классической мусульманской традиции, и на основе текстологического анализа выявляются основные закономерности развития данной мифологемы. Материалом для анализа служит корпус арабских и персидских текстов разных жанров: исторических (ат-Табари, ал-Джувайни, Хвандамир, Ша-раф ад-Дин Бидлиси), географических (жанр 'аджа'иб), фольклорных («Тысяча и одна ночь»), эпической поэзии (Фирдауси, Низами), богословской литературы (Мухаммад ат-Туси). К доисламскому времени восходят такие мотивы, как поход героя на населенную демонизированными врагами землю и демонизация чернокожих. Сильный противник часто ассоциируется с демонами. Это подчеркивает его сверхчеловеческие боевые качества. Наиболее репрезентативным случаем является демонизация образа завоевателей, таких как монголы. Особенно частотен прием демонизации противника в официальных хрониках начиная с тимуридского периода. Сравнение с демонами к XIV–XV вв. стало важной составляющей мусульманской этики. Наиболее наглядно демонизация чужаков представлена в изобразительном искусстве: от монументальной живописи домусульманской Средней Азии до книжной миниатюры. Показательным примером являются изображения демонов в живописи Сийах Калама.

Ключевые слова: джинны, пери, дивы, зинджи, тюрки, монголы, Сийах Калам

Для цитирования: Башарин П.В. Джинны и дивы как «чужие»: демонизация образа врага в классической мусульманской традиции и ее истоки // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 47–68. doi: 10.17223/2312461X/43/4

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/4

Jinn and Divs as the Other: Demonizing the Enemy in Classical Islamic Tradition and its Origins

Pavel V. Basharin

*Russian State University for the Humanities, Moscow, Russian Federation
pbasharin@yandex.ru*

Abstract. The present paper analyzes the origins of certain motifs of demonizing the “other” in classical Islamic tradition. It reveals the main trends in the development of this mythologem based off of textual analysis. The material for the analysis is a body of Arabic and Persian texts of different genres: history (al-Tabari, al-Juwayni, Khvandamir, Sharaf al-Din Bidlisi), geography (‘adja’ib), folklore (“The Thousand and One Nights”), epic poetry (Firdawsi, Nizami), and theological literature (Muhammad al-Tusi). Motifs such as the hero marching to a land infested by demonic enemies and demonizing black people date back to Indo-Iranian tradition. A powerful enemy is often associated with a demon. This comparison emphasizes his superhuman fighting qualities. The most representative case is the demonizing of formidable conquerors, such as the Mongols. Demonizing the enemy is particularly frequent in official chronicles from the Timurid period onward. Comparison with demons had become an important component of Muslim ethics by the 14th and 15th centuries. Demonizing the outsiders can actually be seen most clearly in the visual arts: from pre-Islamic monumental painting in Central Asia to book miniatures. The most illustrative example is the depiction of demons in the paintings of Siyah Qalam.

Keywords: djinn, parī, đīv, zindj, Turks, Mongols, Siyah Qalam

For citation: Basharin, P.V. (2024) Jinn and Divs as the Other: Demonizing the Enemy in Classical Islamic Tradition and its Origins. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 47–68 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/4

قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة * حسناً وان قوتلوا كانوا عفاريتاً

Люди, если их встретить, будут как ангелы

Красотой. А если с ними сразиться будут как ‘ифриты.

Джувайни «Та’рих-и джахангуша» (Juwayni 1937: 37)

Введение

Настоящая статья ставит две цели. Во-первых – проследить истоки отдельных мотивов, связанных с демонизацией образа «другого» в классической мусульманской традиции. Во-вторых, выявить основные закономерности развития данной мифологемы. Демонизация «другого» рассматривается на материале письменных и изобразительных источников. Используется корпус текстов различных жанров: исторических, географических, эпической поэзии, богословской литературы. В связи с тем что количество прямых и косвенных ссылок, упоминающих отождеств-

ление противника с демоническими существами, в арабских и персидских сочинениях (которыми ограничивается автор) весьма велико, принят метод репрезентативной выборки из наиболее известных источников по следующим периодам: домонгольский, монгольский, тимуридский, сафавидский, османский. Образы, рождающиеся на мусульманском Востоке в Новое время, не отличаются оригинальностью и часто копируют классическую традицию. Из изобразительных источников в качестве наиболее ярких образчиков привлекается монументальная живопись домусульманской Средней Азии (Согда и Уструшаны), книжная среднеазиатская миниатюра, миниатюры Мухаммада Сийах Калама (Мехмеда Сийах Калема) и его школы (XIV–XV вв.).

Истоки демонизации «чужих» в доисламской индоиранской традиции

Демонизация противника – распространенный прием, укорененный в мировой культуре. Уподобление противника, особенно атакующих сил, демоническим существам восходит к глубокой древности. Одним из самых древних ярких образов является нашествие горцев-кутиев с территории Загроса на Месопотамию, которых местные жители называли драконом гор.

Демонизация чернокожих народов. Подобный прием зафиксирован и в древнем иранском мире. В «Авесте» определение «дэвовский» (демонический) широко применяется ко всем существам, взращенным Ангромайниу (Ахриманом). Среднеперсидский «Бундахишн» называет демоническим народом негров (*zangīg*)¹, объявляя их потомством союза женщины с дэвом и мужчины с колдуньей. Данный сюжет изложен следом за преданием о союзе Йимы с демоницей, а его сестры Йимак – с демоном. От него произошли обезьяны, медведи, «хвостатые» (*dumbōmand*) и другие испорченные виды (*abārīg wināsišnīg sardag*) (Bundahišn 2005: 196–197; ср. Зороастрийские тексты 1997: 298). Демонизация *зинджей* также обнаруживается в доисламском искусстве Средней Азии. Например, на одной из фресок столицы Уструшаны – Бунджиката изображена голова темнокожего демона (Соколовский 2009: илл. 91).

Обычай демонизировать выходцев из Африки южнее Сахары сохранился в иранской традиции и после прихода ислама. В поэме Низами «Искандар-нама» первый поход Александр Македонский совершает против зинджей, разоряющих Египет. Там же Низами неоднократно сравнивает их с демонами. Царь зинджей Палангар приказал обезглавить македонского посла Татиана (Тутийануша) и выпил его кровь. В ответ Александр прибег к хитрости – приказал казнить нескольких чернокожих, сварить их и подать на стол. Ему приносят заранее приготовленные

черные бараньи головы, которые царь с жадностью пожирает, вселяя ужас в сердце противника (Бертельс 1969: 489).

Особенно экспрессивно описан огромный чернокожий богатырь Зираджа, вооруженный большой костью, ломающей ноги слонов, чью палицу несут на спинах слоны, со ртом широким и черным, как котел, глазами, подобными двум лоханям, наполненным кровью, безжалостно пожирающий почки витязей. Одного за одним он убивает семьдесят воинов Александра, пока сам царь не сражает его булавой (Nizāmī 1316/1937-38: 95–133).

Красноречиво свидетельствуют о демонизации зинджей миниатюры к поэме. На одной из миниатюр «Хамсы», созданной в Бухаре в конце XVI в. (ГПБ, ПНС 272 л. 191а), они изображены в виде демонов со всеми атрибутами, характерными для данных существ, а именно огненными глазами с пламенеющими бровями, браслетами на руках и ногах и гривнами на шеях. Александр рассекает мечом зинджа-великана, вооруженного огромной каменной палицей. В его фигуре налицо ряд специфических демонических черт, включая изображение обнаженного полового органа (Сулаймонова 1985: илл. 133).

Следует заметить, что демонизация чернокожих народов, которые массово завозились на Ближний Восток в качестве рабов, также характерна и для арабоязычной традиции. Арабский фольклор полон описаний уродливых, страшных негров². В случае с подобными описаниями мы имеем дело с демонизацией «чужаков», антропологически отличающихся от описывающих их авторов. Вместе с тем такая враждебность сопровождалась колоссальным объемом африканской работорговли на Ближнем и Среднем Востоке через Индийский океан и Сахару.

Герой против войска демонов. Хорошо известный в индоиранской традиции мотив противоборства божества или героя с войском демонов, в частности сюжет похода героя на землю, где обитают демонические существа, с древности географически привязывался к конкретным областям, населенным иноплеменниками, образ которых демонизировался. В древнеиндийской традиции можно выделить миф, зафиксированный в «Махабхарате», «Шатапатха-брахмане» и двух пуранах («Матсья-пурана», «Шива-пурана»), о сражении Шивы против города-крепости Трипура – пристанища демонов-асуров. Шива пронзает стрелой три выстроившихся в ряд летающих крепости Трипуры (Васильков 1996; Гринцер 1997: 643).

Наиболее известный подобный сюжет зафиксирован в индийской «Рамаяне» и описывает поход Рамы и его союзников на остров Ланку (Цейлон), населенный ракшасами под управлением царя демонов Раваной. Видимо, он является эпической переработкой предания о вторжении ариев на юг Индостана, населенный дравидскими племенами. Союзники Рамы в походе против ракшасов, а также неарийские народы, представляются

как обезьяны (во главе с легендарным предводителем Хануманом, советником царя Сугривы) и медведи, т.е. тоже нечеловеческие существа (рис. 1).



Рис. 1. Бой Искандара с зинджами в виде дэвов. «Хамса» Низами, Бухара 1578–1579. Санкт-Петербург, ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, инв. ПНС 272, л. 191а (21 × 33,5) (публ. по: Сулаймонова 1985: илл. 133)

На иранской почве битвы с демонами, согласно «Шах-нама» Фирдауси, содержания которой восходят к среднеиранским династийным хроникам, носившим заглавие «Хвадай-намаг»³, вели еще цари легендарной династии Пишдадидов. Эти сюжеты не возводятся к историческим событиям. Они восходят к зороастрийским религиозным преданиям о битвах сил света с силами тьмы под предводительством Ахримана и в таком виде сохранились в пехлевийской (среднеперсидской) зороастрийской литературе. На иранской почве демонизация противника прослеживается в сказаниях о походах знаменитого систанского витязя Рустама против демонов Мазандарана.

«Мазанские дэвы» (*māzainya daēva*) упоминаются еще в «Авесте». Согласно наиболее распространенной гипотезе, Мазан отождествляется с более поздним Мазандараном⁴.

Самая ранняя фиксация сюжета сражения с мазадеранскими дэвами обнаруживается в согдийском тексте из Дуньхуана, являющемся, по всей видимости, переводом несохранившегося среднеперсидского оригинала⁵. Фрагмент начинается с того, что Рустам верхом на своем коне Рахше, разгромив до этого войско дэвов и убив их царей, преследует их до ворот города. Это выясняется из разговора запершихся в городских стенах дэвов (Sims-Williams 1976: 55, сткк 10–13; пер. см.: *ibid* 56).

Дэвы, собрав все свои силы, выходят на битву. Интересным представляется описание этого войска: «Множество лучников, множество колесничих, многие верхом на слонах многие верхом на *уун'уч*⁶, многие верхом на свиньях, многие – на лисицах, многие – на собаках, многие на змеях и ящерицах, многие пешком, многие летели, как коршуны и как летучие мыши⁷, многие [шли] головою вниз и ногами кверху <...> Они издавали рев. На долгое время они подняли дождь, снег, град и сильный гром; они распахнули пасти и выпускали огонь, пламя и дым» (Sims-Williams 1967: 55, сткк 16–23; пер. см.: 56–57). Второй отрывок меньшего объема описывает хитрый маневр Рустама. Он отступает, а затем обрушивается на врагов, «как свирепый лев на жертву, как гиена на стадо, как сокол на зайца (?), как дикобраз на змею и начал уничтожать их» (Sims-Williams 1967: 55, сткк 41–44; пер. см.: 58).

Полную версию похода на демонов Мазандаран содержит «Шах-нама» Фирдауси. История начинается при дворе каянидского царя Кай-Кавуса, который, восседая на троне, восхваляет свои доблести. На пиру оказывается див-музыкант, воспевающий красоты Мазандарана. Услышав песню, Кай-Кавус воспламеняется идеей похода на Мазандаран. Он дает наставления бойцам: убивать старых и молодых, сжигать жилища, дабы день для них стал ночью, очистить от дивов мир, пока весть о походе иранцев не дошла до них. Войско идет по земле Мазандарана, убивая на своем пути ее жителей, вплоть до женщин, детей и стариков, сжигая и грабя страну. Царь страны дивов Санджа посылает за помощью к

Белому диву (*Dīv-i sapīd*). Тот выступает в поход с бесчисленным войском и пленяет Кай-Кавуса и его воинов. Чтобы спасти своего злосчастного сюзерена, в Мазандаран отправляется витязь Рустам. По пути он совершает различные подвиги, сражаясь с силами зла.

Край дивов Мазандаран, согласно «Шах-нама», лежит за скалистой пустыней, за рекой шириной в два фарсанга. За ней следует земля козловых (*buzgūsh*) и ремнеюгих (*narmpāy*). Рустам наносит поражение диву Аржангу и его войску, одолевает в единоборстве Белого дива, живущего в пещере. Освободив Кай-Кавуса с войском, Рустам вступает в Мазандаран и бьется с войском дивов. Битва двух войск лишена сверхъестественных описаний и не отличается от битв, в которых сражаются друг с другом отряды людей, описаниями которых богата «Шах-нама». Перед генеральным сражением бьются поединщики (Рустам с дивом Джуйа), затем вступают в битву обе армии. Войско дивов сражается на конях и боевых слонах точно так же, как и войско людей (12; 315–378)⁸.

Мотив демонизации обитателей дальних краев из иранской традиции попал в персидскую и арабскую географическую литературу, связанную с описаниями чудес света (*‘adjā’ib*). Этот жанр характерен напластованием различных бродячих сюжетов, ряд мотивов восходит к так называемым моряцким рассказам. В их сюжетах можно проследить влияние индийских и китайских источников. Одним из таких ярких сюжетов являются рассказы об острове или стране обезьян. Они живут во дворцах, окруженных садами, среди предметов роскоши, часто имеют людские обычаи (живут под управлением верховных владык, пользуются мебелью и посудой, вплоть до того, что исповедуют единобожие) (см. мотив B221.1 «Царство обезьян», по Аарне-Томпсону) (Marzolph, van Leeuwen 2004: 801).

В «Истории Джаншаха», включенной в «Рассказ о царице змей» из «Тысячи и одной ночи», повествуется о сражении войска народа обезьян с гулями, их исконными врагами. При этом в арабо-мусульманской литературе описание сражений с войском гулей встречается не часто. Обезьяны отправляются на битву верхом на огромных собаках. Гули сражаются верхом на конях, некоторые из демонов имеют коровьи или верблюжьи головы. В сражении они закидывают противника каменными палицами («каменьями, имевшими вид дубин») (Книга тысячи и одной ночи 1958–1959 5: 184–187). Следует отметить, что обезьяны, сражающиеся с гулями, не являются положительными персонажами. До этого берут в плен людей, а после того, как те совершают побег, преследуют их по пятам.

Налицо сходство гулей с дэвами из согдийского текста. Можно утверждать, что на мотив описания полчищ демонов в арабском фольклоре напрямую повлияла иранская демонология. Изначально этот мотив фиксируется в описании полчищ злых существ, обитающих на востоке от халифата.

В арабской и персидской литературе и фольклоре сюжет «царство обезьян» соотнесен с восприятием обитателями Юго-Восточной Азии. «Моряцкие рассказы» и географическая традиция, в целом, уделяли особое внимание описанию острова Вак Вак и связанных с ним чудес. Сюжет, повествующий о южных землях, населенных обезьянами, имеет своим источником индийские сказания, где под видом обезьян выступают дравиды. Противники обезьян, гули, здесь соответствуют ракшасам, управляемым царем Раваной из «Рамаяны». Таким образом, в этом сюжете, возможно, звучат отголоски древнеиндийского сказания, обезьяны соответствуют союзным ариям дравидам, гули (ракшасы) – их противникам.

Сюжет о городе демонов (‘ифритов или джиннов) встречается в арабском фольклоре. В конце концов он сводится к сюжету о следах легендарных построек времен царя Соломона (Сулаймана), возведенных руками подчиненных ему демонов. Одно из самых значительных ответвлений этого сюжета – легенды о Медном городе (*madīnat al-nuḥās*, *madīnat al-ṣafar*). Они восходят к легендам об Александре Македонском. Наибольшее распространение получило предание о Медном городе, попавшемся на пути наместника Омеййадов в Ифрикийе Мусы б. Нусайра. В крепости нет ворот, и Муса приказывает добровольцам перелезть через стену. После того как два человека, поднявшись на стену города, исчезли, полководец приказал обстреливать город из камнеметных машин. Раздались голоса жителей крепости, которые назвали себя джиннами (Башарин 2009: 52–53; Башарин 2015)⁹.

В легенде о концентрическом городе без ворот, населенном демонами, слышны отголоски индийского мифа о Трипуре, уничтоженном Шивой. То есть, возможно, перед нами развитие старого сюжета о покорении иноплеменного города, население которого демонизируется завоевателями.

Демонизация врага в мусульманской литературной традиции

Сравнение сильного войска противника с демонами прослеживается у арабов начиная с раннеисламского периода. Например, в стихах Ка‘ба ал-Ашкари о битве ал-Мухаллаба с азракитами под Рамхурмузом, Сабуром и Джируфтом в 694 г. встречается такой бейт:

Мы встретили пламенных борцов, подобных
Джиннам. Те, с кем мы схлестнулись, не были похожи на людей
(at-Ṭabari 1885 2/4:1011).

С периода возникновения раскола в общине намеков на родство с дьяволами (*shayāṭīn*) означал обвинение в неверии. Например, ат-Табари

приводит ругательство хариджитов: «Братья дьяволов, близкие угнетателей, рабы дольного мира» (at-Tabarī 1883 1/2: 822).

Демонизация тюрок. В арабских и персидских источниках сыновьями дьяволов начинают называть тюрок. Хорошо известна антитюркская направленность «Шах-нама», отразившая неприязненное отношение оседлых жителей к кочевникам вообще. В связи с этим, тюрками часто именуются туранцы. отождествлять некий народ с уже давно исчезнувшим, но оставившим по себе историческую память – широко принятая норма для письменных источников различных культур древности и средневековья. В петербургской рукописи «Шах-нама» 1333 г. (ГПБ, Дорн № 316–317) встречается следующий бейт, обращенный витязем Гивом туранцу Пирану: «О тюрок низкородный (*badgawhar*), отродье дива (*dīvzād*)» (Фирдоуси 1960–1971 3: 258).

В более ранних списках большая часть речи Гива, обращенная к Пирану, включая этот бейт отсутствует. Бейт весьма показательно демонстрирует типичность восприятия переписчика (составителя данной редакции).

Ат-Табари приводит послание одного из сторонников Бабака, предводителя хуррамитского восстания, казненного в 383 г. Тюрки сравниваются с арабами, которые «подобны собакам» и которым достаточно бросить кусок, а затем огреть палицей, и магрибинцами, сравнимыми с мухами по причине малочисленности (at-Tabarī 1879: 1/3: 1312).

Сравнение тюрок с демонами обретает широкую популярность в арабской и персидской литературе. Оно практически всегда подчеркивает их сверхчеловеческие боевые качества на фоне арабов. Можно вспомнить, что даже франки в период Крестовых походов оценили бойцовские качества тюрок, полагая, что те, в отличие от малодушных арабов, ведут свое происхождение от троянцев, как и сами франки (Лучицкая 2001: 212–213, 288–289).

Особенно частотны такие сравнения в персидской поэзии. Источники часто называли тюрок джиннами или пери (джинни). Этим подчеркивалось, что они не могут быть потомками Адама. Довольно характерное объяснение демонстрирует исмаилитская богословская традиция. Согласно ей, человек может стать ангелом, достигнув высот добродетели, либо пасть и превратиться в Сатану (*Iblīs*), сбивающего с пути верующих (отвращающих их от имама). Люди, находящиеся между ними, зовутся пери или джиннами. Знаменитый богослов Мухаммад б. Хасан ат-Туси (ум. 1067) в сочинении «исмаилитского периода» «Раудат ат-таслим» («Сад повиновения») ссылается на слова Хасана ас-Саббаха (Баба Саййид-на), что тюрки не являются потомками Адама. Они – джинни или пери, которые владели миром до прихода Адама (Ходжсон 2004: 339). В этих словах прослеживается известный мотив, который часто встречается в средневековой персидской литературе. Считается, что он

восходит к кораническому мировоззрению о сотворении из огня джиннов до сотворения человека (ср. Кор. 15:27) (Бертельс 1969: 189).

Иллюстративную стихотворную цитату обнаруживает сочинение знаменитого историка монголов Джувайни (ум. 1283) «Та'рих-и джахангуша» («История покорителя мира»):

Тюрки мудры и умны;
Они черноволосые гурии и дивы в железных доспехах.
Они дивы в бою, одетые в железо;
Они гурии, когда пьют вино на пиру
(Джувеини 2004: 415; персидский оригинал см в Juwayni 1937:37).

Изначальной причиной сравнение тюрок с пери была их белокожесть, воспетая поэтами (известна метафора Хафиза *parī čihra* – «периликий») ¹⁰. Белая кожа считалась в персоязычной культуре ярким маркером природы пери (Ходжсон 2004: 339).

Демонизация монголов. Наиболее репрезентативным случаем демонизации в мировой культуре является демонизация образа завоевателей, представляющих реальную угрозу. Масштабные нашествия рассматривались как вторжение в ойкумену сверхъестественных существ с попущения Бога, как орудие наказания за человеческие прегрешения и знамение конца света. Демонизация увеличивала апокалиптические настроения среди населения. Каждое такое вторжение считалось признаком скорого конца света.

Применительно к Ближнему Востоку неувядающую популярность обрел образ Гога и Магога из «Книги Иезикииля» (арабские Йаджудж и Маджудж). В течение веков этот образ примерялся к ассирийцам, вавилонянам, мидийцам, скифам, аланам, римлянам, эфталитам, гуннам, готам, хазарам, кипчкам, арабам, монголам, туркам, в более поздние времена – к Наполеону, нацистам, коммунистам, масонам, ал-Ка'иде (Seyed-Gohrab, Doufikar-Aerts, McGlinn 2007; van Donzel, Schmidt 2010).

Наиболее отчетливый след для всей средневековой Евразии оставило монгольское вторжение (Юрченко 2002: 32–74). С демонами часто сравнивались монголы в сочинениях, написанных со стороны покоренных ими областей. Ярким примером является сочинение Шихаб ад-Дина Мухаммада ан-Насави «Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурни» («Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны»), один из самых известных письменных памятников, посвященных монгольскому завоеванию Средней Азии. Автор, в частности, называет «проклятых татар» «злейшими ифритами» (ан-Насави 1996: 113 (араб. текст)) ¹¹. «Сии воины злые как дивы», – говорит о монголах знаменитый тимуридский историк Хвандамир (ум. 1535), лишенный явных резонов восхвалять этот народ (История монголов 1834: 50–51).

Однако демоническая природа также является маркером необузданной силы, устрашающей врага. Поэтому сравнение с джиннами, особенно с 'ифритами (самым могущественным подвидом джиннов) и демонами, может быть адресовывано к положительным героям и даже к своим собственным сторонникам. Можно привести цитату из уже упомянутого выше сочинения ан-Насави. Он описывает хорезмийское войско Джалал ад-Дина, сражающееся с восставшими против его тиранической власти гянджинцами, следующим образом: «Они (отряд из личных слуг Джалал ад-Дина. – П.Б.) были подобны прибрежной роще, в которой скрывались дьяволы (*shayāfīn al-ins*) – всадники и тюркские 'ифриты-молодые великаны» (ан-Насави 1996: 262 (араб. текст))¹². Как уже было показано, сравнение тюрок с демоническими существами – распространенный прием. Здесь это сравнение принадлежит хорезмийскому иранцу, который сам не являлся этническим тюрком. Следует также учесть, что свое сочинение он писал на чужбине, ориентируясь на читателей Сирии и Ирака (ан-Насави 1996: 29).

Особенно частотен прием демонизации противника в официальных хрониках. Процент его использования стремительно возрастает начиная с тимуридских историков. Благодаря этому приему автор, которому, как правило, присуща тенденциозность, перегруженная образность и вычурность слога, развивает концепцию о божественной миссии государя, очищающего своим карающим мечом землю от демонической скверны и исправляющего людские нравы. Например, показателен фрагмент из «Дневника похода Тимура в Индию» («Рузнама-йи газават дар Хиндустан», другое название – «Книга счастья», «Китаб-и са'адат») Гийас ад-Дина 'Али: «Его величество выступил в поход на джиттанов, которые укрылись в пустынях и лесах. Хаканское желание и энергия счастливого монарха были сосредоточены на том, чтобы стереть с лица земли [этих] несправедливых и сбившихся с истинного пути людей, дабы не осталось от имеющих двойственную природу, [дьявольскую и человеческую], и злой нрав ни имени, ни признака. В тот день из тех с поведением злых дивов джиттанов и из наделенных дьявольскими привычками разбойников было лишено жизни около двух тысяч человек с помощью блестящих мечей и мстительных копий. Весь их скот и имущество разграбили победоносные войска, а женщин и детей забрали в плен. [Таким образом], бунт племени джиттанов, как таковой, был пресечен, а дерево жизни его было вырвано с корнем» (Гийасаддин 'Али 1958: 101).

Демонизация «своих». Сравнение союзников со сверхъестественными существами, приходящими на помощь в битве, видимо, содержит отсылку к мотиву «небесных битв» (термин А.Г. Юрченко). В исторических хрониках, географических сочинениях и прочих жанрах ученой мусульманской литературы имеют место сообщения о битвах сверхъесте-

ственных существ, которые происходят в небесных высях и сопровождают реальные сражения. Такие битвы интерпретировались как сражения джиннов-мусульман с неверными джиннами и восходили к более архаичным представлениям о сражениях своих божеств с чужими (Юрченко 2007: 65–71; Юрченко 2012: 89–93).

Довольно редки случаи, когда сами герои сравнивают себя с демонами. Например, в одной из петербургских рукописей «Шах-нама» 1445 г. (Институт восточных рукописей АН 1654) богатырь Бижан говорит: «В бою я – меднотелый див»¹³.

Демонизация в этическом измерении. Представление о демонической природе (джиннов, шайтанов, ифритов) к XIV–XV вв. стало важной составляющей мусульманской этики. В частности, юристы часто говорили о демонической природе поведения, которое считалось незаконным (*ḥarām*). Они нередко уподобляли тех, кто нарушал этические правила, джиннам и демонам либо объясняли такое поведение одержимостью ими. Тесная связь аномального поведения с одержимостью подчеркивается арабской лексикографией. Понятие *madjnūn* ‘безумный’ изначально означает ‘одержимый джинном/ами’; *junūn* – как ‘одержимость’, так и совершение плохих поступков. Существительное *ghūl* обозначает как демона пустыни, так и ‘все, перед чем отступает разум’. *Shayṭān* помимо дьявола в классическом арабском означал любую порицаемую склонность или способность человека. Известна идиома *rakibahu shayṭānuhu* – изначально ‘его демон овладел им’, означающая ‘он был зол, разозлился’. Демоническая одержимость серьезно рассматривалась при обсуждении воздействия таких опьяняющих веществ, как вино и конопля (*qannab hindī*) в различных видах (например, *ḥashīsh*, *bang*, перс. *dugh-i vahdat*). В период мамлюков распространяется описание конопли как ‘травы дьявола’ (*ḥashīshat al-shayṭān*). Людей, употребляющих гашиш, уподобляли бесноватым. По мнению некоторых авторитетных правоведов, употребление наркотиков, танцы, игры, прослушивание музыки напрямую связаны с одержимостью, поскольку препятствуют рациональному восприятию (White 2018: 8–9).

Постепенно сравнение неистовых воинов с демонами становится общепринятым приемом. Чаще оно применяется к кочевым народам и племенам, опасение которых подогревалось их воинственностью и презрением к оседлому населению, его образу жизни и ценностям. Такие опасения у жителей Ближнего Востока вызывали курдские племена. В «Шараф-нама» Шараф-хан Бидлиси (ум. ок. 1604–03) следующим образом описывает воинов сулеймани: «В том сражении [люди] племени сулеймани, точнее – дивы [племени] сулеймани, проявили чудеса храбрости, так что сражения легендарного Рустама и Сама, [сына] Наримана, при Хафтахане в Мазандеране отошли в предания. Силою могучего плеча и

ударами ядоносных мечей курды обратили в бегство войско Сару-Кап-лана, а его в той битве повергли во прах уничтожения и обезглавили» (Бидлиси 1967: 317).

Демонизация в географических источниках. В рамках жанра мирабилий (чудес мира – *‘adjā’ib*) население наиболее отдаленных стран на юге или севере часто называлось духами (джиннами). Одним из наиболее распространенных мотивов в жанре мирабилий стали рассказы о «немой» меновой торговле. Купцы, торгующие с отдаленными областями, например с народами северной Сибири или южного Судана, выкладывали свои товары и удалялись, а спустя некоторое время возвращались и находили рядом с оставленным товаром предлагаемую за него плату в виде какого-либо местного товара. Они забирали или ее, когда были удовлетворены сделкой, или свой товар, если не принимали платы (Заходер 1967: 63–64). У рассказчиков чудесных историй сложилось представление, что торговлю ведут сверхъестественные существа (‘Аджā’иб ад-дунйā 1993: 46).

В фольклоре повсеместное распространение получил сюжет об оказавшемся в далеких краях герое, встречающем там сверхъестественных существ (джиннов, пери, дивов, наснасов, ремненогов и проч.).

Демонизации в изобразительном искусстве

Отдельно стоит коснуться демонизации чужаков в изобразительном искусстве. Данная традиция прослеживается уже с монументальной живописи Согда и Уструшаны VIII–IX вв., оказавшей значительное влияние на мусульманскую миниатюру. Памятники из Пенджикента и Бунджиката включают ряд батальных и бытовых сцен с участием демонических существ. Изображения демонических существ настолько реалистичны, что для некоторых из них можно предполагать отображение реальных противников. Особенно показательна иконография демонов из Бунджиката. Ряд изображений воинов-демонов практически лишен характерных гротескных черт, представленных на других бунджикатских фресках (трехглазость, прически, украшенные черепа, растрепанные рыжие волосы). По виду их тонкие фигуры, изящные черты лица, ухоженные бороды, костюмы и головные уборы, предметы вооружения и позы ничем не отличаются от изображений аристократии. Однако демоническую природу подчеркивают длинные клыки. Особое внимание обращают на себя бытовые сцены с демонами, обитающими в роскошных замках (Соколовский 2009: илл. 40, 46–48, 50, 65–67, 88–90, 98–99, 101, 102, 105, 111–113). С другой стороны, нельзя исключать, что демоны, представленные в традиционной иконографии, также могут являться демонизированными изображениями противников или «чужаков».

При анализе изображений «чужих» в демоническом облике наиболее ярким примером является творчество Мухаммада Сийах Калама (Мехмеда Сийах Калема) и его школы (XIV–XV вв.)¹⁴. По изначальному предположению, до сих пор широко распространенному в среде турецких исследователей, иллюстрации были созданы в Туркестане, где в то время еще был распространен буддизм, манихейство, а также шаманизм, якобы повлиявшие на стилистику произведений, а позже попали в Стамбул в период правления султана Селима I Явуза (1512–1520). На данный момент существует целый ряд гипотез, связывающих эти сюжеты с иранским, турецким, китайским или уйгурским (буддийским) искусством. Большинство миниатюр содержит изображения демонических существ. Ключевыми сюжетами являются: похищение людей и животных, перетягивание веревок, связывание, танец с лоскутами, борьба, ссора, разрывание на части лошади (демонический пир), демоны-музыканты, демон-отшельник. Отличительной чертой изображений является внешняя и внутренняя экспрессия и динамизм, который подчеркивается как пластикой, так и развивающимися одеждами персонажей. В связи с этим часто подчеркивается несвойственный буддизму реализм этих изображений. Детали изображения демонов в основном соответствуют традиционной мусульманской иконографии: шкуры, как у животных (в том числе пятнистые), грозные лица, рога, бороды, хвосты, подобные тигринным, некоторые увенчаны драконьими головами. Особым маркером демонической природы являются металлические предметы: браслеты на руках и ногах, обручи на шеях, цепочки и колокольчики, а также кинжалы. Особый интерес представляют сюжеты, гипотетически изображающие сцены колдовства.

Ряд исследователей отмечали, что демонические фигуры Сийах Калама отличает квазинатуралистичность и гротеск, имеющий сатирический привкус. Складывается ощущение, что демоны призваны пародировать людей и их поведение.

Некоторые демоны имеют неповторимые черты лица и воспринимаются исследователями как карикатуры на реальных современников художника/ов. Следует отметить ряд совпадений изображений демонических существ и людей в живописи Сийах Калама, выполненных в схожей манере, выраженной в прорисовке тел, позах, экспрессии.

До второй половины XX в. Среди исследователей было широко распространено мнение, согласно которому на большинстве рисунков Сийах Калама и его школы представлены бытовые сцены из жизни народов Восточного Туркестана, чей образ жизни коренным образом отличался от быта оседлого мусульманского населения Ближнего Востока. Он расценивался как чуждый, нечеловеческий и использовался для иллюстрации быта демонов. Позже критики нашли ряд слабых сторон в та-

кой идентификации, обратив внимание, что как этнологически, так и антропологически образы Сийах Калама далеки от изображения тогдашних жителей Центральной Азии – монголов, уйгуров, кипчаков (рис. 2).



Рис. 2. Присевший на корточки демон. Стамбул, библиотека дворца Топкапы, инв. н. 2153, л. 27а (12,5 × 12,5) (публ. по: İpşiroğlu 2008: 77)

Например, на изображениях отсутствуют шатры кочевников, а густые рыжие бороды, крупные розовые тела и даже голубые глаза на свойственны обитателям Центральной Азии. В последнее время высказывалось мнение, что изображения – ничто иное как сатирическая пародия на нравы дервишей, проживавших в Джалайиридском Ираке (O' Kane 2003; White 2018). Не вступая в полемику с подобными гипотезами, следует отметить, что ряд изображений напрямую адресует нас к кочевому быту: кочевники в тяжелых одеждах с специфическими чертами лица, демоны,

играющие на специфических музыкальных инструментах. Наиболее любопытный сюжет - сцена разрывания белого коня. М. Ипшироглу предположил, что это жертвенная сцена, передающая быт диких племен. Дж. Роджерс подметил, что такое жертвоприношение лошади было характерно для ойратов, которые продемонстрировали его в XIII в. в Каире, шокировав местную публику. На иллюстрации белый конь уже принесен в жертву. Голова животного лежит на земле. Демоны сражаются за окровавленные части туши. В центре композиции изображены два сражающихся демона. Один из них держит конскую ногу над головой, собираясь обрушить ее на голову застывшего от страха противника, который поднял руки вверх, пытаясь защититься от нападения.



Рис. 3. Демоны, раздирающие коня. Стамбул, библиотека дворца Топкапы, инв. н. 2153, л. 112b (49,6 × 20) (публ. по: İpşiroğlu 2008: 106–107)

Разрывающие лошадь демоны могут карикатурно изображать ойратов, но могут изображать и других, немусульман с подчеркнутыми варварскими обычаями. Возможно, сюда же относится сцена умыкания лошади. Исследователи полагают, что тут изображено конокрадство кочевников, которое строго осуждалось мусульманскими правоведами (Rogers 1978; İpşiroğlu 2008). Несмотря на то, что у изображений демонов с конечностями животных есть другие аналоги в мусульманской миниатюре, натурализм изображений не исключает, что художник изображал именно людей.

Заключение

Далеко не все сочинения имеют склонность к прямой демонизации противника или «чужого». Эмоциональный стиль, допускающий такой прием, особенно характерен для поэзии, форме которой свойственно наиболее обостренное восприятие действительности, и ряда исторических источников. Из числа последних наибольший интерес представляют, во-первых, памятники, содержащие обширные компиляции ряда

источников, например, «Хроника» ат-Табари. Обостренный эмоциональный стиль присущ тем из авторов, кто составлял свои труды в ситуации надвигающейся катастрофы, кто был преисполнен ужасом перед ней. Логичным объяснением событий, носящих в их представлении апокалиптический характер, была демонизация образа завоевателя. Одной из важнейших причин демонизации противника были и вкусы заказчика. Этот прием мы находим в ряде сочинений, составленных в жанре династических историй вплоть до нового времени. С другой стороны, рационально мыслящие историки, типа Ибн ал-Асира, Ибн Халликана или ал-Джабарты, к таким приемам не прибегали. Менее всего подобный подход свойственен географическим сочинениям (помимо жанра мирабилей). Точность донесения информации исключала подобные средства.

Истоки мусульманской иранской традиции демонизации «чужих» прослеживаются как в письменных памятниках («Авесте», зороастрийской пехлевийской литературе), так и в доисламском искусстве Средней Азии. Одним из наиболее специфических мотивов была демонизация чернокожих народов. Другой распространенный мотив, фиксирующийся еще в древнеиранских и древнеиндийских письменных памятниках, — демонизация вражеского войска, противостоящего герою или божеству. С распространением ислама этот мотив часто встречается в арабском и иранском фольклоре. Сравнение войска противника с демонами прослеживается в арабской литературе, начиная с раннеисламского периода, когда намек на родство с демонами означал также и обвинение в неверии. В арабских и персидских источниках сыновьями демонов начинают называть тюрок. С другой стороны, такое сравнение часто демонстрировало их сверхчеловеческие боевые качества. Наиболее репрезентативным случаем демонизации для мусульманской культуры стало восприятие монгольских завоевателей. Демоническая природа становится маркером необузданной силы, устрашающей врага. Чаще она применяется к кочевым народам и племенам, например, к курдам. Но, с другой стороны, сравниваться с демонами, особенно с 'ифритами могут и положительные герои. Постепенно представление о демонической природе стало важной составляющей мусульманской этики. Нарушителей этических правил в таком контексте сравнивали с джиннам и демонами, а неадекватное поведение объяснялось демонической одержимостью. В мусульманском изобразительном искусстве демонизация чужаков наиболее репрезентативно представлена в живописи Сийах Калама и его школы. Демоны на миниатюрах, видимо, являются гипертрофированными изображениями кочевников и кочевого быта.

Примечания

¹ Латинская транскрипция среднеперсидских, авестийских и согдийских терминов дается по общепринятой для этих языков системе. Транскрипция для арабского и новоперсидского — по системе, принятой издательством Brill в *Encyclopaedia of Islam*.

² См. например описание черного раба из сказки о рыбаке и 'ифрите из корпуса «Тысяча и одна ночь»: «...одна губа была как одеяло, другая – как башмак. Губы его подбирали песок на камнях» (Книга тысячи и одной ночи 1958–1959 1: 69). Другие примеры демонизации рабов-негров в арабской литературе см. в Rotter 1967. Примечательное сравнение приводится в «Дараб-нама» Абу Тахира ат-Тарсуси. Чернокожая царица видится проснувшемуся герою в виде демона. Ее дети сравниваются до этого с детьми 'ифрита (Southgate 1984: 12–13). В этой же статье см. примеры негативного восприятия чернокожих в персидской литературе.

³ Краткий обзор с перечнем основной литературы по *Хвадай-намаг* см., например, в Macuch 2009: 171–177.

⁴ Ср. альтернативное толкование 'громадные дэвы' (Bailey 1958: 523).

⁵ Кауфман 1969. Русский пер. И.С. Брагинского, основанный на чтении Э. Бенвениста, устарел (Согдийский фрагмент о Рустаме 1973). Далее изложение приводится по транслитерации в (Sims-Williams 1976).

⁶ *Narax legomenon*. Традиционный перевод 'a kind of animal' (Gharib 1995: 445. № 10948). Возможно также чтение *yšn'ych* (Sims-Williams 1976: 56).

⁷ *kyδby / krδby. Narax legomenon*. Этимологический анализ см. в Sims-Williams 1967: 59.

⁸ Пагинация дается по И.А. Вуллерсу. Подробнее о войнах демонов см: Башарин 2009.

⁹ Название «Медная крепость» упоминается в пехлевийской литературе («Айадгар-и Зарепан» – *diz-i rōyēn* § 62–63) и «Шах-нама» (*rōyēn dizh*) (15 1550 и слл.), но без упоминания ее демонических обитателей (Амбарцумян 2013). Топонимы «Медный город» и «Медная крепость» встречаются также в топонимии Средней Азии. Предполагается, что эти названия связаны с центрами вывоза меди (ан-Наршахй 2011: 212–213). Так или иначе, они вряд ли относятся к анализируемому сюжету.

¹⁰ Хафиз, газель 82:1

¹¹ Ср. с переводом З.М. Бунятова (ан-Насавй 1996: 131).

¹² Ср. с переводом З.М. Бунятова (ан-Насавй 1996: 278).

¹³ В других рукописях вместо «див» (ديو) стоит «гепард» (يوز) (Каирская рук. «Дар алкутуб». С. 40), «слон» (فيل) (Дорн № 316-317) или «витязь» (گريد) (старейшая Флорентийская рук. 1217 г., Национальная библиотека) (Фирдоусй 1960–1971 4: 69; Firdawsī 1387/2009 5: 579 (5:570)).

¹⁴ В настоящее время установлено, что за этим прозвищем стояла целая группа или даже стиль в живописи, а не конкретная персона.

Список источников

- 'Адждā'иб ад-дунйā (*Чудеса мира*) / критич. текст, пер. Л.П. Смирновой. М.: Вост. лит., 1993.
- Амбарцумян А.А. «Медная крепость» в пехлевийской традиции // *Commentationes Iranicae*: сб. статей к 90-летию В.А. Лившица / отв. ред. С.Р. Тохтасьев, П.Б. Лурье. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 229–248.
- Ан-Насавй, *Шихāб ад-Дйн Мухаммад*. Сират ас-султāн Джалāl ад-Дйн Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны) / критич. текст, пер. с араб. З.М. Бунятова. М.: Вост. лит., 1996.
- Ан-Наршахй, *Абу Бакр Мухаммад ибн Джа'фар*. Та'рих-и Бухārā. История Бухары / пер., коммент. и примеч. Ш.С. Камолиддина. Ташкент: SMI-ASIA, 2011.
- Башарин П.В. «Сакральные войны» в рамках мусульманской демонологии // *Pax Islamica*. 2009. № 2. С. 45–62.
- Башарин П.В. К вопросу о генезисе предания о медном городе в арабской традиции // *Азия и Африка в меняющемся мире: XXVIII Междунар. конф. по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 22–24 апреля 2015 г.: тез. докл.* / отв. ред.: Н.Н. Дьяков, А.С. Матвеев. СПб.: Студия «НП-Принт», 2015. С. 20–21.
- Бертельс Е.Э. Избранные труды. Низами и Фузули. М.: Вост. лит., 1969.

- Бидлиси, Шараф-хан ибн Шамсаддин. Шараф-наме / пер. Е.И. Васильевой. М.: Вост. лит., 1967.
- Васильков Я.В. Трипура // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм / под общ. ред. М.Ф. Альбедиль, М.Ф. Дубянского. М.: Республика, 1996. С. 421–422.
- Ғийāсддин 'Алй. Дневник походов Тимура в Индию / пер. с перс. А.А. Семенова. М.: Изд-во восточной литературы, 1958.
- Гринцер П.А. Шива // Мифы народов мира / отв. ред. С.А. Токарев. Т. 2. М.: Российская энциклопедия, 1997. С. 642–644.
- Джувейни, Ала-ад-Дин Ата-Мелик. Чингисхан. История завоевателя мира, записанная Ала-ад-Дином Ата-Меликом Джувейни / пер. Е.Е. Харитоновой. М.: Магистр-пресс, 2004.
- Зороастрийские тексты. Суждения духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / изд. О.М. Чунакова. М.: Вост. лит., 1997.
- Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. Булгары, мадьяры, народы севера, печенеги, русы, славяне. М.: Глав. ред. вост. лит., 1967.
- История монголов: от древнейших времен до Тамерлана / пер. В.В. Григорьева. СПб.: В тип. К. Крайя, 1834.
- Кауфман К.В. Согдийский извод сказания о Рустеме и «Шах-наме» Фирдоуси // Иранская филология. Краткое изложение докладов научной конференции, посвященной 60-летию проф. А.Н. Болдырева. М.: Изд-во АН СССР, 1969. С. 58–62.
- Книга тысячи и одной ночи / пер. с араб. М.А. Салье. Т. 1–8. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958–1959.
- Лучицкая С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: Алетейя, 2001.
- Согдийский фрагмент о Рустеме / пер. И. Брагинского // Поэзия и проза древнего Востока / отв. ред. И. Брагинский. М.: Худож. лит., 1973. С. 531–532. (Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 1.)
- Соколовский В.М. Монументальная живопись VIII – начала IX века дворцового комплекса Бунджиката, столицы средневековой Уструшаны. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009.
- Сулаймонова Ф. Низомӣ «Хамса» siga ишланган расмлар [Сулейманова Ф. Миниатюры к «Хамсе» Низами]. Ташкент: Фан, 1985.
- Фирдоусӣ. Шāх-nāме. Критич. текст / отв. ред. Е.Э. Бертельс и др. Т. 1–9. М.: Изд-во восточ. лит., 1960–1971.
- Ходжсон М.Дж. С. Орден ассасинов. Борьба ранних низаритов исмаилитов с исламским миром / пер. с англ. С.В. Иванова. СПб.: Евразия, 2004.
- Юрченко А.Г. Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. СПб.: Евразия, 2002.
- Юрченко А.Г. Книга катастроф. Чудеса мира в восточных космографиях. СПб.: Евразия, 2007.
- Юрченко А.Г. Золотая Орда между Ясой и Кораном (начало конфликта). Книга-конспект. СПб.: Евразия, 2012.
- At-Tabari Abu Džafar Mohammed ibn Džarir. Annales / eds. by J. Barth, Th Nöldeke, P. de Jong et al. Lugd. Bat.: E.J. Brill, 1879–1901.
- Bailey H.W. Arya // Bulletin of the School of American and African Studies. 1958. Vol. 21, No. 1/3. P. 522–545.
- Bundahišn: Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie. Bd. 1. Kritische Edition / hg. von F. Pakzad. Tehran: Centre for the Great Islamic Encyclopaedia, 2005.
- Firdawsī, Abū 'l-Qāsim. Shāh-nāma az dastnavīs-i muza-yi Flūrāns / ed. by Dr. 'Azīz Allāh Djuvaynī. Vol. 5. Tih-rān: Danishgāh-i Tih-rān, 1387/2009.
- Gharib B. Sogdian Dictionary (Sogdian-Persian-English). Teheran: Farhang Publications, 1995.
- İpşiroğlu M.Ş. Bozkır Rüzgârı Siyah Kalem. 2 baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

- Juwaynī, 'Alā'u d-Dīn 'Aṭā Malik.* The Ta'rikh-i-Jahān-Gushā. Part III / ed. by Mirzā Muḥammad ibn 'Abdu'l-Wahhāb-i-Qazwīnī. Leyden: E.J. Brill, 1937.
- Macuch M.* Pahlavi Literature // A History of Persian Literature. Vol. XVII. The Literature of Pre-Islamic Iran / eds. by R.E. Emmerick, M. Macuch. London: IB Tauris, 2009. P. 116–196.
- Marzolph U., van Leeuwen R.* (eds.). The Arabian Nights Encyclopedia. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2004.
- Nizāmī Gandjavī.* Sharāf-nāma / Vahīd Dastgirdī (ed.). Tihirān: Armaghān, 1316/1937-38.
- O'Kane B.* Siyah Kalam: The Jalayirid Connections // Oriental Art. 2003. Vol. 49, No. 2. P. 2–18.
- Rogers J.M.* Book Review of: İpsiroğlu M.Ş. Siyah Qalem. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1976 // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1978. Vol. 41, is. 1. P. 171–173.
- Rotter G.* Die Stellung des Negers in der islamisch-arabischen Gesellschaft bis zum XVI Jahrhundert. Inaug. Diss. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1967.
- Seyd-Gohrab A.A. Doufikar-Aerts F.C.W. McGlinn A.* (eds). Gog and Magog. The Clans of Chaos in World Literature. Amsterdam: Rozenberg Pubs., West Lafayette, Indiana USA: Purdue, 2007.
- Sims-Williams N.* The Sogdian Fragments of the British Library // Indo-Iranian Journal. 1976. Vol. 18, No. 1-2. P. 42–82.
- Southgate M.* The Negative Image of Blacks in Some Medieval Iranian Writings // Iranian Studies, 1984. Vol. 17, Is. 1. P. 3–36.
- Van Donzel E., Schmidt A.* Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall. Leiden; Boston: Brill, 2010.
- White J. Satire in the Paintings of "Mohammad-e Siāh Qalam" // Iranian Studies. 2018. Vol. 51, is. 2. P. 213–243.

References

- '*Adjā'ib al-dunyā (Chudesā mira)* [Wonders of the World], critical edition / translated by L.P. Smirnova. Moscow: Izdatel'skaia firma "Vostochnaia Literatura", 1993.
- Ambartsumian A.A. (2013) "Mednaia krepost'" v pekhleviiskoi traditsii [The Fortress of Brass in the Pahlavi Tradition]. In: *Commentationes Iranicae. Sbornik statei k 90-letiiu V.A. Livshitsa* [V.A. Livshits nonagenario donum natalicum]. S.R. Tokhtasev, P.B. Luria (eds.). Petropolis: Nestor-Historia, pp. 229-248.
- Bailey H.W. (1958) Arya, *Bulletin of the School of American and African Studies*, vol. 21, no. 1/3, pp. 522-545.
- Basharin P.V. (2009) "Sakral'nyie voyny" v ramkakh musul'manskoi demonologii ["Sacral Wars" within the Framework of Islamic Demonology], *Pax Islamica*, vol. 2, pp. 45-62.
- Basharin P.V. (2015) K voprosu o genezise predaniia o mednom gorode v arabskoi traditsii [On the Genesis of the Legend of the City of Brass in the Arab Tradition]. In: *Azia i Afrika v meniaiuschemsia mire XXVIII Mezhdunarodnaia konferentsiia po istochnikovedeniiu i istoriografii stran Azii i Afriki, 22-24 apreliia 2015 g.: Tezisy dokladov* [Asia and Africa in the Changing World. XXVIII International Congress on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, 22-24 April 2015: Abstracts]. N.N. Dyakov, A.S. Matveev (eds.). St. Petersburg: NP-Print Publishers, pp. 20-21.
- Bertel's E.E. (1969) *Izbrannyye trudy. Nizami i Fuzuli* [Selected Works. Nizami and Fuzuli]. Moscow: Vostochnaia Literatura.
- Bidlisi, Sharaf-khan ibn Shamsaddin. (1967) *Sharaf-name* / translated by E.I. Vasilyeva. Moscow: Vostochnaia Literatura.
- Bundahišn: Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie. Bd. 1. Kritische Edition* / hg. von F. Pakzad. Tehran: Centre for the Great Islamic Encyclopaedia, 2005.

- van Donzel E., Schmidt A. (2010) *Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall*. Leiden, Boston: Brill.
- Firdawsī, Abū 'l-Qāsim. (1387/2009) *Shāh-nāma az dastnavīs-i muza-yi Flūrāns*. Dr. 'Azīz Allāh Djuvaynī (ed.). Vol. 5. Tihṛān: Danishgāh-i Tihṛān.
- Firdousī. (1960-1971) *Shāh-nāme*. Critical text. E.E. Bertel's et al. (eds.). Vol. 1-9. Moscow: Izdatel'stvo Vostochnoi literaturey.
- Hodgson M.G.S. (2004) *Orden assassinov. Bor'ba rannikh nizaritov s islamskim mirom* [The Order of Assassins. The Struggle of the Nizari Ismailis against the Islamic World] / translated by S.V. Ivanov. St. Petersburg: Eurasia.
- Gharib B. (1995) *Sogdian Dictionary (Sogdian-Persian-English)*. Teheran: Farhang Publications.
- Giyāshaddin 'Alī. (1958) *Dnevnik pokhodov Timura v Indiiu* [Diary of Temur's Campaigns in India] / translated by A.A. Semenov. Moscow: Izdatel'stvo Vostochnoi Literaturey.
- Grintser P.A. (1997) Shiva. In: S.A. Tokareva (ed.). *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World]. Vol. 2. Moscow: Rossiiskaia entsiklopediia, pp. 642-644.
- Juwaynī, 'Alā'u d-Dīn 'Aṭā Malik. (1937) *The Ta'rikh-i-Jahān-Gushā. Part III*. Mirzā Muḥammad ibn 'Abdu'l-Wahhāb-i-Qazwīnī (ed.). Leyden: E.J. Brill.
- Juveynī, Ala-ad-Dīn Ata-Melik. (2004) *Chingizkhan. Istoriia zavoievateliia mira* [Genghis Khan. History of the Conqueror of the World] / transl. by E.E. Kharitonova. Moscow: Magistr-press.
- İpşiroğlu M.Ş. (2008) *Bozkır Rüzgârı Siyah Kalem*. 2 baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Istoriia mongolov: ot drevneishikh vremen do Tamerlana* [History of Mongols: from the Most Ancient Times to Tamerlane] / translated by V.V. Grigoryev. St. Petersburg: Tipografiia Karla Kraia, 1834.
- Kaufman K.V. (1969) Sogdiyskiy izvod skazaniia o Rusteme i "Shah-name" Firdousi [Sogdian Version of Rustam Tale and Firdawsī's "Shah-nama"]. In: *Iranskaia filologiya. Kratkoie izlozheniie dokladov nauchnoi konferentsii, posviashennoi 60-letiiu prof. A.N. Boldyreva* [Iranian Philology. Summary of Papers from a Scientific Conference Dedicated to the 60th Anniversary of Prof. A.N. Boldyrev]. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR, pp. 58-62.
- Kniga tysyachi i odnoi nochi* [The Book of a Thousand and One Nights] / translated by M.A. Salye. Vols 1-8. Moscow: Gosudarstvennoie izdatel'stvo khudozhestvennoi literaturey, 1958-59.
- Luchitskaia S.I. (2001) *Obraz drugogo: musul'mane v khronikakh krestovyykh pokhodov* [The Image of the Other: Muslims in the Crusades Chronicles]. St. Petersburg: Aletea.
- Macuch M. (2009) Pahlavi Literature. In: *A History of Persian Literature. Vol. XVII. The Literature of Pre-Islamic Iran*. R.E. Emmerick, M. Macuch (eds.). London: IB Tauris, pp. 116-196.
- Marzolph U., van Leeuwen R. (eds.) (2004) *The Arabian Nights Encyclopedia*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- al-Narshakhī, Aby Bakr Muḥammad ibn Dja'far. (2011) *Ta'rikh-i Bukhārā. Istoriia Bukhary* [The History of Bukhara] / translated by Sh.S. Kamoliddin. Tashkent: SMI-ASIA.
- an-Nasawī, Shihāb ad-Dīn Muḥammad. (1996) *Sirat as-sultān Djalāl ad-Dīn Mankburni* [A Biography of sultān Djalāl al-Dīn Mankburni] / Critical edition. Translated by Z.M. Buniatov. Moscow: Vostochnaia Literatura Publishing Company.
- Nizāmī Gandjavī. (1316/1937-38) *Sharāf-nāma*. Vahīd Dastgirdī (ed.). Tihṛān: Armaghān.
- O'Kane B. (2003) Siyah Kalam: The Jalayirid Connections, *Oriental Art*, vol. 49, no. 2, pp. 2-18.
- Rogers J.M. (1978) Book Review of: İpşiroğlu M.Ş. *Siyah Qalem*. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1976, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 41, issue 01, pp. 171-173.
- Rotter G. (1967) *Die Stellung des Negers in der islamisch-arabischen Gesellschaft bis zum XVI Jahrhundert*. Inaug.-Diss. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.
- Seyed-Gohrab A.A. Doufikaer-Aerts F.C.W. McGlinn A. (eds.). (2007) *Gog and Magog. The Clans of Chaos in World Literature*. Amsterdam: Rozenberg Pubs., West Lafayette, Indiana USA: Purdue.

- Sims-Williams N. (1976) The Sogdian Fragments of the British Library, *Indo-Iranian Journal*, vol. 18, no. 1-2, pp. 42-82.
- Sogdiyskiy fragment o Rustame [A Sogdian Fragment of Rustam] / translated by I. Braginskiy. In: I. Braginskiy (ed.) *Poeziia i proza drevnego Vostoka* [Poetry and Prose in the Ancient East] (Biblioteka vseмирnoi literatury. Seriya pervaya. Vol. 1). Moscow: Izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury, 1973, pp. 531-32.
- Sokolovsky V.M. (2009) *Monumental'naia zhivopis' 8 – nachala 9 veka dvortsovogo kompleksa Bunjikata, stolitsy srednevekovogo gosudarstva Ustrushany* [Monumental Painting in the Palace Complex of Bunjikat, the Capital of Medieval Ustrushana 8th – Early 9th Century]. St. Petersburg: Izdatel'stvo Gos. Ermitazha.
- Southgate M. (1984) The Negative Image of Blacks in Some Medieval Iranian Writings, *Iranian Studies*, vol. 17, issue 1, pp. 3-36.
- Suleimanova F. (1985) *Nizomi "Khamsa" siga ishlangan rasmlar* [Miniatures Illuminations of Nizami "Hamsa"]. Tashkent: "Fan".
- at-Tabari Abu Djafar Mohammed ibn Djarir. (1879-1901) *Annales*, J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong et al. (eds.), Lugd, Bat.: E.J. Brill.
- Vasil'kov Ya.V. (1996) Tripura. In: M.F. Albedil, A.M. Dubianskiy (eds.). *Induizm. Jainizm. Sikkhizm* [Hinduism. Jainism. Sikhism]. Moscow: Respublika, pp. 421-422.
- White J. (2018) Satire in the Paintings of "Mohammad-e Siāh Qalam", *Iranian Studies*, vol. 51, issue 2, pp. 213-243.
- Yurchenko A.G. (2002) *Khristianskii mir i "Velikaia Mongol'skaia imperiia". Materialy frantsiskanskoi missii 1245 goda* [The Christian World and the "Great Mongol Empire". Proceedings of the Franciscan mission of 1245]. St. Petersburg: Eurasia.
- Yurchenko A.G. (2007) *Kniga katastrof. Chudesna mira v vostochnykh kosmografiakh* [The Book of Catastrophes. Wonders of the World in Eastern Cosmographies]. St. Petersburg: Eurasia.
- Yurchenko A.G. (2012) *Zolotaia Orda mezhdu Yasoi i Koranom (nachalo konflikta). Kniga-konspekt* [The Golden Horde between the Yassa and the Qur'an (Beginning of the Conflict). A Synopsis]. St. Petersburg: Eurasia.
- Zakhoder B.N. (1967) *Kaspiiskii svod svedenii o Vostochnoi Ievrope. Vol. II. Bulgary, madiary, narody Severa, pechenegi, rusy, slaviane* [Caspian Code of Data about Eastern Europe. Vol. II. The Bulgars, the Magyars, the Peoples of the North, the Pechenegs, the Rus, and the Slavs]. Moscow: Glavnaia redaktsiia Vostochnoi literatury.
- Zoroastrian texts. Judgments of the Spirit of Wisdom (Dadestan-i menog-i khrad). The Creation of the Basis (Bundahishn) and other Texts.* O.M. Chunakova (ed.). Moscow: Izdatel'skaia firma "Vostochnaia Literatura", 1997.

Сведения об авторе:

БАШАРИН Павел Викторович – кандидат философских наук, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия). E-mail: pbasharin@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Pavel V. Basharin, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: pbasharin@yandex.ru

The author declares no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 30 марта 2022 г.;
принята к публикации 22 сентября 2022 г.

The article was submitted 30.03.2022;
accepted for publication 22.09.2022.

Научная статья
УДК 297:397:398.4
doi: 10.17223/2312461X/43/5

Нарративы о джиннах и динамика суфийской религиозности на Балканах. Этнографический очерк

Ксения Павловна Трофимова

*Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия,
kptrofimova@gmail.com*

Аннотация. Данный текст представляет собой этнографический очерк, посвященный социальной работе локальных нарративов о джиннах и одержимости в суфийских сообществах Северной Македонии и Сербии. Обращение к образам джиннов рассматривается как ключ к пониманию внутренних механизмов работы с исторической и социальной памятью, а также динамики властного ландшафта. Прослеживается фрагментированность религиозного пространства и столкновение в нем разнообразных исламских дискурсов. Автор подчеркивает в своих наблюдениях ту роль, которую нарративы о джиннах играют в актуальных трансформациях суфийских традиций в регионе. Очерк включает в себя два кейса, посвященных инициативам по ревизии религиозного знания и практики, а также усложнению сакрального ландшафта, которые иллюстрируют динамику религиозных процессов в локальной суфийской среде.

Ключевые слова: вернакулярная религия, ислам, суфизм, джинны, фольклор

Благодарности: Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Для цитирования: Трофимова К.П. Нарративы о джиннах и динамика суфийской религиозности на Балканах. Этнографический очерк // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 69–90. doi: 10.17223/2312461X/43/5

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/5

Narratives of the Djinn and the Dynamics of Sufi Religiosity in the Balkans. An Ethnographic Essay

Ksenia P. Trofimova

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian Federation, kptrofimova@gmail.com*

Abstract. This ethnographic essay explores the social work of local narratives of djinn and possession in the Sufi communities of North Macedonia and Serbia. Addressing the “neighbourhood” relations between djinn and humans, as well as situations of possession in everyday conversations, allows for a better understanding of the socio-

cultural contexts and intrinsic processes that shape the ongoing transformations of Sufi traditions in this part of the world. The fragmentation of the religious field, the coexistence, and the clash of diverse Islamic discourses within it are discussed in this context. This essay covers two case studies that illustrate the dynamics of Sufi religiosity, such as revising religious knowledge and practice, as well as the growing complexity of the sacred landscape.

Keywords: vernacular religion, Islam, Sufism, *djinn*, folklore

Acknowledgements: Published in accordance with the research plan of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences.

For citation: Trofimova, K.P. (2024) Narratives of the *Djinn* and the Dynamics of Sufi Religiosity in the Balkans. An Ethnographic Essay. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 69–90. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/5

Вводные замечания

Реджеп* живет с женой и детьми в небольшом поселении беженцев из Косово, расположенном на окраине Сараево. Он учит меня тому, как вести себя в доме, а также на улице, чтобы случайно не задеть джинов – разумных существ, созданных Аллахом и незримо присутствующих рядом с людьми (Yazaki 2023). Жена Реджепа больна вот уже несколько лет. Считается, что она одержима джиннами, и семья внимательно подходит к выбору специалиста, который взялся бы за ее лечение. На целительские сеансы их позвали в Германию – «в диаспору», к духовным наставникам, которые тоже были родом из Косово и сохраняли прямую связь с авторитетными суфийскими обителями там. «Почему все-таки не поискать шейха здесь, в Сараево?» – спросила я, понимая, насколько затратна эта поездка. «Знаешь, Сараево уже не тот город, что был раньше, до войны, – не задумываясь ответил Реджеп, – здесь нет больше тех наших шейхов, и нет доверия между мусульманами. Доверия нет» (ПМА 2011–2013).

Случаи одержимости джиннами через их обсуждения и сопутствующие им наставления или предостережения органично вплетаются в повседневность моих собеседников-мусульман, многие из которых являются последователями суфийских традиций, распространенных в Балканском регионе. В сюжете, который я кратко обрисовала выше, прослеживается одна универсальная особенность рассказов о контактах джинов и людей: они не сводятся лишь к выявлению непосредственных причин одержимости, описаниям и интерпретациям внешних ее проявлений, а также к поиску эффективных способов исцеления, но охватывают широкий спектр тем и формируют локальные контексты, высвечивая социальные, политические и культурные аспекты жизни мусульман.

В данном контексте антрополог Хьерсти Ларсен предлагает рассматривать ситуации одержимости как специфическую форму исторического

* В рамках этики исследования все имена изменены.

нарратива, в рамках которого намечаются, воспроизводятся и осмысляются социальные различия – этнические или же религиозные, а также (ре)конструируется прошлое (Larsen 1998; см. также: Lambek 1993; Rothenberg 2004). Так, обращение Х. Ларсен к полиэтничному и поликонфессиональному обществу Занзибара позволяет ей сделать вывод об инструментальном значении феномена одержимости в процессах построения идентичности, локальности и дискурсов принадлежности.

Хозеп Льюис Матео Диесте задействует предложенную концептуальную оптику при анализе образа «еврейского джинна» в представлениях мусульман Марокко. В своих наблюдениях он прослеживает прямые связи между классификациями и репрезентациями джиннов в актуальной мифологии мусульман и спецификой властного ландшафта, опосредующего развитую культуру соседства в северном марокканском городе. Его исследование показывает, каким образом системы классификации не-людей реагируют на изменения, происходящие в человеческом социуме, проецируют актуальные властные отношения в нем, воспроизводят имеющиеся стереотипы и прочерчивают границы между различными социальными группами (Mateo Dieste 2022).

Следует отметить, что мои этнографические зарисовки не касаются непосредственно одержимости, содержания данного опыта, социальных и психологических контекстов его проявления и проживания, а также разнообразных методологических подходов к интерпретации данного явления. В своем очерке я предлагаю сфокусироваться на локальных нарративах о джиннах, а через их призму наметить социальную работу историй, которые обсуждают динамику религиозного поля, проявляют и нюансируют процессы трансляции и трансформации суфийских традиций в Северной Македонии и Сербии. Я останавлиюсь на двух смежных кейсах. В центре одного из них – осмысление траекторий духовной преемственности в суфийских общинах Северной Македонии, переживание духовными лидерами, а также их последователями культурного разрыва и диверсификации религиозной жизни. Второй кейс затрагивает трансформации локальных сакральных ландшафтов через развитие практики «соседского» паломничества. Оба сюжета иллюстрируют сегментированность религиозного поля, где появляются новые акторы, сталкиваются различные исламские дискурсы, оттеняются индивидуальные нарративы и практики построения мусульманской идентичности. Этнографическая насыщенность, внимание к деталям и частным историям, индивидуальному переосмыслению собственного религиозного опыта помещает данный очерк в предложенную Дэвидом Хэниджем оптику исследования вернакулярного ислама на Балканах (Henig, Bielenin-Lenczowska 2013; см. также: Schielke, Debevec 2013). Материалы для настоящей работы были собраны в ходе полевых исследований в среде

суфийских общин городах Скопье (Северная Македония) и Ниш (Сербия), а также в Сараево (Босния и Герцеговина) в 2011–2021 гг.

Джинджийа. Опыты ревизии религиозного знания

«Понимаешь, дочка, джинны сами по себе, а люди сами по себе. Нужно этого держаться», – настаивал шейх Азиз – духовный лидер братства халватийа, комментируя мои размышления об особенностях повсеместных взаимодействий джиннов и людей (ПМА 2021). Все последние дни перед моим очередным отъездом из Скопье мы с шейхом встречались наедине в его обители (*текке*)¹, возвращаясь в беседах к тем вопросам, которые оставались на периферии внимания в другие дни. Время от времени шейх выкраивал время на прием пациентов, которые обращались к нему с просьбами помочь разобраться в нерешенных проблемах, избавиться от навязчивых эмоциональных состояний или телесных недугов.

«Не дай Боже этому (контакту с джинном. – К.Т.) с кем-то случиться. Это очень опасно» (ПМА 2011). Мои собеседники разделяют общую риторику об опасности джиннов, ассоциируя их с «нечистой силой» – источником разнообразных недугов, смуты и разлада в семье, и шире – в сообществе верующих. Считается, что джинны повсеместны, а потому шейх Азиз, а также другие мои собеседники полагают, что «соседство» с ними возможно лишь через сохранение дистанции – повседневные усилия, которые строятся с учетом понимания присущих джиннам качеств². Вместе с тем удерживать дистанцию между джиннами и людьми оказывается не так просто, принимая во внимание асимметрию, определяющую взаимоотношения между данными видами существ³. Помимо индивидуальной ответственности самих мусульман⁴, важную роль в поддержании дистанции играют ритуальные специалисты, известные своими целительскими способностями. Они предлагают помощь в выявлении причин различных недугов, в толковании затяжных периодов неудач и потерь. Они берут на себя роль медиаторов в лечебных сеансах и порой становятся духовными наставниками для своих пациентов в их переосмыслении собственной религиозности и выстраивании новой для себя практической рутины – дисциплины верующего.

Местные ритуальные специалисты представляют все сегменты фрагментированного мусульманского пространства региона: они следуют различным течениям в исламе или же выстраивают свою идентичность в связке с абстрактно понимаемой «исламской традицией», избегая дополнительных классификаций. Они могут быть аффилированы с официальными религиозными организациями или участвовать в деятельности (условно) автономных от официальных структур объединений, в том числе и в деятельности суфийских общин, последователи которых особенно активны и востребо-

ваны на рынке ритуальных услуг⁵. Среди целителей немало и специалистов-одинок, старательно культивирующих собственную институциональную независимость в условиях конкурентной среды.

Опыт проведения лечебных сеансов, в том числе и лечения одержимости, воплощение и манифестация в этом процессе присущих ритуальному специалисту индивидуальных качеств играет важнейшую роль в формировании и поддержании авторитета локального религиозного лидера и становится одним из ключевых сюжетов в нарративах самопрезентации моих собеседников. Редко какая беседа проходит без упоминания случаев эффективного лечения одержимости из практики шейха или его учеников. Вместе с тем важно подчеркнуть и дополнительный эффект подобного рода свидетельств. Исламское поле в исследуемом регионе неоднородно: в нем сосуществуют и сталкиваются различные дискурсы аутентичности и корректности в практике веры, а границы того, что можно считать нормативным, постоянно обсуждаются и остаются подвижными (Walton, Rexhepi 2019; Raudvere 2011). Вопросы, связанные с экзорцизмом, а именно – подходы к расширению или же ограничению спектра дозволенных религиозными авторитетами практик, часто помещаются в центр повсеместных споров среди мусульман (см.: Eneborg 2014). В контексте таких споров демонстрация и акцентирование мусульманами собственных экстраординарных способностей, а также коммодификация целительских практик становятся предметом рутинной взаимной критики и стигматизации. Критика же разворачивается таким образом, что заявляющий о своих способностях и предлагающий свои услуги ритуальный специалист может быть потенциально обвинен в низком уровне религиозной образованности и мастерства, в повсеместном нарушении исламских норм или ситуативном использовании в своей целительской практике «недозволенных действий», а также, что особенно распространено, в обращении к колдовству, что помещает все инвективы в колдовской дискурс (Христофорова 2010: 12).

У большинства моих знакомых не было сомнений в подготовленности и способностях шейха Азиза как духовного лидера. Вместе с тем он оставался для них противоречивой фигурой, как и все те, кто открыто берет на себя готовность и ответственность взаимодействовать с джинами. Среди своих соседей, в среде городских мусульман и в локальных суфийских кругах шейх Азиз известен как *джинджийа* (*džindžija*), т.е. человек, который «сотрудничает с джинами»⁶. В отличие от специалиста, который вступает в контакт с джинами лишь для лечения одержимости и ограничивает себя в нем «легитимным» чтением сур Корана, джинджийа расширяет спектр ситуаций взаимодействия и прибегает к дополнительным техникам, которые в рамках легалистского подхода к практике веры ассоциируются с колдовством (*сuxp*)⁷ и, соответственно, порицаются. Джинджийа, в рассказах моих собеседников, способен не

только изгонять, но и призывать джиннов, подчинять их себе для выполнения какой-либо трудоемкой задачи. В то же время, если джинджийа забудется и потеряет контроль над джиннами, он может оказаться в их власти, и тогда «джинны начнут им злоупотреблять» (ПМА 2022). Впрочем, бытует представление, что некоторые специалисты и сами готовы повиноваться джиннам с тем, чтобы усилить или раскрыть в себе хотя бы на время какие-либо дополнительные способности.

За несколько лет до нашей последней встречи шейх Азиз, едва затронув один случай из своей практики лечения одержимости, предостерег меня: «Не вздумай говорить мне, что я – джинджийа. Это не так. Если бы я был джинджийа, я не был бы верующим мусульманином» (ПМА 2014). Фокус в той беседе был мгновенно смещен к обсуждению болезненных для локальных суфийских кругов вопросов: что значит быть «истинным мусульманином» и каковы возможные траектории духовной преемственности для последователей суфийских традиций в контексте актуальной полифонии религиозных дискурсов.

* * *

По вечерам в текке шейха Ибрагима (братство са‘дийа) организуются встречи – наставления и духовные беседы, прийти на которые может любой желающий, а общение не сводится лишь к одной заранее предложенной теме, но складывается скорее спонтанно из вопросов и комментариев присутствующих.

Я старалась не упускать возможности попристутствовать на подобных встречах и с дозволения шейха Ибрагима активно участвовала в дискуссиях. Всякий раз, когда дело касалось неоднозначных вопросов, как, например, возможности и характера взаимоотношений между джиннами и людьми, шейх Ибрагим раздавал своим ученикам и наиболее частым гостям книги из собственной библиотеки: переводы Корана, хадисы и несколько сборников авторитетных к ним толкований – тафсиров, представляющих мнения различных богословских школ в исламе. Мы садились в круг и читали подходящие по теме отрывки и комментарии к ним, а самой большой популярностью у собравшихся пользовался сюжет о джиннах, слушавших чтение Корана (Коран, 46: 29–32; 72: 1–2). В обсуждениях мы не раз приходили к заключению о моральной нейтральности джиннов, что отмечалось и в авторитетных источниках, но входило в противоречие с доминирующими в данной среде представлениями об этих существах с соответствующими их образу негативными коннотациями (Nünlist 2021: 17, 33; Yazaki 2023: 74–75).

Впрочем, я заметила, что шейха Ибрагима беспокоит не только и не столько присутствие джиннов, сколько деятельность джинджийа. Повсеместные контакты с джиннами, обращения ритуальных специалистов к

«колдовству» и распространенность колдовского дискурса не оспариваются им и обсуждаются в контексте повседневной жизни местных мусульман. Шейх Ибрагим разводит между собой эти явления и чувствует нюансы стоящих за ними контекстов (например, контекст социального недоверия, опосредующий соседские пересуды). И в то же время он стремится найти общие для этих явлений и контекстов основания и усматривает их в низком, по его мнению, уровне религиозной образованности как среди так называемых «простых» мусульман, так и среди представителей соседских суфийских текке, претендующих на духовный авторитет. Актуальный недостаток познаний в области веры, как полагает шейх Ибрагим, является прямым следствием исторических перипетий и тех социальных процессов, которые определили локальные особенности «организации мистицизма» (Sedgwick 2021), в частности, производства и трансляции религиозного знания и практики каждому новому поколению духовных лидеров и их последователей.

Суфизм начал проникать на территорию балканского региона в XIV–XV вв. в ходе нескольких волн османских завоеваний. Суфийские братства утверждали свое присутствие в европейских провинциях Османской империи, поэтапно, чутко реагируя на смену социально-политических контекстов. Постепенно они распространили свое влияние как в провинциальных городах, так и в сельских общинах, вовлекая в духовную практику представителей разных социальных слоев. Скопье, равно как и другие городские центры, были включены в длительный процесс формирования суфийских институциональных сетей и соответствующих религиозных инфраструктур в регионе (Clayer 2011; Norris 1993).

Шейх Ибрагим, как и шейх Азиз принадлежат к тем поколениям религиозных лидеров, которые были вынуждены (вос)производить суфийские традиции в новых условиях, адаптируясь к стремительно меняющимся политическим, социальным и культурным реалиям второй половины прошлого столетия. Так, в рамках процессов модернизации и секуляризации государственные власти социалистической Югославии ограничивали публичные проявления религиозности и совместно с представителями региональных официальных исламских организаций стремились свести к минимуму влияние среди мусульман неподконтрольных им харизматичных суфийских лидеров. Духовные обитатели закрывались, а их наставникам и ученикам предстояло отныне перенести практику веры в тень. Трансформациям религиозного ландшафта также способствовали волны массовой миграции мусульманского населения: многие суфийские текке и мавзолеи святых надолго оставались заброшенными (Clayer, Bougarel 2017: 128–133, 150–153).

В то же время изменчивость и ситуативная гибкость внутренней политики в отношении суфийских общин и их лидеров позволяли последним выстраивать тактики поддержания существующих духовных связей

и создавать новые (Clayer, Bougarel 2017: 150–153). Со смягчением ограничений деятельность суфийских групп в регионе стала более заметной, хотя и развертывалась на «полулегальных» основаниях, усложняя конфигурации религиозного лидерства на местах (Duijzings 2000: 106–120). Начиная с 1960–1970-х гг. на низовом уровне росло число новопосвященных духовных наставников, а с ними расширялись сети общин, которые принадлежали различным тарикатам и были связаны в рамках сакральной генеалогии (*силсила*) с ключевыми суфийскими центрами в городах Косово и Северной Македонии (Novaković 2002).

Региональная экспансия сетей суфийских общин обладала вместе с тем некоторыми структурными особенностями, такие как, например, разделение по этническому признаку. Суфийские общины и обители постепенно начали возникать в локальных сообществах ромов* (цыган)-мусульман и развиваются далее в соседском окружении, создавая новые контексты повседневных взаимодействий и мобилизуя в своей религиозной деятельности, в налаживании формальных и неформальных связей сложившиеся соседские практики и коммуникации – структурные ресурсы «социальности в непосредственной близости» (Bryant 2016: 14).

Несмотря на то что на институциональном уровне преемственность в суфийских общинах Северной Македонии, Сербии и Косово фактически сохраняется, шейх Ибрагим остро чувствует культурный разрыв, отчужденность ромских суфийских групп от того, что он сам считает «правильным», «аутентичным» религиозным знанием и «корректной» ритуальной практикой. Как духовный лидер он был и остается чувствителен к реформистской критике в отношении суфийских групп, прежде всего в отношении практических форм передачи суфийских традиций. Оценка деятельности суфийских братств в регионе не раз появлялась на страницах изданий, аффилированных с официальными религиозными структурами, а также транслировалась некоторыми местными суфийскими авторитетами, которые выступали значимыми фигурами для шейха Ибрагима в его переосмыслении себя как мусульманина⁸.

В контексте усвоенной критики шейх Ибрагим признается себе и своим ученикам в том, что первые суфийские лидеры из числа ромов-мусульман, в том числе и он сам (а также шейх Азиз), не были готовы к ответственной роли восприимчивиков суфийской традиции, поскольку не обладали необходимыми для этого знаниями. «Мы Коран не знали, что говорить о тафсире...» (ПМА 2019). И хотя ромы-мусульмане были

* В современной антропологической литературе, а также в правовой документации, в том числе в странах исследуемого региона, в отношении европейских цыган принято использовать их самоназвания, из которых обобщающее – ром / ромá (O Roma, Роми, Romi), а также названия их групп и подгрупп. В данной работе я буду использовать самоназвание ромá (ромы), которое употребляют мои собеседники в наших с ними беседах.

вхожи в действующие суфийские обители и постепенно диапазон их статусов в них расширялся, они усваивали, а затем и сами транслировали уже в своих группах лишь фрагментарное и поверхностное знание, которое сводилось в основном к миметическим по характеру практикам в сфере ритуала и отрывочным их комментариям. «Но никакого знания они (главы центральных текке. – К.Т.) им не давали. Оставь его неучем, пусть так и живет, и прав своих не знает» (ПМА 2019). Низкая степень религиозной грамотности среди ромов-мусульман, по мнению шейха Ибрагима, отвечала властным интересам локальных духовных лидеров – представителей условного этнического большинства. Он полагает, что в центральных текке в Косово и Северной Македонии воспроизводились привычные и устойчивые, когда речь заходит о ромских группах, социальные иерархии и дистанции, а потому мюриды не обладали равными привилегиями, и тем из них, кто происходил из ромских семей, могло быть отказано в полноценном доступе к религиозному образованию. Таким образом, ученики из ромских сообществ были отлучены от получения структурированного знания, что шейх Ибрагим склонен расценивать как политическую стратегию, как пример этнической дискриминации в локальной исламской умме. «Да ну их, *цыган**. Путь коров пасут. Значит, это уже национальный вопрос. Вот и остались они на десятилетия в таком состоянии» (ПМА 2019).

В обрисованных таким образом условиях стремление новых суфийских групп к автономии от центральных духовных обителей в регионе, значительный рост их числа и соседский контекст их повседневных взаимодействий – те социальные факторы, которые по мнению шейха Ибрагима позволили распространить и рутинизировать «невежество», подготовив благодатную почву для развития «запретных» практик, в том числе и «сотрудничества с джиннами».

«Текке должно быть как медресе, создано для знания. Нужно, чтобы тут – в текке, были знающие люди. Если называешь себя дервишем, ты должен быть хорошо образован» (ПМА 2019). В отличие от многих других локальных суфийских лидеров, шейх Ибрагим не включает сюжеты с лечением одержимости в нарративы самопрезентации, не инициирует разговоры на данную тему. Предпринятая им реформа суфийской общины, в практической сфере, предполагала исключение распространенных техник – ритуальных прокалываний тела в ходе центральной для суфийских традиций коллективной инвокативной молитвы – *зикра*, а также значительное снижение его эмоциональной насыщенности. Шейх Ибрагим скорректировал сценарии праздничных собраний и *зийарата* – посещения и почитания мавзолея святых (*аулийā*)⁹, расположенного в его текке. Повседневные ритмы обители отныне выстраиваются не

* Здесь шейх Ибрагим использует именование «цыгане» для того, чтобы подчеркнуть негативные коннотации, которыми оно обладает в вернакулярном языке.

столько вокруг коллективных ритуальных собраний и зикра, сколько вокруг уроков и духовных бесед, которые обладают просветительской функцией и в которых присутствующие обращаются к изучению текстуальных источников (Корана, хадисов и комментариев к ним) и обсуждению волнующих их вопросов касательно исламских норм и их воплощения в повседневной жизни. Предполагается, что обновленный формат собраний скорректирует представления мюридов о «традиционном», лишая легитимности те практики, которые можно было интерпретировать в качестве «недозволенного нововведения» (*бид'а*).

Шейх Ибрагим избирательно подходит к запросам, исходящим от жителей квартала, на проведение тех или иных обрядов, например, в рамках похоронно-поминального цикла, и часто отказывает в изготовлении оберегов, которые призваны защитить от действия «вредоносных сил», в том числе и джиннов. Обряды экзорцизма в текке обычно не проводятся, хотя сам шейх свое решение не связывает непосредственно с ревизией ритуальной практики в общине, но объясняет опасностью, исходящей от джинна и пониманием того риска, которому подвергается и ритуальный специалист, и все присутствующие в ходе обряда: «Это очень опасно. Нужно быть в форме. Это опасно для всех нас здесь» (ПМА 2019).

Процесс реформы обители начался незадолго до распада Югославии и совпал с расширением религиозного рынка, а с ним – со знакомством с разнообразными исламскими дискурсами, опытом переосмысления собственной религиозности и работой над своей дисциплиной верующего в возникающих на местах мусульманских общинах различного толка. Институциональная автономия, которую практиковали новые суфийские общины, не предполагала изоляции. Напротив, «новые» суфии активно участвовали в набирающей оборот «циркуляции людей, финансов, опыта и идей»: они налаживали контакты с духовными общинами в стране и за ее пределами (например, в Турции, а также в странах Западной Европы), совершали паломничества, в том числе и хаджж, приобщались к различным источникам по суфийской культуре и развивали собственные медиа (Merjanova 2013: 53). В «пересборке» локального религиозного поля были задействованы не только внутренние резервы, но и внешние акторы – харизматические лидеры, которые представляли различные движения и импортировали альтернативные привычным смыслы и формы практики веры (Walton, Rexhepi 2019).

В этом контексте авторитет шейха Ибрагима выстраивался во многом именно благодаря предпринятой им ревизии религиозного знания и ритуальной практики. «В этом текке столько всего (недозволенного. – К.Т.) раньше происходило. Но нужно думать, что мы оставим после себя. Образованное поколение или шейхов-недоучек?» (ПМА 2018). Преобразования, инициированные шейхом Ибрагимом, затянулись на годы и обозначили различные траектории, по которым члены общины продолжили

свой духовный путь. Вместе с тем проведенная в текке реформа встретила критические комментарии со стороны его соседей – шейхов и мюридов суфийских общин. «Я не хочу никого критиковать, это нехорошо. Но они превратили текке в мечеть. Здесь больше нет места чуду» (ПМА 2019). «Ты знаешь, что он говорит? Он отрицает чудеса, отрицает святых. Да, он шейх, но он для меня не авторитет» (ПМА 2018).

«Соседское» паломничество. Формирование суфийских ландшафтов

Узкая улочка, поднимающаяся от текке шейха Ибрагима в гору, приводит к возведенному в конце XVII в. мавзолею (*тюрге*) «Алты Аяк», где по четвергам жители окрестных домов зажигают свечи. Рассказывают, что погребенные на этом месте военачальники также следовали когда-то традициям суфийского братства са‘дийя. Ему же, как считается, принадлежали и другие святые, которые когда-то жили на этих улицах, проходили местными дорогами, проливали здесь свою кровь или были похоронены на старинных городских кладбищах. Остатки могильных комплексов то и дело находят в близлежащих районах при постройке новых домов, а святые, которых мои собеседники наделяют религиозной харизмой, повсеместно проявляют себя между живущими ныне людьми.

По четвергам и воскресеньям Северджан – пенсионер и частый гость в текке шейха Ибрагима, традиционно наводит порядок в небольшом святилище у своего дома. Он открывает дверцу неприметного, на первый взгляд, строения, вытирает осевшую на полу пыль и соскребает растопленный воск со стоящих на полках свечей. Он наливает в керамический кувшин свежую воду и накрывает его полотенцем. Считается, что эта вода нужна не только людям: незримо присутствующие здесь святые используют ее для ритуального омовения и утоления жажды, а для посетителей святилища такая вода содержит чудесные свойства – благодать (*барака*)¹⁰, которая наделяет благословением и это место, и его хозяев. Как утверждает сам Северджан, в его доме находятся¹¹ трое святых, которые много лет назад явились его отцу и попросили того позаботиться об их месте. Сам Северджан не знает их имен и не может поведать нам историю их праведной жизни. Но он верит, что они не умерли в обычном смысле этого слова: они незримо присутствуют здесь и сейчас и отвечают мольбам тех, кто с открытым и чистым сердцем ищет у них или через них у Бога помощи и благословения. Из всей семьи Северджана со святыми мог коммуницировать его отец, а теперь и его сын – смотритель святилища и целитель, специализирующийся также и на изгнании джиннов. Святилище дядюшки Северджана – лишь одно из множества подобных мест, маркирующих присутствие святых, и объектов локального (чаще соседского) паломничества в этом квартале.

В отличие от мавзолеев святых, которые составляют часть более крупных религиозных комплексов и становятся объектами исторического наследия, «соседские» общественные и семейные святилища формально не связаны ни с одной религиозной организацией, не регистрируются и в целом остаются невидимыми для большого города и его жителей. Они создают альтернативные пространства проявления религиозности и формируют своего рода «скрытые религиозные топографии» (*“hidden religious topographies”*) – места, которые известны и значимы лишь внутри определенного сообщества (Burchardt, Becci 2013: 12). В случае условно мною обозначаемого «соседского» паломничества круг лиц обычно состоит из зрителей святилищ, их родственников и знакомых, соседей, а также редких «внешних» посетителей.

Локализация суфийских традиций в пространственных и символических границах ромских городских районов принимает различные вернакулярные формы: суфийские обители расположены здесь бок-о-бок с семейными или общинными святыми местами. Если следовать детальным воспоминаниям моих собеседников, святилища начали оформляться внутри частных домов, во дворах и на перекрестках дорог начиная со второй половины XX в., а особенно бурно практика их посещения и почитания развивается в последние 30–40 лет. В целом хронологические рамки основания суфийских обителей и возникновения независимых от них святилищ совпадают. Вместе с тем зрители и некоторые постоянные посетители святых локусов не забывают напомнить, что история подобных мест насчитывает не менее нескольких сотен лет и берет свое начало во времена Османской империи. Так конструируется нарратив аутентичности, традиционности и принадлежности к исламу: истоки современной практики «соседского» паломничества помещаются в конвенциональное прошлое¹², возникают символические связи между отдаленными и чаще всего обособленными святилищами, а зрители в статусе ритуальных специалистов и преемников широкой, распространенной практики посещения и почитания святых мест – *зийарата*, постепенно формируют духовный авторитет в (ограниченном) кругу местных мусульман.

Таким образом, в рамках паломнических практик локальные сакральные ландшафты формируются не только вокруг суфийских обителей и/или мавзолеев святых (как правило, умерших духовных лидеров и известных исторических общественных деятелей), но и вокруг повсеместно возникающих семейных или общинных локусов – своего рода резервуаров благодати, исходящей от святых (*бабалара*) – «особых людей», имена которых часто остаются незазванными (Трофимова 2015). Несмотря на то что святилища не образуют устойчивую сеть, а их зрители обычно не координируют друг с другом свою деятельность, рост социального веса «соседского» паломничества вызывает явное беспокойство и сопротивление у местных религиозных лидеров: как имамов локальных мечетей, так и глав суфийских общин.

Тем более что интерьеры святынь во многом воспроизводят визуальный язык, характерный для суфийских обителей, а нарративы о святых и коммуникации с ними обнаруживают влияние суфийской культуры, присущего ей образного языка и его вернакулярных форм (Трофимова 2017).

«Мне снится много людей, как они молятся. Мне снится какой-то человек. И это мне снилось, но я не то чтобы сплю, но закрываю глаза, чтобы заснуть, но не могу заснуть. И снится мне, как здесь убирают, зажигают свечи, что здесь много людей» – так Селма объясняет принятое когда-то решение оформить вблизи своего дома небольшое святилище (ПМА 2013). Как правило, рассказ о появлении в квартале мест зийарата сводится к широко распространенному в исламских культурах сюжету о «пророческом сновидении» и соответствующим моделям интерпретации¹³. Амира Миттермайер, наблюдая сходные ситуации, отмечает: «Я предполагаю, что пространство святилища может быть лучше всего понято путем рассмотрения воображаемых географий, в которых оно задействовано, и в особенности через его отношение к пространству сновидений (Mittermeier 2008: 50). Мои собеседники объясняют, что святые сами инициируют коммуникацию с людьми через сны и видения, выбирают себе «чистое место» и призывают позаботиться об этом месте. Они предлагают людям заключить договор (*завет*)¹⁴, тем самым беря на себя заботу о семье и посетителях святилища, а также регулируют все детали почитания их места. Соответствующие атрибуты внутреннего убранства, как считается, также выбираются святыми или самим местом: любой элемент интерьера должен быть одобрен святым, если инициативу проявляют сами зрители. В рассказах моих собеседников прослеживается предписывающий характер визионерского опыта: полномочиями наделяются определенные персонажи – святые и духи-хозяева места или само место, – которые ставят перед сновидцем определенную задачу, а сновидец часто позиционирует себя пассивным исполнителем их воли (Вражиновски 1999: 143–148; Green 2003: 307–309; Mittermeier 2012). «Они (святые. – К.Т.) не всем показываются. Они приходят тебе во сне, и ты теперь, как сказать, делаешь свою работу» (ПМА 2013).

Пересказ сновидения в исламских культурах является устойчивой стратегией аргументации и имеет перформативный характер (Green 2003: 309–310; Mittermeier 2008: 51). В случае «соседского» паломничества устанавливается связь и выстраивается субординация между человеком и «невидимыми соседями», которая впоследствии закрепляется и воспроизводится совершением ряда необходимых практик: основанием святилища, поддержанием в нем чистоты, совершением ритуального жертвоприношения. Герменевтическая работа в данном случае сводится к тому, чтобы точно определить задачу, которая ставится перед сновидцем, и решить ее должным образом. При этом локальные модели интерпретаций уже содержат готовые прочтения, которые обычно не учиты-

вают детали сюжета видения, и которым редко можно встретить альтернативу. Так, в случае основания святилища объяснения, которые предлагают зрители и посетители, укладываются в «божественную модель»: приснившиеся персонажи однозначно признаются святыми (*аулийа*), реже – духами-хозяевами места (*сайбийа*)¹⁵. Отмечу, что в этой конфигурации сам акт коммуникации в видении является более значимым, чем атрибуция персонажа, явленного во сне. И это важный момент для понимания механизмов легитимации «соседского» паломничества.

Эта же модель интерпретации играет важную роль в социальном и коммуникативном пространствах суфийских общин: по моим наблюдениям, сюжеты, связанные с визионерским опытом, становятся универсальными в нарративах инициации, которые воспроизводят суфийские лидеры и их последователи, а также различные ритуальные специалисты. В пространстве сновидения устанавливается духовная связь между будущим учеником (мюридом) и его духовным наставником (муршидом), а также между шейхами одного или же различных суфийских тарикатов. Эта связь реализуется в служении в обители, а также в модификации ритуальных практик через интеграцию в них новых элементов, характерных для традиций различных братств. Как отмечается в исследованиях, нарративы инициации способствуют укреплению сакрального капитала духовных лидеров (Ewing 1990; Mittermaier, 2012). Примечательно, что мои собеседники вспоминают, что не задавались вопросом, можно ли считать их сновидение «правдивым» (пророческим) или же оно обладает иной природой¹⁶. Хотя они и рассуждают о необходимости критически подходить к толкованию сновидений, в их рассказах акцентируется прежде всего сам факт пережитого опыта.

Использование ритуальными специалистами нарративов о сновидениях в качестве аргумента при оформлении святилища усиливает напряжение в локальном религиозном поле. Суфийские лидеры отказываются признавать пророческий характер сновидений, к которым апеллируют зрители святых мест, и настаивают на изначальной ошибке в их «прочтении». «Не все сны одинаковы» (ПМА 2014). Сны зрителей, по мнению духовных авторитетов, являются проекцией повседневного опыта или же управляются джиннами. Как подчеркивают лидеры суфийских общин, это тем более вероятно, поскольку пророческие сновидения являются элементом элитарного знания и требуют от сновидца обладания особыми способностями, а также подготовкой – религиозной дисциплинированностью.

Атрибуция персонажей сновидений находится в центре продолжающихся споров вокруг почитания семейных и общинных святилищ и служит инструментом (де)легитимации практики «соседского» паломничества. Свою модель интерпретации духовные наставники разворачивают через детальное сопоставление вернакулярных представлений о святых,

духах-хозяевах места, ходячих покойниках и джиннах, указывая на видимые основания для контаминации их образов (Trofimova 2015). Суфийские шейхи напоминают о том, что джинны зачастую проявляют себя в лиминальных для человека ситуациях, а их присутствие повсеместно. Джинны могут принимать любой облик (кроме облика пророка Мухаммада), а также зачастую манипулируют людьми в их сновидениях (Troeva-Grigorova 2003: 192–193). Опираясь отличительными чертами образов джинна и других персонажей актуальной мифологии, суфийские лидеры подозревают зрителей святилищ в одержимости, отмечая при этом и заявляя публично, что в святилищах оформляется пространство присутствия джиннов. «Это больные люди <...> Пришло ему во сне, он зажигает на том месте свечу, а потом и весь дом нужно освободить ради одной свечи. А там ничего нет (нет следов присутствия святого. – К.Т.), понимаешь? В его доме джинн, вся семья оттуда бежит. А он на всю жизнь может остаться хронически болен» (ПМА 2014).

Смотрители же используют свой набор аргументов в защиту сакрального характера, оформленного для святых места и легитимности его почитания. Один из таких аргументов, который мои собеседники считают достаточно сильным, чтобы оспорить критику со стороны локальных религиозных лидеров, вырастает из культурной дихотомии «чистого» и «нечистого»: считается, что джинны склонны собираться в загрязненных, оскверненных местах, тогда как святые «ищут чистоты» места и поддержания ритуальной чистоты людей, живущих в этом месте (ПМА 2011; см. также: Troeva-Grigorova 2003: 191; Trofimova 2015; Nünlist 2021: 30). «То есть они не только здесь, они везде, может, на каждом углу. Там, где грязно, их нет, они бегут из таких мест. Где чисто, там они и находятся, где чисто. Вот так вот» (ПМА 2013).

Предварительные комментарии к сюжетам

В своем этнографическом очерке я попыталась показать, как обращение в повседневных разговорах к теме «соседства» джиннов и людей, а также ситуаций одержимости позволяет лучше понять социально-культурные контексты и свойственные им процессы, которые определяют текущие трансформации суфийских традиций в этой части мусульманского мира. Суфийское *localité*, по моим наблюдениям, развивается как пространство столкновения идентичностей, динамичного властного ландшафта и культурных трансформаций.

Образ джинна, а также взаимодействующих с ним людей в локальной среде является своего рода приглашением к обсуждению довольно широкого спектра вопросов. Обсуждения ситуаций одержимости реализуют в суфийских кругах определенные функции, в частности, производство различий в динамичном религиозном поле. Так, даже брошенная вскользь реплика касательно контактов с джиннами и способах симво-

лического лечения одержимости, как в случае с шейхом Ибрагимом, отсылает к актуальной дискуссии касательно спорных религиозных практик, а также актуализирует работу с прошлым, способствуя воспроизводству и редактуре ретроспективных нарративов, участвующих в построении этнической, религиозной и локальной идентичностей (Assmann 2016; Thomson 2011).

В первом из описанных сюжетов ревизия религиозного знания и ритуальной практики, инициированная шейхом Ибрагимом, и реакция на его начинание со стороны других локальных суфийских лидеров и их последователей задают тенденцию смены авторитетов и диверсификации религиозной жизни в суфийских общинах – частный случай широких процессов, которые описывает в своем исследовании Ина Мерджанова (Merjanova 2013: 67). Она показывает, как институциональная плюрализация, продвижение и соперничество различных исламских дискурсов противоречат на деле стремлениям сформировать однородное религиозное поле на Балканах, но способствуют его дальнейшей фрагментации, развивая в то же время более избирательный, индивидуальный подход к воплощению в своих повседневных решениях образа «настоящего мусульманина» (см.: Elbasani, Roy 2015).

Во втором кейсе посещение и почитание святилищ, будучи оспариваемой практикой, развиваются в ситуации «соседства» и столкновения локальных семиотических моделей¹⁷ (Keane 2018), что способствует производству полифонии на внутриконфессиональном уровне и опосредует динамику властного ландшафта. Таким образом, в интерпретации сновидений религиозные авторитеты реализуют властные практики исключения. Обращение к образу джинна в рамках заданной модели знания и «рабочего» дискурса одержимости занимает в этих обсуждениях ключевое место, маркируя и дифференцируя как социальные, так и пространственные аспекты повседневной религиозности.

Примечания

¹ *Текке (tekke)* – обитель суфийского братства, в том числе в значении религиозного или, шире, социального института (Firouzeh 2021). В речи моих собеседников встречаются следующие лексические формы: *текија; i tekija; teqe* (Škaljić 1966: 607; Белчев 2016: 168).

² Джинны и люди обладают различными природами и свойствами: джинны бестелесны и могут проникать в человеческое измерение. Они ориентируются в нем и используют его ресурсы, тогда как человек не способен лицезреть джинна в его первозданном облике, и мир джиннов для большинства людей закрыт. При этом считается, что социальные миры джиннов и людей схожи между собой в своей структуре (Коран 15: 26–27; 55:15; 6: 130; Badeen, Krawietz 2003: 99; Troeva-Grigорова 2003: 192–193; Yazaki 2023: 75).

³ Эдвард Бадин и Бирджит Кравиц сравнивают различные авторитетные подходы к вопросу потенциальных контактов между представителями различных категорий существ и приходят к выводу, что в социальном плане отношения между джиннами и людьми интерпретируются как «структурно дисфункциональные»: «Джинны не придержива-

ются никаких социальных правил кооперации и сотрудничества: на них нельзя положиться, они не идут на уступки. Речь идет скорее не о социальном равенстве, но о повсеместной вражде равных» (Badeen, Kravietz 2003: 107).

⁴ Нарративы о контактах с джиннами часто бывают вписаны в нравственно-религиозный дискурс, что обсуждается в целом ряде исследований. Считается, что джинны могут годами сопровождать человека с целью сбить его с «прямого пути», а одержимость «подсвечивает» моральные дилеммы, с которыми сталкивается человек, и создает контекст, который призван стимулировать оступившегося мусульманина встать на путь духовного самосовершенствования. Подобная линия рассуждений воспроизводится и моими собеседниками. Впрочем, не все случаи одержимости описываются через обращение к моральной риторике. Ситуации контактов с джиннами также объясняются стечением ряда обстоятельств, а уязвимость человека не связывается непосредственно с его моральными качествами и уровнем религиозной дисциплинированности. Речь идет, например, о случаях вселения джиннов в маленьких детей, а также о практиках «колдовства», когда защиты, которую выстраивает для себя человек в своей повседневной практике, оказывается недостаточно (см. Mateo Dieste 2015: 56; Maarouf 2007: 139; Опарин 2021).

⁵ Документируя вариативные проявления религиозности в (пост)социалистической Боснии и Герцеговине, Тоне Бринга также отмечает, что в сфере символического лечения представители суфийских групп пользовались особым уважением и доверием у местного населения. Образ приверженцев суфийских традиций строился на местах на контрасте с представителями официальных авторитетов, деятельность которых считалась политизированной и регулируемой государством. К тому же суфийские лидеры позиционировали себя (и воспринимались) носителями сокровенного знания и особых способностей, применение которых в целительных практиках могло повысить эффективность проводимого лечения (Bringa 1995: 224, 217–219).

⁶ «Сотрудничество с джиннами» – распространенное выражение для отсылки к описываемому явлению. В речи моих респондентов встречаются следующие лексические формы: *saradnja sa džinima/džinovima*; *соработка со џинови*. См. Škaljić 1966: 242.

⁷ Производным от *сихр* (*sihir*) является *сихирбаджи* (*sihirbadži*) – более широкий термин, который используют мои собеседники в отношении тех, кто подозревается в колдовстве. См. Škaljić 1966: 564.

⁸ В данных публикациях в рамках модернистской риторики конструировался образ ислама на периферии (географической и метафорической) как явления, для которого характерным был низкий уровень светского и религиозного образования, пренебрежение исламскими предписаниями в повседневных действиях, а также распространенность «суеверий» и приверженность «нежелательным нововведениям». Осуждению подвергались: коллективные молитвы (*зикр*), включающие в себя различные манипуляции с телом и употребление алкоголя; спектр практик, совершаемый в ходе посещения и почитания святых мест; изготовление оберегов и т.д. (Clayer, Popovic 1999).

⁹ Аулийā – мн. ч. от вали – «святой». В речи моих собеседников встречаются следующие лексические формы: *евлија(е)* (*evlija(e)*).

¹⁰ *Барака* (*baraka*) – благословление, благодать, исходящая от Бога, а также семантически близкие значения – изобилие, плодородие, счастье. В Коране, а также в повседневной речи данный термин употребляется в форме множественного числа – *баракат* (*barakāt*). (Colin). В речи моих собеседников встречаются следующие лексические формы – *берућет* (*beričet*), *берекет* (*bereket*), *берућет* (см. толкования в словарях: Škaljić 1966: 138; Белчев 2016: 33).

¹¹ О формах присутствия святых и способах его визуальной репрезентации в святилищах см.: Trofimova 2017.

¹² В основе формирования практики «соседского» паломничества и ее репрезентации в качестве элемента исламской традиции лежат те же механизмы «изобретения» традиции и ее контекстуальной адаптации, которые анализировал в своей работе Эрик Хобсбаум. Подробнее см.: Hobsbawm 1983; Trofimova 2017.

¹³ Сновидение/видение – наиболее распространенный канал символической коммуникации с трансцендентным в исламе, а также и в других религиозных культурах. Сюжеты о сновидениях вплетены в комплексы мифологических представлений и задают структуру нарративам о духовном опыте как пророка Мухаммада, так и других значимых фигур мусульманской традиции (Резван 2009).

¹⁴ Завет (*zavet*) – обет. Заключение паломником индивидуального обета – центральный, смыслообразующий элемент в региональной практике религиозного паломничества.

¹⁵ Сопоставление образов персонажей святых и духов-хозяев места в контексте почитания святилищ в цыганских городских кварталах в Сербии и Северной Македонии см.: Trofimova 2015.

¹⁶ В качестве традиционной основы толкования сновидений, видений и других форм особой коммуникации лежит представление о различении сновидений по своей природе: правдивые или вещие сновидения; лживые сновидения, а также сновидения, отражающие повседневные заботы и страсти.

¹⁷ Рассматривая различные объяснительные модели, которые задают образ святых мест и используются в формировании локальных сакральных топографий и властных ландшафтов, я опираюсь на концепцию семиотической идеологии Вебба Кина. Он пишет: «Концепция семиотической идеологии обращает наше внимание на множество способов (от негласных до полностью прозрачных), с помощью которых предположения о том, что такое знаки, способствуют тому, как люди их используют и интерпретируют, и на этой основе формируют суждения этической и политической значимости» (Keane 2018: 67).

Список источников

- Белчев Т. Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови во македонскиот јазик. Штип: Универзитет «Гоце Делчев», 2016.
- Вражиновски Т. Народна традиција. Религија. Култура. Скопје: Матица Македонска, 1999.
- Опарин Д. Одержимость и экзорцизм в миграционном мусульманском контексте // Неприкосновенный запас. 2021. № 04 (138). С. 169–195.
- Полевые материалы автора (ПМА 2011–2021) – интервью, проведенные и записанные автором в ходе полевой работы в Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине в период с 2011 по 2021 г.
- Резван М.Е. Герменевтика сновидения в контексте общемусульманской сновидческой реальности (на примере сновидений о Коране) // Центральная Азия: традиция в условиях перемен. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2009. С. 48–75.
- Христофорова О. Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России. М.: ОГИ, РГГУ, 2010.
- Assmann A. *Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity* / transl. Sarah Clift. New York : Fordham University Press, 2016.
- Badeen E., Krawietz B. *Islamic Reinvention of Jinn: Status-Cut and Success Story* // *Identidades marginales* / ed. by C. de la Puente. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003. P. 93–109.
- Bringa T. *Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village*. Princeton University Press, 1995.
- Bryant R. Introduction. *Everyday Coexistence in the Post-Ottoman space* // *Post-Ottoman Coexistence. Sharing Space in the Shadow of Conflict* / ed. by R. Bryant. New York: Berghahn Books, 2016. P. 1–38.
- Burchardt M., Becci I. Introduction: Religion Takes Place: Producing Urban Locality // *Topographies of Faith. Religion in Urban Spaces* / ed. by I. Becci, M. Burchardt, J. Casanova. Leiden: Brill, 2013. P. 1–21.

- Clayer N. Muslim Brotherhood Networks in South-Eastern Europe // European History Online (EGO). Institute of European History (IEG). Mainz. 2011-05-11. URL: <http://www.ieg-ego.eu/clayern-2011-en>
- Clayer N., Bougarel X. Europe's Balkan Muslims. A New History. London: Hurst & Company, 2017.
- Clayer N., Popovic A. Les courants anti-confrérique dans le Sud-Est européen à l'époque post-ottomane (1918–1990). Les cas de la Yougoslavie et de l'Albanie // Islamic Mysticism Contested. Thirteen Centuries of and Polemics / ed. by F. de Jong, B. Radtke. Leiden: Brill, 1999. P. 639–664.
- Colin G.S. Baraka // Encyclopaedia of Islam, Second Edition / ed. by P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 03 June 2023. doi: 10.1163/1573-3912_islam_SIM_1216
- Dujizings G. Religion and Politics of Identity in Kosovo. London, Hurst and Company, 2000.
- Elbasani A., Roy O. Islam in the post-Communist Balkans: alternative pathways to God // Southeast European and Black Sea Studies. 2015. No. 15 (4). P. 457–471.
- Eneborg Y.M. The Quest for 'Disenchantment' and the Modernization of Magic // Islam and Christian-Muslim Relations. 2014. No. 25:4. P. 419–432
- Ewing K.P. The Dream of Spiritual Initiation and the Organization of Self Representations among Pakistani Sufis // American Ethnologist. 1990. Vol. 17, No. P. 56–74.
- Firouzeh P. Şüfi Lodges // Sufi Institutions / ed. by A. Papas. Leiden; Boston: Brill, 2021. P. 157–173.
- Green N. The Religious and Cultural Roles of Dreams and Visions in Islam // Journal of the Royal Asiatic Society. Third Series. 2003. Vol. 13, No. 3. P. 287–313.
- Henig D., Bielenin-Lenczowska K. Recasting Anthropological Perspectives on Vernacular Islam in Southeast Europe. An Introduction // Anthropological Journal of European Cultures. 2013. Vol. 22, No. 2. P. 1–11.
- Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1–14.
- Keane W. On Semiotic Ideology // Signs and Society. 2018. Vol. 6, No. 1. P. 64–87.
- Lambek M. Knowledge and Practice in Mayotte: Local Discourses of Islam, Sorcery and Spirit Possession. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1993.
- Larsen K. Spirit possession as historical narrative // Locality and belonging / ed. by N. Lovell. Routledge, 1998. P. 125–147.
- Maarouf M. Jinn Eviction as a Discourse of Power. A Multidisciplinary Approach to Moroccan Magical Beliefs and Practices. Leiden; Boston: Brill, 2007.
- Mateo Dieste J.L. Spirits Are Like Microbes: Islamic Revival and the Definition of Morality in Moroccan Exorcism // Contemporary Islam. 2015. Vol. 9. P. 45–63.
- Mateo Dieste J.L. The Jewish Djinn in Northern Morocco. Old and New Neighborhoods // Сибирские исторические исследования. 2022. № 3. С. 14–32.
- Merjanova I. Rediscovering the *umma*: Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism. New York: Oxford University Press, 2013.
- Mittermaier A. (Re)Imagining Space: Dreams and Saint Shrines in Egypt // Dimensions of Locality / ed. by G. Stauth, S. Schielke. Transcript-Verlag, 2008. P. 47–66.
- Mittermaier A. Dreams from Elsewhere: Muslim subjectivities beyond the trope of self-cultivation // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2012. No. 18. P. 247–265.
- Norris H.T. Islam in the Balkans. University of South Carolina Press, 1993.
- Novaković D. Delovanje zajednice derviških redova alije (ZIDRA) na Kosovu i Metohiji 1974–1991 // Istorija 20 veka. 2002. No. 2. P. 103–115.
- Nünlist T. Demonic Beings: The Friends and Foes of Humans // Islam, Migration and Jinn. Spiritual Medicine in Muslim Health Management / ed. by A. Böttcher, B. Krawietz. Palgrave Macmillan, 2021. P. 17–43.
- Raudvere C. Claiming Heritage, Renewing Authority. Sufi-Oriented activities in post-Yugoslav Bosnia-Herzegovina // European Journal of Turkish Studies. 2011. No. 13. P. 2–13.

- Rothenberg C.E. *Spirits of Palestine: gender, society, and the stories of the jinn*. Lanham, MD: Lexington Books, 2004.
- Sedgwick M. *The Organisation of Mysticism // Sufi Institutions* / ed. by Alexandre Papas. Leiden ; Boston : Brill, 2021. P. 335–361.
- Schielke S., Debevec L. Introduction // *Ordinary Lives and Grand Schemes. An Anthropology of Everyday Religion* / ed. by S. Schielke, L. Debevec. New York; Oxford: Berghahn Books, 2013. P. 1–16.
- Škaljić A. *Turcizmi u Srpskohrvatskom jeziku*. Sarajevo: Svjetlost, 1966.
- Thomson A. Memory and Remembering in Oral History // *The Oxford Handbook on Oral History* / ed. by Donald A. Ritchie. Oxford University Press, 2011. P. 77–95.
- Troeva-Grigorova E. *The Rhodopi Demons* / ed. by G. Lozanova. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 2003.
- Trofimova K. Holiness Constructed: Anonymous Saints in the Popular Traditions of Muslim Roma Communities in the Balkans // *The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity* / ed. by A. Elbasani, O. Roy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. P. 163–181.
- Trofimova K. Transforming Islam among Roma communities in the Balkans: a case of popular religiosity // *Nationalities Papers*. 2017. Vol. 45 (4). P. 598–612.
- Walton J., Rexhepi P. On Institutional Pluralization and the Political Genealogies of Post-Yugoslav Islam // *Religion and Society*. 2019. Vol. 10 (1). P. 151–167.
- Yazaki S. *Classes of Beings in Sufism // Sufi Cosmology* / ed. by Ch. Lange, A. Knysh. Leiden, Boston: Brill, 2023. P. 68–88.

References

- Assmann A. (2016) *Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity* / Sarah Clift (transl.). New-York: Fordham University Press.
- Badeen E., Krawietz B. (2003) Islamic Reinvention of Jinn: Status-Cut and Success Story. In: *Identidades marginales* / C. de la Puente (ed.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 93–109.
- Belčev T. (2016) *Rechnik na turtsizmi, ahkhaizmi, diialektizmi I retko upotrebuвани zborovi vo makedonskiot iazik* [Dictionary of Turkisms, Archaisms, Dialectisms and Rarely Used Words in the Macedonian Language]. Štip: UGD.
- Bringa T. (1995) *Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village*. Princeton University Press.
- Bryant R. (2016) Introduction. Everyday Coexistence in the Post-Ottoman space. In: *Post-Ottoman Coexistence. Sharing Space in the Shadow of Conflict*. / R. Bryant (ed.). New-York: Berghahn Books, pp. 1–38.
- Burchardt M., Becci I. (2013) Introduction: Religion Takes Place: Producing Urban Locality. In: *Topographies of Faith. Religion in Urban Spaces* / I. Becci, M. Burchardt, J. Casanova (eds.). Leiden: Brill, pp. 1–21.
- Clayer N. (2011) Muslim Brotherhood Networks in South-Eastern Europe, *European History Online* (EGO). Institute of European History (IEG). Mainz 2011-05-11. Available at: <http://www.ieg-ego.eu/clayern-2011-en>
- Clayer N., Bougarel X. (2017) *Europe's Balkan Muslims. A New History*. London: Hurst & Company.
- Clayer N., Popovic A. (1999) Les courants anti-confrérie dans le Sud-Est européen à l'époque post-ottomane (1918-1990). Les cas de la Yougoslavie et de l'Albanie. In: *Islamic Mysticism Contested. Thirteen Centuries of and Polemics*. / F. De Jong, B. Radtke (eds.). Leiden: Brill. pp. 639–664.
- Colin G.S., Baraka. In: *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (eds.). Consulted online on 03 June 2023 http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1216

- Dujizings G. (2000) *Religion and Politics of Identity in Kosovo*. London, Hurst and Company.
- Elbasani A., Roy O. (2015) Islam in the post-Communist Balkans: alternative pathways to God, *Southeast European and Black Sea Studies*. 15 (4). P. 457–471.
- Eneborg Y.M. (2014) The Quest for 'Disenchantment' and the Modernization of Magic, *Islam and Christian-Muslim Relations*. 25:4. P. 419–432.
- Ewing K. P. (1990) The Dream of Spiritual Initiation and the Organization of Self Representations among Pakistani Sufis, *American Ethnologist*. Vol. 17 No. pp. 56–74.
- Firouzeh P. (2021) Şüfî Lodges. In: *Sufi Institutions* / A. Papas (ed.). Leiden; Boston: Brill, pp. 157–173.
- Green N. (2003) The Religious and Cultural Roles of Dreams and Visions in Islam, *Journal of the Royal Asiatic Society*. Third Series. Vol. 13. No. 3. pp. 287–313.
- Henig D. Bielenin-Lenczowska K. (2013) Recasting Anthropological Perspectives on Vernacular Islam in Southeast Europe. An Introduction, *Anthropological Journal of European Cultures*. Vol. 22, No. 2. pp. 1–11.
- Hobsbawm E. (1983) Introduction: Inventing Traditions. In: *The Invention of Tradition* / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–14.
- Keane W. (2018) On Semiotic Ideology // *Signs and Society*. Vol. 6. No. 1. pp. 64–87.
- Khristoforova O. (2010) *Kolduni i zherity: Antropologiya koldovstva v sovremennoi Rossii*. [Sorcerers and Victims: An Anthropology of Witchcraft in Modern Russia]. Moscow: OGI Publishing House, RGGU [Russian State University for the Humanities].
- Lambek M. (1993) *Knowledge and Practice in Mayotte: Local Discourses of Islam, Sorcery and Spirit Possession*. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press.
- Larsen K. (1998) Spirit possession as historical narrative. In: *Locality and belonging* / N. Lovell (ed.). Routledge, pp. 125–147.
- Maarouf M. (2007) *Jinn Eviction as a Discourse of Power. A Multidisciplinary Approach to Moroccan Magical Beliefs and Practices*. Leiden; Boston: Brill.
- Mateo Dieste J.L. (2015) Spirits Are Like Microbes: Islamic Revival and the Definition of Morality in Moroccan Exorcism, *Contemporary Islam*. Vol. 9. pp. 45–63.
- Mateo Dieste J.L. (2022) The Jewish Djinn in Northern Morocco. Old and New Neighborhoods, *Siberian Historical Research*, no. 3, pp. 14–32.
- Merjanova I. (2013) *Rediscovering the umma: Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism*. New-York: Oxford University Press.
- Mittermaier A. (2008) (Re)Imagining Space: Dreams and Saint Shrines in Egypt. In: *Dimensions of Locality* / G. Stauth, S. Schielke (eds.). Transcript-Verlag, pp. 47–66.
- Mittermaier A. (2012) Dreams from Elsewhere: Muslim subjectivities beyond the trope of self-cultivation, *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 18. pp. 247–265.
- Norris H.T. (1993) *Islam in the Balkans*. University of South Carolina Press.
- Novaković D. (2002) Delovanje zajednice derviških redova alije (ZIDRA) na Kosovu i Metohiji 1974–1991, *Istorija 20. veka*. no. 2. pp. 103–115.
- Nünlist T. (2021) Demonic Beings: The Friends and Foes of Humans. In: *Islam, Migration and Jinn. Spiritual Medicine in Muslim Health Management* / A. Böttcher, B. Krawietz (eds.). Palgrave Macmillan, pp. 17–43.
- Oparin D. (2021) Oderzhimost' i ekzortsizm v migratsionnom musul'manskom kontekste. [Possession and Exorcism in the Muslim Migrant Context], *Neprikosnovennii zapas*, Vol. 04 (138). pp. 169–195.
- Raudvere C. (2011) Claiming Heritage, Renewing Authority. Sufi-Oriented activities in post-Yugoslav Bosnia-Herzegovina, *European Journal of Turkish Studies*, 13. pp. 2–13.
- Rezvan M.E. (2009) Germenevtika snovidenii v kontekste obschemusul'manskoi snovidcheskoi tratitsii (na primere snovidenii o Korane) [Hermeneutics of Dreams in the Context of a Common Muslim Dream Reality (Drawing upon Dreams of the Qur'ān)]. In: *Tsentralnaia Aziia: traditsii a v usloviakh peremen* [Central Asia: Tradition amidst Change]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography of the RAS Publ. pp. 48–75.

- Rothenberg C.E. (2004) *Spirits of Palestine: gender, society, and the stories of the jinn*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Schielke S., Debevec L. (2013) Introduction. In: *Ordinary Lives and Grand Schemes. An Anthropology of Everyday Religion* / S. Schielke, L. Debevec (eds.). New York-Oxford: Berghahn Books, pp. 1–16.
- Sedgwick M. (2021) The Organisation of Mysticism. In: *Sufi Institutions* / Alexandre Papas (ed.). Leiden, Boston: Brill, pp. 335–361.
- Škaljić A. (1966) *Turcizmi u Srpskohrvatskom jeziku*. Sarajevo: Svjetlost.
- Thomson A. (2011) Memory and Remembering in Oral History. In: *The Oxford Handbook on Oral History* / Donald A. Ritchie (ed.). Oxford University Press, pp. 77–95.
- Trofimova K. (2015) Holiness Constructed: Anonymous Saints in the Popular Traditions of Muslim Roma Communities in the Balkans. In *The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity* / A. Elbasani, O. Roy (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 163–181.
- Trofimova K. (2017) Transforming Islam among Roma communities in the Balkans: a case of popular religiosity, *Nationalities Papers*. Vol. 45 (4). pp. 598–612.
- Vrazhinovski, T. (1999) *Narodna Traditsiia. Religiia. Kultura* [Folk Tradition, Religion, Culture]. Skopje: Matica Makedonska.
- Walton J., Rexhepi P. (2019) On Institutional Pluralization and the Political Genealogies of Post-Yugoslav Islam, *Religion and Society*, Vol. 10 (1). pp. 151–167.

Сведения об авторе:

ТРОФИМОВА Ксения Павловна – кандидат философских наук, научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: kptrofimova@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ksenia P. Trofimova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: kptrofimova@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 01 сентября 2023 г.;
принята к публикации 01 марта 2024 г.*

*The article was submitted 01.09.2023;
accepted for publication 01.03.2024.*

Научная статья
УДК 297
doi: 10.17223/2312461X/43/6

Йинли молла в Ногайской степи: феномен советского ислама

Ахмет Аминович Ярлыкапов

МГИМО МИД России, Москва, Россия
a.yarlykapov@gmail.com

Аннотация. Анализируется такое явление, как муллы, связанные с джинами. Такие служители культа брались защищать людей от посягательства невидимых, но могущественных соседей, способных причинить людям много вреда. Феномен *йинли молла* в Ногайской степи расцвел к 1930–1940 гг. и сошел на нет уже в 1980-е гг., став ярким элементом конструируемого антропологами советского ислама.

Ключевые слова: советский ислам, йинли молла, Ногайская степь, открытие Книги, ломка сердца

Для цитирования: Ярлыкапов А.А. *Йинли молла в Ногайской степи: феномен советского ислама* // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 91–105. doi: 10.17223/2312461X/43/6

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/6

Yinli Molla in the Nogai Steppe: The Phenomenon of Soviet Islam

Akhmet A. Yarlykapov

MGIMO-University, Moscow, Russian Federation,
a.yarlykapov@gmail.com

Abstract. The article analyses such a phenomenon as mullahs connected with djinn. Such cult servants took it upon themselves to protect people from the encroachment of invisible but powerful neighbors who could cause people a lot of problems. The phenomenon of “*yinli molla*” in the Nogai steppe blossomed by the 1930s–40s and died out in the 1980s, becoming a striking element of the “Soviet Islam” constructed by anthropologists.

Keywords: Soviet Islam, yinli molla, Nogai steppe, opening of the Book, heartbreaking

For citation: Yarlykapov, A.A. (2024) *Yinli Molla in the Nogai Steppe: The Phenomenon of Soviet Islam*. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 91–105 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/6

Проблема «советского ислама»

В Советском Союзе официально ислам, как известно, изживался, как и другие религии. В атеистическом обществе места для религии не предусмотрено. Все, с чем имели дело советские исследователи – это «пережитки» ислама, причем ислам (как и другие монотеистические религии) мыслился деградирующим, как бы распадающимся на верования более «низкого» порядка. Отсюда в советском религиоведении большое внимание уделялось изучению домонотеистических верований, которые как раз и вычленились из монотеистических религий (см., например: Баялиева 1972; Бабаева 1993; Гаджиев 1991; Галданова 1987; Домусульманские 1975; Керейтов 1979; Лавров 1959; Тайжанов, Исмаилов 1986; Толеубаев 1991 и др.).

В западной советологии, напротив, значение религий, в том числе и ислама, преувеличивалось. Достаточно посмотреть работы А. Беннигсена, С. Вимбуша, Ш. Лемерсье-Келькеже и других исследователей (см., например: Bennigsen, Wimbush 1986; Bennigsen, Lemerrier-Quelguejay 1967; Bennigsen, Broxup 1983; Ro'i 2000), в которых проводилась довольно четкая мысль о том, что советский ислам представляет собой два параллельных среза: официальный и неофициальный, последний представляет собой как раз суть советского ислама и серьезную угрозу атеистической власти коммунистов (см. в частности: Bennigsen, Wimbush 1986: 21). Мысль об официальном и неофициальном исламе оказала серьезное влияние и на советских/российских исследователей, найдя свое выражение в новых, постсоветских реалиях уже в делении на традиционный и нетрадиционный ислам.

Тем не менее постсоветские исследования советского ислама активно отходят от этой парадигмы, рассматривая его как сложный феномен, несомненно, переживавший влияние советских институтов, например, таких как колхозы и совхозы, но в то же время сохранявший связь с письменной традицией. С 1991 г. появилось множество превосходных статей и книг, внесших огромный вклад в изучение советского ислама, для которых характерно отступление от прежних подходов (см.: Абашин 2015: 498–546; Abashin 2023: 227–242; Бобровников 1997; Бобровников 2001; Kemper 2009; Allah's Kolkhozes 2014 и т.д.).

В то же время ислам в Советском Союзе все еще недостаточно изучен, а концептуализация понятия «советский ислам», наверное, является делом будущего – во всяком случае, серьезных попыток со стороны исследователей не предпринималось. Предлагаемая вниманию читателя статья также далека от такой амбициозной задачи. Советский ислам изучен достаточно однобоко: с одной стороны, довольно хорошо изучен суфизм и культ святых, с другой стороны, практически не изучен важный

институт ислама – муллы. Здесь будет рассмотрено такое интересное явление, как муллы, претендующие на обладание джиннами (*йинли молла*), в ногайской культуре. Так получилось, что этот феномен расцвел именно в советские годы в результате уникальных процессов, происходивших в это время. В работе на основании рассмотрения феномена *йинли молла* будет высказана мысль о том, что проблема «советского ислама» требует дальнейшего изучения.

Рост значения мулл в советское время в Ногайской степи

Вся карательная мощь государственного аппарата новой власти в 1920–1930-е гг. обрушилась в первую очередь на служителей исламского культа наряду с разрушением таких основополагающих исламских институтов, как мечети, медресе, шариатские суды и т.д. В результате к началу 1940-х гг. в Ногайской степи более-менее активную деятельность продолжали только муллы. С прекращением ведения дел по шариату постепенно исчез такой немаловажный исламский институт, как институт кади – шариатского судьи. Это в свою очередь привело к тому, что пропал смысл богословских упражнений и глубокого постижения исламских дисциплин: ведь для отправления повседневного культа было достаточно наличия элементарных знаний, касавшихся главным образом внешних сторон религиозной практики. Эти знания заключались в умении читать основные тексты, важные при отправлении культа, а также разбираться в порядке и последовательности совершения определенных обрядовых действий. Широкая подготовка, которая отличала богословов-*эфенди* (их в Ногайской степи называли *аьпенди*), оказалась невос требованной. Несмотря на то, что вплоть до конца 1970-х – начала 1980-х гг. в Ногайской степи все еще сохранялись эфенди и формально они были окружены почетом и уважением, реально эти люди потеряли свое прежнее значение в обществе. Именно этим можно объяснить отмирание института эфенди: за все годы советской власти ни один эфенди в Ногайской степи не подготовил себе замену, а их богатейшие библиотеки и собрания рукописей либо пропали, либо по частям перешли в руки мулл.

Эти процессы привели к тому, что значение мулл в ногайском обществе значительно возросло. Они сконцентрировали в своих руках контроль над всей религиозной жизнью общины. По всем вопросам верующие обращались отныне только к ним: мулла их и консультировал, и судил, и наставлял, и поддерживал в тяжелых ситуациях, читал *азан*¹ над новорожденным и *талкын*² над умершим.

С течением времени муллы, получившие подготовку в дореволюционные и первые послереволюционные годы, когда еще функциониро-

вала система исламского образования, уступали место новому поколению. Уровень образованности этого нового поколения был в основном ниже минимального. Звания муллы удостаивался уже тот, кто кое-как умел читать Коран, знал наизусть несколько важных для отправления культа сур (аль-Фатиха, Йа Син, аль-Ихлас, аль-Фалак, ан-Нас и др.), умел молиться, знал порядок совершения обрядов и исполнял основные обязанности мусульман: молитва, пост и т.д. Кроме всего прочего, от муллы требовалось вести благочестивый образ жизни.

Авторитет мулл в ногайском обществе все эти годы был весьма высоким среди верующих. На него не влиял даже стремительно падавший уровень их подготовки. К 1970–1980-м гг. в степи стали появляться муллы, не знавшие ни одной арабской буквы. Вместо того чтобы учить этому, старшие муллы давали им транслитерированный (в кириллице) текст упомянутых выше сур из Корана, которые просто выучивались наизусть. Справедливости ради надо отметить, что ногайцы всегда различали мулл, которые умели читать и писать по-арабски, и мулл, не умевших этого делать. Последние считались не совсем «полноценными» муллами, и к их услугам прибегали лишь в крайних случаях. Верующие полагали, что после перевода текста в кириллицу он теряет часть своего священного смысла; отсюда и молитва человека, не владеющего арабской письменностью, менее действенна.

Система исламского образования в Ногайской степи в советское время была окончательно подорвана. Подготовка мулл велась частным образом, да и то по такой урезанной программе, что это было сложно назвать получением исламского образования. Будущие муллы получали самое общее представление об исламе и его догматах, в основном же их готовили к отпращиванию культа. Довольно слабо разбираясь в догматике, они в то же время хорошо знали порядок совершения молитвы (*намаз*) по ханафитскому толку (*мазхабу*), других обрядовых действий. Большинство мулл имели книги на ногайском, кумыкском или татарском языках (вернее, на соответствующих вариантах тюрки), посвященные практикам поклонения, культу (*ибадат*). Для некоторых мулл, остающихся пока в степи эфенди, готовили своеобразные пособия, в которых культовые вопросы подробно разъяснялись. Так, в собраниях мулл сохранились подобные арабописьменные рукописные пособия на ногайском языке, вышедшие из-под пера Мустафы-эфенди из села Абрам-Тюбе (Нефтекумский район Ставропольского края), Казымбета-эфенди из Терекли-Мектеба, Абдулкерима-эфенди из села Кунбатар (Ногайский район Республики Дагестан) и др.

Исламская догматика из первоисточника была отныне малодоступна ногайским муллам, поскольку мало кто из них владел арабским языком в той мере, чтобы понимать смысл аятов Корана, хадисов или произведений арабо-мусульманских богословов. Литература же на ногайском,

других тюркских языках, как правило, не касалась глубоких богословских проблем, ограничиваясь вопросами внешнего проявления религиозности и наиболее общими основами исламского вероучения. Даже перевод Корана на русский язык был практически недоступен ногайцам, бывшим в основном сельскими жителями. Сельские и районные библиотеки не имели его в своих фондах, а из фондов библиотек райкомов КПСС русский перевод Корана не выдавали даже коммунистам, если они не работали в аппарате. Уже одно проявление интереса к нему могло вызвать подозрение со стороны соответствующих органов.

В ситуации истощения интеллектуального содержания ислама в Ногайской степи в советское время на первое место стали выдвигаться «простонародные» его формы. Вполне естественно, что ислам, если можно так выразиться, стал гораздо «ближе» к народу. «Ближе» к народу стали и муллы, допускавшие различные отклонения от исламской ортодоксии. Так, в советские годы среди ногайцев действовала своеобразная категория мулл, занимавшихся лечебной и гадательной практикой, известная как йинли молла (т.е. мулла, имеющий духов).

Феномен йинли молла

Основываясь на данных полевых исследований, можно констатировать, что, по крайней мере, к концу XIX в. лечебная практика в Ногайской степи в основном сконцентрировалась в руках муллы. Знахари занимались лечением мелких психических расстройств, травм и ушибов. При этом люди верили, что подавляющее большинство болезней в той или иной мере связано с кознями джиннов (*йин*). Для излечения с джиннами следовало либо договариваться, либо «связать» их, чтобы они не могли продолжать вредить человеку.

Считалось, что власть над духами йин муллам давала особая Книга, обладание которой позволяло им перейти в категорию «муллы, имеющего джиннов» (йинли молла). Согласно легенде, объясняющей происхождение этой книги, по воле Аллаха *Сулеймен-пайхамбар* (пророк Сулейман) получил власть не только над людьми, но и над дикими животными, птицами, а также джиннами, которые перед тем были побеждены небесным воинством ангелов и изгнаны в окраины обитаемого мира. Даже после этого поражения джинны не освободились от своей гордыни и продолжают вредить человечеству, в основном насылая на него различные болезни. Если заболел человек, то пророк Сулейман собирал всех джиннов и грозно спрашивал, кто из них причинил вред или болезнь – *ушык*. Тому джинну, кто причинил ушык, приходилось отвечать перед грозным царем и пророком, как можно излечить больного, иначе Сулейман грозился сжечь джинна в огне. Все ответы духов Сулейман-

пайхамбар собрал в одной книге, и, глядя в нее, можно было с Божьего соизволения лечить людей (ПМА 7.05.1996).

Книгу эту ногайцы называют просто *Китаьп*, что, собственно, и означает «книга». Вообще, ногайцы с большим благоговением относятся к книгам, напечатанным арабской графикой, приписывая им чудотворные свойства. Мне приходилось наблюдать, как в с. Уй-Салган (Ногайский район Республики Дагестан) одна ногайка перед сном прятала под подушку «Коран», дабы он охранял ее сон. На самом деле это оказались аккуратно сшитые учебники по истории ислама и персидскому языку, изданные в 1914 г. в Санкт-Петербурге на тюрки арабским шрифтом. Такое отношение к книге присуще мусульманским народам и берет свое начало в арабской культуре, где с безмерным почтением относятся к письменности и книге. Собственно, своим развитием арабская письменность обязана Корану, через который, как принято считать, говорит сам Аллах, и ее необходимо было зафиксировать так, чтобы не допускать двоякого прочтения текста (Очерки истории 1982: 252–253).

На основе этого почитания у ногайцев сложился ритуал, который называется «открытие Книги» (*Китаьп ашуь*). Им широко пользуются муллы. Считается, что книга вмещает в себя всю мудрость человечества, в ней нашли отражение все знания и умения, которые успели накопить люди. Вследствие такого отношения к книге (арабописьменной, бывшей и остающейся непонятной для основной массы людей) муллы становились обладателями сокровенных знаний, людьми посвященными. «Открыв Книгу», они могли помочь своим посетителям получить ответы на самые разнообразные вопросы, найти пропавшую или украденную корову, посоветовать, как решить те или иные проблемы и т.д. Но только самые «сильные» муллы имели право обладать той самой Книгой, которая давала власть над джиннами, и только им было под силу открыть ее. Говоря о «силе» муллы, ногайцы не имеют ввиду его богословскую подготовку. «Сила» измерялась мистическими способностями муллы, в частности совладать с разнообразными джиннами.

Йинли молла, кроме совершенного владения арабской грамотой, должен был быть еще и человеком недюжинных способностей. Эти муллы обладали тонким умом, психологическим чутьем, крепкой психикой и смелостью. Считалось, что человек трусливый и со слабой психикой просто не смог бы совладать с множеством своенравных джиннов, с которыми приходилось общаться йинли мулле; ум и психологическое чутье помогали ему совладать с различными по характеру людьми, доставлявшими ему не меньше хлопот. Вообще в народных представлениях соседствующие друг с другом джинны и люди были весьма похожи друг на друга по своему характеру и тем ухищрениям, к которым они порой прибегали. Зачастую наблюдатель мог констатировать, что человек приносит мулле больше хлопот, чем джинн. В качестве примера приведем

случай из жизни, который сохранился в памяти жителей Ногайской степи и передается как анекдот.

В послевоенные годы в одном из аулов на востоке Ногайской степи жил сильный йинли молла по имени Йолакай. Однажды один из жителей села Терекли-Мектеб по имени Эсманбет собрался съездить по делам в тот аул, где жил Йолакай-мулла. Услышав об этом, к нему заявила одна старушка с просьбой доставить мулле несколько тыкв и початков кукурузы из собственного огорода. «Недавно взяла у него молитву – дуа³, она мне очень подошла, помогла выздороветь от хвори. В благодарность за это доставь, пожалуйста, ему эти гостинцы», – просила женщина. Согласившись, Эсманбет, однако, не торопился исполнять своего обещания. Время было послевоенное, всем жилось туго, а тыква и кукуруза вполне могли разнообразить скудное меню караногайца. Как только старушка ушла, гостинцы быстро перекочевали в дом Эсманбета, а его арба отправилась в путь налегке. Однако старушка пришла и в следующий раз, когда Эсманбету понадобилось ехать в аул Йолакай. «Я приболела, попроси, пожалуйста, пусть Йолакай-мулла напишет для меня дуа, – просила она, – а как вознаграждение передай ему вот это». С этими словами старушка загрузила в арбу еще тыквы и кукурузу. Эсманбету понравилось сытно питаться за счет доверчивой женщины, поэтому он и в этот раз не торопился везти гостинцы мулле. Тыква и кукуруза, к удовольствию жены Эсманбета, привычно перекочевали в его дом, а сам он снова поехал в аул Йолакай налегке. Испещрив листок бумаги разнообразными каракулями, он привез его женщине под видом дуа от муллы Йолакай. Каракули не имели ничего общего с арабской письменностью, но, поскольку никто уже не мог знать арабское письмо, подмену заметить было невозможно, тем более подслеповатой старушке. Более того, наслышанный о том, какие инструкции в таких случаях дают муллы, Эсманбет подробно и в красках все разъяснил: какое дуа надо зашить в ткань и носить в качестве амулета, а какое – подержать в воде до растворения чернил и выпить. Старушка, выполнив предписания новоявленного «муллы», и впрямь выздоровела и в третий раз уже поехала сама, чтобы выразить мулле благодарность лично. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что Йолакай ничего не слышал о дуа для нее. «Как же так, ведь тогда-то Эсманбет из нашего аула привез от тебя дуа, что помог мне излечиться», – говорила старушка. Мулла сделал вид, что просто забыл об этом, а через некоторое время вызвал ловкача к себе. «Ты забрал себе то, что передавала для меня такая-то?» – спросил он. Эсманбет, зная крутой нрав йинли молла, не стал отпираться и признался во всем. «Что ж, хорошо, ты все это сделал, ты и заработал то, что забрал себе. Но не думай, что это ты вылечил старушку и больше так не поступай. Это заслуга моих джиннов», – сказал Йолакай и отпустил перепуганного Эсманбета (ПМА 11.10.1995).

Рассказчики обычно заканчивают свое повествование следующим выводом: «Настолько сильно эта старушка верила мулле, что ей помогла даже написанная посторонним человеком “молитва”, даже таким путем воздействовала на нее сила муллы». В данном случае не столь важно было, что написано на бумажке или какие еще меры следовало предпринять больному. Все это в советские годы превратилось в необходимый антураж. Важен же был психологический настрой человека, сила того влияния, которое имел на него йинли молла. Ногайцы это состояние обозначают особым термином – *юрек сынув* (букв. «ломка сердца»).

Успех лечения йинли молла объясняется в народе тем, что люди приходили к ним, бесконечно им доверяя, «сломав свои сердца» (*юреклерин сындырып*). Считалось, что помимо прочего именно в таком случае мулла получает власть над болезнью пациента, т.е. над теми джиннами, которые эту болезнь причинили. «Ломка сердца», скорее всего, была не только главным условием излечения больного, она была еще и главной его причиной. Человек, «сломавший свое сердце», входил в особое психологическое состояние, когда он безоговорочно верил в успех предпринимаемых муллой действий и был полностью уверен в благоприятном исходе лечения. Больной считал, что исцеление происходит исключительно благодаря действиям муллы, и в большинстве случаев эти действия на самом деле приводили к излечению. Чем «сильнее» был, в представлениях ногайцев, йинли молла, тем значительнее было его воздействие на психику больного и тем эффективнее было его лечение.

Наиболее сильные йинли молла лечили на расстоянии, для этого достаточно было воззвать к нему или даже просто упомянуть его имя. Вплоть до начала 1970-х гг. в ауле Кара-Сув Ногайского района действовал Шутий-молла, известный тем, что к нему на прием приезжали даже чеченцы из соседней республики – Чечено-Ингушской АССР. Говорят, что Шутий-молла обо всем знал заранее, часто посетителям даже не приходилось рассказывать о проблемах, о них уже сказали джинны. Нередко, проводя обряд «открывания Книги», Шутий расстраивался и плакал. Когда же люди спрашивали его о причине слез, он отвечал: «Вижу много горя и бед впереди, войны и братоубийство».

Один из рассказов об этом удивительном мулле как раз касается излечения на расстоянии: «Как-то заболел ребенок одного из моих родственников. Что только с ним ни делали, но он плакал, не останавливаясь ни на минуту. Тогда его отец понял, что ребенка постигла болезнь-ушык (*ушынган*), в которой повинны джинны. Взял он ребенка, пошел к автомобилю со словами: “Теперь его надо повезти и показать Шутий-мулле”. Как только было произнесено имя “Шутий”, так сразу ребенок утих и выздоровел» (ПМА 11.10.1995). Эта история – одно из распространенных в исламском мире представлений об излечении на расстоянии. Например, у казахов при тяжелой болезни детей «достаточно было воззвать

к ишану, находившемуся на расстоянии десятков и сотен километров: ишан услышит» (Басилов, Кармышева 1997: 30). В Хадрамауте жители племени ал 'умар б. 'иса ат-таубат обладали способностью лечить змеиные укусы. Оттуда же известны и примеры лечения на расстоянии; для этого «достаточно было укушенному змеей произнести «Воля Аллаха, о 'Умар б. Иса» (*шай лиллах йа 'умар б. 'иса*) или «О род 'Умара б. Исы» (*йал 'умар б. 'иса*), чтобы немедленно исцелиться, даже если он находился на расстоянии десяти дней пути от этого племени» (Французов 1992: 17).

Хотя, как мы выяснили, в практике йинли молла главным было психологическое воздействие, сами они отводили заметное место процедуре «открытия Книги». Скорее всего, это действо также имело целью впечатлить присутствовавшего пациента. Для того чтобы определить, отчего произошла болезнь и как ее лечить, йинли молла прибегал к помощи книги и четок. При гадании ему нужны были имена пациента и его матери. Каждая буква в имени имеет свое числовое выражение, не совпадающее с традиционным числовым значением (например, нун = 2, хотя традиционное числовое значение этой буквы – 50; каф = 9, хотя обычно эта буква означает число 100; мим = 4, хотя обычно она обозначает число 40 и т.д.); сложив эти числа в обоих именах (пациента и его матери), мулла получает число бусин, которые надо отбросить на четках (используются мусульманские четки с 99 бусинами). Затем от оставшихся отбрасывают поочередно еще по 5 бусин, пока не останется 5 или менее бусин. Они и говорят о причине болезни: если осталась 1 бусина, то джинны и прочие причины тут ни при чем, болезнь простая, ее надо лечить обычными средствами (травами, лекарствами и т.д.); 2 бусины – причиной болезни является сглаз; 3 бусины – болезнь наслана путем колдовства и магии; 4 бусины – уже известный нам ушук; 5 бусин – сильно ударил джинн. Затем мулла выясняет, к какому из 12 царств принадлежит джинн, виновный в болезни, а также его имя. Зная имя духа, мулла может «связать» его, принести ему жертву и т.д. В книге имеются образцы молитв для амулетов, с помощью которых можно лечить причиненную духом болезнь, перечислены животные, которых следует приносить в жертву (все расписано до мельчайших деталей: пол, масть животного и т.п.) (ПМА 24.07.1996). Насколько известно, книгу, а также свои способности *йинли молла* обычно передавал по наследству. К сожалению, сведения о процедуре передачи лечебного дара не сохранились.

В последние советские и первые постсоветские годы лечение старыми методами среди ногайцев осуществлял вплоть до своей кончины в 1999 г. имам Янмурза Кожаев. Он также, как и йинли молла советских времен, мог определять, отчего произошла болезнь и как ее лечить. Имам имел власть над джиннами: он распознавал их, «связывал» или изгонял с помощью амулетов, чтения молитв, отчитывания больных. Он рассказывал о том, как во сне однажды боролся с джинном, ударил его

ногой и прогнал, а проснулся от того, что разбил ногой окно. Имя свое Кожаев толковал так: «На самом деле мое имя звучит не Янмурза, а Йинмурза, что означает “князь джиннов”» (ПМА 24.07.1996). Имам рассказывал, что в его роду всегда были подобные муллы, и теперь он тоже хотел бы оставить кому-нибудь свои знания, желательно из своего рода, чтобы не нарушать традицию.

В рукописях имама Кожаева имелась специальная молитва, прочитав которую можно воочию увидеть джиннов и заставить их служить себе, при этом главным условием было отсутствие страха у читающего. Один из учеников имама как-то выпросил эту молитву и ушел с ней в степь. На закате солнца он начал читать ее вслух. По его рассказам, вскоре после начала чтения поднялся жуткий ветер, трава зашелестела, и по ней к чтецу устремились какие-то змееподобные существа. Устрашившись, он прекратил чтение и в спешке покинул это место, после чего все успокоилось (ПМА 12.07.1996). Будь ученик бесстрашным, считает имам, то он, дочитав молитву до конца, смог бы покорить джиннов и заставить их служить себе.

Сравнительный анализ изложенного материала позволяет заключить, что практика ногойских мулл, обладающих джиннами (йин), не выходит за рамки общеисламской традиции, по всей видимости, восходящей к более древним шаманским практикам. Параллели ей можно найти в разных уголках исламского мира. Например, у туркменских ходжей обладание джиннами было фамильным свойством, что напоминает явление наследственного шаманства. Ходжа также при лечении брал специальную книгу, «связанную со звездами», чтобы определить болезнь, при этом он узнавал имя пациента и его отца, по ней же он определял способ лечения болезни и какую жертву надо принести (Басилов 1970: 111). Шаманские корни практики туркменских ходжей убедительно доказал В.Н. Басилов (106–107), при этом нельзя не признать ее глубокой исламизации.

У азербайджанцев подобные люди назывались *джиндарами*. Они обладали книгой, которая представляла собой полный свод литературы о джиннах. Джиндар для гадания, так же как ногойский йинли молла, складывал буквы имени посетителя и его матери, переведенные в цифры. Джинна, виновного в болезни, он находил в одной из 12 групп, на которые делятся духи (Алекперов 1960: 220–221). У ингушей подобные функции выполнял *жинаш тайн стаг* (человек, имеющий связь с джиннами) (Басилов 1971: 123). В Дагестане связь с миром духов (жиндри, чинерар и т.д.) поддерживали *алимы* – муллы, известные своей ученостью (Булатов 1990: 175, 183–185). Подобные обряды с целью установления связи с джиннами проводили египетские муллы. У них ритуал вызывания духов носил название *дарб аль-мандель* (Лэйн 1982: 227–235).

Кстати, у египтян для определения благоприятных периодов в жизни человека применялась астрология. Вычисления при этом велись «путем подсчета числовых эквивалентов букв в именах мужчины или женщины и его или ее матери» (228).

Итоги

Описанные параллели и явные совпадения в некоторых деталях позволяют предполагать их общий источник. Несмотря на явно шаманский характер, практика мулл, претендующих на обладание джиннами, по всей видимости, не отражает чисто национальных реликтов шаманства. Смело можно утверждать, что она восходит к общемусульманской книжной традиции⁴ и схожа у разных народов в силу общности для них арабской грамоты. Другое дело, что эта книжная версия имеет явные корни в архаичных шаманских традициях: наследственность обладания джиннами, особые молитвы для призвания джиннов, способы их изгнания или умиротворения и т.д. Однако попытка найти эти корни в культуре какого-то определенного народа, исповедующего сегодня ислам, не дает результатов. К примеру, если мы сравним детали действий шаманов-*бахшы* с действиями йинли молла, в глаза бросается, прежде всего, их глубокое отличие. В принципе, занимаясь одним и тем же, эти люди принадлежат к двум разным культурам: первые – к тюркской кочевой, а вторые – к книжной арабо-мусульманской.

Иными словами, книжная версия шаманства (представлений о связях с джиннами определенных мулл), распространившаяся среди последователей ислама, представляет собой результат окончательной исламизации древних шаманских традиций. Благодаря общности культовой письменности и языка эта версия, сложившаяся в результате включения в мусульманские представления шаманских элементов, проникла в духовную культуру разных народов исламского мира, вытеснив местные реликты шаманства. Получается, что феномен йинли молла в ногайской духовной культуре возник благодаря включению ногайцев в систему арабо-мусульманской культуры. Тем интереснее, что это явление оказалось одним из элементов так называемого советского ислама, получив шанс на широкое распространение в атеистическую эпоху, когда были подавлены многие классические исламские институты. Дальнейшее изучение ислама в СССР может привести нас к множеству открытий и пониманию глубоких корней различных исламских институтов.

Примечания

¹ Азан – мусульманский призыв на молитву. Его также читают младенцу во время специального обряда, чтобы он привык к звукам призыва на молитву и был примерным мусульманином.

² Талкын – особое наставление, с которым во время похорон мулла обращается к покойнику. Талкын содержит своего рода инструкцию, как следует отвечать ангелам Мункару и Накиру, которые сразу после погребения являются к покойному, оживляют его и устраивают допрос.

³ Дуа – многозначное слово, обозначающее в первую очередь обращение с мольбой к Всевышнему. У ногайцев в советские годы этим словом обозначались также обшитые тканью трех- или четырехугольные куски бумаги, на которых муллы писали заклинания от джиннов или от сглаза.

⁴ Причем в этой традиции очень часто вообще не упоминаются духи. Нередко в книгах и пособиях описываются варианты манипуляций с числовым значением имен пациентов или просто предлагаются молитвенные формулы с использованием цифр, цифрового выражения имени Бога или коранических аятов. Практикующие этот способ лечения люди подчеркивают то, что он совершенно не противоречит принципам ислама: «Понятно, что лечебное воздействие исходит не от куска бумаги или начертанных на ней чисел и символов. Такие представления не только ошибочны, но и опасны, ибо преуменьшают исключительность Бога. Только Всемогущий Аллах и Он один задумал, создал и дал нам эти формулы, и только лишь с Его Позволения они могут оказывать влияние на человеческие дела» (Шейх Хаким Моинуддин Чишти 2001: 158).

Список источников

- Абашии С.Н. Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- Алекперов А.К. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана. Баку, 1960.
- Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе: Илим, 1972.
- Бабаева Н.С. Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности (конец XIX – начало XX в.). Душанбе, 1993.
- Басилов В.Н. Култ святых в исламе. М.: Мысль, 1970.
- Басилов В.Н. Пережитки колдовства у ингушей // Итоги полевых работ Института этнографии в 1970 г. М., 1971. С. 122–129.
- Басилов В.Н., Кармышева Дж.Х. Ислам у казахов (до 1917 г.). М., 1997.
- Бобровников В.О. Ислам и советское наследие в колхозах Северо-Западного Дагестана // Этнографическое обозрение. 1997. № 5. С. 132–142.
- Бобровников В.О. Шариатские суды и правовой плюрализм в советском Дагестане // Этнографическое обозрение. 2001. № 3. С. 77–91.
- Булатов А.О. Пережитки домонотеистических верований народов Дагестана в XIX – начале XX в. Махачкала, 1990.
- Гаджиев Г.А. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. М.: Наука, 1991.
- Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987.
- Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975.
- Керейтов Р.Х. Некоторые реликты доисламских верований у ногайцев // Проблемы атеистического воспитания в условиях Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979. С. 104–110.
- Лавров Л.И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. Труды Института этнографии. Т. 51. М., 1959. С. 193–236.
- Лэйн Э.У. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX в. М., 1982.
- Очерки истории арабской культуры V–XV вв. М., 1982.
- Полевые материалы автора (ПМА). с. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан, Кожаяв Янмурза Аллаярович, 7.05.1996.
- ПМА, с. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан, Кожаяв Янмурза Аллаярович, 24.07.1996.

- ПМА, с. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан, Джумакаев Абдырай Абдулжалилович, 11.10.1995.
- ПМА, с. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан, Кошекбаев Мурад Курманалиевич, 12.07.1996.
- Тайжанов К., Исмаилов Х. Особенности доисламских верований у узбеков-карамуртов // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986. С. 110–138.
- Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX – нач. XX в.). Алма-Ата, 1991.
- Французов С.А. Суеверия и колдовские обряды в Южной Аравии XIII–XV вв. (Абйан, Хадрамаут, аш-Шихр, Зофар) // Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии. М., 1992. С. 7–19.
- Шейх Хаким Моинуддин Чичити. Суфийское целительство. СПб.: Диля, 2001.
- Abashin S. Shaykhs of the Sacred Mountain: A Local History of Soviet Islam // Muslim Religious Authority in Central Eurasia / ed. by R. Sela, P. Sartori, D. DeWeese. Brill, 2023. P. 227–242.
- Allah's Kolkhozes. Migration, De-Stalinisation, Privatisation, and the New Muslim Congregations in the Soviet Realm (1950s–2000s). Stéphane A. Dudoignon, Christian Noack (Eds.). KS, Klaus Schwarz Verlag, 2014.
- Bennigsen A., Lemerrier-Quelguy C. Islam in the Soviet Union. London; New York, 1967.
- Bennigsen A., Broxup M. The Islamic Threat to the Soviet State. London, 1983.
- Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet Empire: A Guide. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1986.
- Kemper M. Studying Islam in the Soviet Union. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2009.
- Ro'i Y. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London: Hurst & Company, 2000.

References

- Abashin S.N. (2015) *Sovetskii kishlak. Mezhdru kolonializmom i modernizatsiiei* [Soviet kishlak. Between colonialism and modernization]. Moscow, Novoe literaturnoe obozreniie.
- Alekperov A.K. (1960) *Issledovaniia po arkheologii i etnografii Azerbaidzhana* [Studies in the Archaeology and Ethnography of Azerbaijan]. Baku.
- Bayalieva T.D. (1972) *Doislamskii verovaniia i ikh perezhitki u kirgizov* [Pre-Islamic beliefs and their remnants among the Kyrgyz]. Frunze, Ilim.
- Babaeva N.S. (1993) *Drevniie verovaniia gornyykh tadzhikov Iuzhnogo Tadzhikistana v pokhoronno-pominal'noi obriadnosti (konets 19 – nachalo 20 v.)* [The Ancient Beliefs of the Mountain Tajiks of Southern Tajikistan in Funeral and Memorial Rituals (Late 19th – Early 20th Century)]. Dushanbe.
- Basilov V.N. (1970) *Kul't sviatykh v islame* [The Cult of Saints in Islam]. Moscow, Mysl'.
- Basilov V.N. (1971) *Perezhitki koldovstva u ingushei* [Remnants of Witchcraft among the Ingush], *Itogi polevykh rabot Instituta etnografii v 1970 g.* [Results of fieldwork of the Institute of Ethnography in 1970.], Moscow, pp. 122–129.
- Basilov V.N., Karmysheva Dzh.Kh. (1997) *Islam u kazakhov (do 1917 g.)* [Islam among the Kazakhs (before 1917)]. Moscow.
- Bobrovnikov V.O. (1997) *Islam i sovetskoie nasledie v kolkhozakh Severo-Zapadnogo Dagestana* [Islam and the Soviet Legacy in the Collective Farms of Northwest Dagestan], *Etnograficheskoe obozreniie*, 5, pp. 132–142.
- Bobrovnikov V.O. (2001) *Shariatskie sudy i pravovoi pliuralizm v sovetskom Dagestane* [Sharia Courts and Legal Pluralism in Soviet Dagestan], *Etnograficheskoe obozreniie*, 3, pp. 77–91.

- Bulatov A.O. (1990) *Perezhitki domonoteisticheskikh verovanii narodov Dagestana v 19 – nachale 20 v.* [Survivals of the pre-monotheistic beliefs of the peoples of Dagestan in the 19th and early 20th centuries]. Makhachkala.
- Gadzhiev G.A. (1991) *Doislamskiye verovaniia i obriady narodov Nagornogo Dagestana* (Pre-Islamic Beliefs and Rituals of the Peoples of the Mountain Dagestan). Moscow, Nauka.
- Galdanova G.R. (1987) *Dolamaistskiye verovaniia buriat* [Pre-Lamaist Beliefs of the Buryats]. Novosibirsk.
- Domusul'manskiye verovaniia i obriady v Srednei Azii* [Pre-Muslim Beliefs and Rites in Central Asia]. Moscow, 1975.
- Kereytov R.Kh. (1979) Nekotorye relikty doislamskikh verovanii u nogaitsev [Some relics of pre-Islamic beliefs among the Nogai], *Problemy ateisticheskogo vospitaniia v usloviakh Karachaevo-Cherkessii* [Problems of Atheistic Education in Karachay-Cherkessia]. Cherkessk, pp. 104–110.
- Lavrov L.I. (1959) Doislamskiye verovaniia adygeitsev i kabardintsev [Pre-Islamic beliefs of Adygeans and Kabardins], *Issledovaniia i materialy po voprosam pervobytnykh religioznykh verovanii – Trudy In-ta etnografii* [Studies and materials on primitive religious beliefs - Proceedings of the Institute of Ethnography], Vol. 51, Moscow, pp. 193–236.
- Lane E.W. (1982) *Nravy i obychai egiptian v pervoi polovine 19 v.* [Mores and customs of the Egyptians in the first half of the 19th century]. Moscow.
- Ocherki istorii arabskoi kul'tury 5 – 15 vv.* [Essays on the History of Arabic Culture in the 5th – 15th Centuries]. Moscow, 1982.
- PMA (Author's Field Materials). Terekli-Mekteb, Nogai district of the Republic of Dagestan, Kozhaev Yanmurza Allayarovich, 7.05.1996.
- PMA, Terekli-Mekteb, Nogai district of the Republic of Dagestan, Kozhaev Yanmurza Allayarovich, 24.07.1996.
- PMA, Terekli-Mekteb, Nogai district of the Republic of Dagestan, Dzhumakaev Abdyray Abdulzhalilovich, 11.10.1995.
- PMA, Terekli-Mekteb, Nogai district of the Republic of Dagestan, Koshebaev Murad Kurmanalievich, 12.07.1996.
- Tayzhanov K., Ismailov Kh. (1986) Osobennosti doislamskikh verovanii u uzbekov-karamurtov [Peculiarities of pre-Islamic beliefs among Karamurt Uzbeks], *Drevniie obriady, verovaniia i kul'ty narodov Srednei Azii* [Ancient Rites, Beliefs and Cults of the Peoples of Central Asia], Moscow, pp. 110–138.
- Toleubaiev A.T. (1991) *Relikty doislamskikh verovanii v semeinoi obriadnosti kazakhov (19 – nach. 20 v.)* [Relics of pre-Islamic beliefs in the family rituals of the Kazakhs (19th – early 20th centuries)]. Alma-Ata.
- Frantsuzov S.A. (1992) Suieveriia i koldovskie obriady v Iuzhnoi Aravii 13 – 15 vv. (Abian, Khadramaut, ash-Shikhr, Zofar) [Superstitions and Witchcraft Rites in Southern Arabia, XIII–XV centuries (Abyan, Hadramawt, al-Shihr, Zofar)], *Traditsionnoie mirovozzrenie u narodov Perednei Azii* [The Traditional Worldview of the Peoples of West Asia], Moscow, pp. 7–19.
- Sheikh Khakim Moinuddin Chishti (2001) *Sufiiskoie tselitel'stvo* [Sufi Healing]. Saint-Petersburg, Dilia.
- Abashin S. (2023) Shaykhs of the Sacred Mountain: A Local History of Soviet Islam. In: *Muslim Religious Authority in Central Eurasia* / Ed.by R. Sela, P. Sartori, D. DeWeese. Brill, pp. 227–242.
- Allah's Kolkhozes: Migration, De-Stalinisation, Privatisation, and the New Muslim Congregations in the Soviet Realm (1950s–2000s)*. Stéphane A. Dudoignon, Christian Noack (Eds.). KS, Klaus Schwarz Verlag, 2014.
- Bennigsen A., Lemerrier-Quelguy C. (1967) *Islam in the Soviet Union*. London, New York.
- Bennigsen A., Broxup M. (1983) *The Islamic Threat to the Soviet State*. London.
- Bennigsen A., Wimbush S. (1986) *Muslims of the Soviet Empire: A Guide*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Kemper M. (2009) *Studying Islam in the Soviet Union*. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

Ro'i Y. (2000) *Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev*. London: Hurst & Company.

Сведения об авторе:

ЯРЛЫКАПОВ Ахмет Аминович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России (Москва, Россия). E-mail: a.yarlykapov@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Akhmet A. Yarlykapov, MGIMO-University (Moscow, Russian Federation). E-mail: a.yarlykapov@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 01 сентября 2023 г.;
принята к публикации 01 марта 2024 г.*

*The article was submitted 01.09.2023;
accepted for publication 01.03.2024.*

АНТРОПОЛОГИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

(отв. редактор специальной темы номера Д.А. Функ)

Научная статья
УДК 001.11
doi: 10.17223/2312461X/43/7

Антропология в условиях неопределенности. Размышления о динамике и статике научного творчества

Дмитрий Анатольевич Функ

*Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия,
d_funk@iea.ras.ru*

Аннотация. Во вводной статье автор рассказывает о появлении идеи обращения к теме антропологии неопределенности на страницах журнала, рассуждает о феномене неопределенности, предлагая – с позиций антропологии – исходить из того, что этот феномен в жизни человечества является своего рода нормой, что существенно меняет оптику антропологических исследований, ставит ряд исследовательских вопросов, остающихся пока вне поля зрения антропологов, а также представляет статьи, вошедшие в данную подборку.

Ключевые слова: антропология неопределенности, неопределенность и риск, научное творчество, академическое сообщество

Для цитирования: Функ Д.А. Антропология в условиях неопределенности. Размышления о динамике и статике научного творчества // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 106–111. doi: 10.17223/2312461X/43/7

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/7

Anthropology in Uncertain Conditions. Thoughts on the Dynamics and Statics of Scientific Creativity

Dmitriy A. Funk

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russian Federation, d_funk@iea.ras.ru

Abstract. In the introductory article, the author talks about the emergence of the idea of addressing the topic of anthropology of uncertainty on the pages of the journal and discusses the phenomenon of uncertainty, suggesting — from the standpoint of anthropology — to proceed from the fact that this phenomenon in the life of mankind is a kind of norm, which significantly changes the optics of anthropological research, raises a number of research questions that remain out of the sight of anthropologists, and also presents the articles included in this collection.

Keywords: anthropology of uncertainty, uncertainty and risk, scientific creativity, academic community

For citation: Funk, D.A. (2024) Anthropology in Uncertain Conditions. Thoughts on the Dynamics and Statics of Scientific Creativity. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp.106–111 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/7

Предлагаемая вниманию читателей подборка статей родилась после обсуждения одноименной с названием этого предисловия секции «Антропология в условиях неопределенности. Размышления о динамике и статике научного творчества» на XV конгрессе антропологов и этнологов России, проходившем в Санкт-Петербурге в 2023 г. Там предполагалось и отчасти удалось обсудить трансформацию привычных способов организации научного поиска и традиционных моделей интеллектуального диалога в периоды социальных кризисов, модели преодоления эффектов неопределенности и (или) адаптации к ним в антропологическом сообществе, проблемы, связанные с изменением пространственных (и временных) характеристик научного быта, быстрым обновлением исследовательского поля, сменой специализации, интенсивным дискурсивным освоением жизненных миров и конструированием особой социокультурной реальности нашими профессиональными сообществами в условиях неопределенности в связи с угрозами природных и техногенных катастроф, масштабных пандемий, изменяющейся природной среды, климата, инфраструктуры, нестабильности привычных практик, темпов жизни, нарастающей скорости изменений на глобальном и локальном уровнях, включая общую неуверенность в наличии работы, работы в той или иной стране, условий этой работы. Особый акцент в обсуждениях был сделан на характерной для последних лет подвижности научной инфраструктуры, новых вариантах «маршрутизации» современного социогуманитарного знания (потоков знания), а также на изменении динамики маршрутов исследователей в буквальном смысле (а также мотивации этой динамики), позволяющих полнее раскрыть специфику творчества антропологов в условиях неопределенности. Все это представляется значимым и при этом, к сожалению, мало-, если вообще хоть как-то, отрефлексированным в научном сообществе и совершенно не включенным в какие бы то ни было антропологические дискурсы.

Перед тем как охарактеризовать публикуемые здесь статьи, позволю себе немного порассуждать о предмете исследования и некоторых базовых понятиях.

История нашей науки во многом может быть представлена в терминах меньшей или большей наблюдательности и соответствующего языка исследователей. Мы видели и описывали культуры такими, какие их описывали старожилы, которым их собственное прошлое казалось чуть

ли не идеальным и, дополню, очень устраивающим нас, поскольку стандартизированное, типичное, прошлое легче было описывать, да к тому же мы тогда думали о культурах «братьев наших меньших» как о чем-то, что, в принципе, можно описать и типологизировать. Мы фиксировали лучшие образцы фольклора. Мы фиксировали идеальный в своей полноте язык только от тех, кто свободно владел им. Мы фиксировали «норму» всего, на что падал наш взгляд, неважно, реальную «норму» или же кем-то изобретенную – порой изобретаемую прямо здесь и сейчас, причем описывая увиденное на совершенно отличном от нынешнего языке (период до «речевой мутации», используя фразеологию Мишеля Фуко). Суммируя, мы имеем право сказать, что антропологическая теория обычно отдавала предпочтение закономерностям повседневной жизни, уделяя меньшее внимание нерегулярным событиям, которые нарушают социальный порядок. Может быть, именно поэтому всякий раз вдруг замеченное исключение (не отброшенное в сторону как искажение «нормы», а принятое в качестве таковой) вело к расширению нашего кругозора, углублению представлений о культуре и порой к рождению целых направлений в антропологии. Так, из замечаний Широкогова об автономности шамана рождалось современное аналитическое шамановедение, а из близких по сути, но более генерализованных наблюдений Пайка появлялись представления об эмик- и этик-подходах. И так же из наблюдений Сводеша над жизнью малоиспользуемых языков рождался призыв к описанию процесса их смерти, что, на мой взгляд, в конечном итоге и привело к идее фиксации языков такими, какие они есть, т.е. к идеям корпусной лингвистики. Близкая идея лежала и в основе такого направления, как этноархеология, или живая археология, которая во многом есть попытка понять то, как живет культура на всем протяжении своей жизни, включая и то, как она исчезает или умирает.

В случае с неопределенностью с позиций антропологии я предлагаю исходить из того, что этот феномен жизни человечества и есть норма. Это, мне кажется, гарантированно позволит нам не вычленять в наблюдаемом лишь один вариант чего бы то ни было, а видеть целую палитру исходных (исходных ли?) данных или ситуаций, аналитических процессов в головах у людей, помноженных на их культурные привычки/традиции, многообразие мотиваций и целый веер потенциальных результатов, практически каждый из которых может и – что важно и, я бы сказал, привычно понятно для этнографов – обязательно будет (не)принят и объяснен на языке данной культуры (пусть и по-разному в устах разных информантов).

А если так, то и наши размышления об антропологии в условиях неопределенности – ведь, согласитесь, мы не знаем даже того, что будет с нашей наукой завтра – надо строить на этой простой мысли: антрополо-

гия как научная дисциплина всегда существовала в условиях неопределенности. А наши взаимоотношения с властными структурами и любыми иными социальными акторами, включая налогоплательщиков, делали и делают эти условия еще более неопределенными. История нашей дисциплины в России/СССР наглядно это подтверждает.

На каком факультете будут открыты и будут ли вообще открыты профильные кафедры? Сколько выделяют мест для учащихся? Будет ли издаваться профильная литература на доступном для учащихся языке? Будет ли достаточное число преподавателей на кафедре, для которых литература на английском (я напомним, что как раньше, так и сейчас порядка 95% всей антропологической литературы публикуется на английском языке) не является препятствием для ее прочтения? Чему, по какой программе и как/насколько хорошо будут учить студентов эти люди? Будут ли государство и бизнес нуждаться в тех, кого мы готовим? Насколько активна и глубока будет цензура и самоцензура? Мы все чаще начинаем подбирать не только слова для выражения своих мыслей в «приемлемой» (для кого?) форме, но и темы исследования, которые могут быть, а могут и не быть «согласованы», и думаем о возможных рисках.

Кстати, о риске. Терминов, так или иначе связанных с феноменом неопределенности, довольно много. Это неопределенность, непредсказуемость, неуверенность и даже риск. Если мы обратимся к риску, то обнаружим, что антропологические рассуждения об этом феномене имеют довольно продолжительную историю. Во многом появлению целой серии именно антропологических работ в этом направлении положил пионерный труд Мэри Дуглас и Аарона Вилдавски «Риск и культура» (Douglas, Wildavsky 1982), хотя зачатки систематических изысканий в отношении рисков, скажем, для Англии «в ужасающем окружающем мире» можно усмотреть еще в трудах ученых викторианской поры. Не вдаваясь в детали обширных дебатов, скажу, что риск в большей степени связывается с попытками просчета последствий и выбором наиболее оптимального сценария поведения или даже с монетизацией последствий (что хорошо известно тем, кто занимается оценками социального воздействия). В целом, это очень важный концепт и феномен как таковой, но все же риск не есть то, что мы понимаем под неопределенностью, иначе говоря, под непредсказуемостью – как условием бытия, по сути дела, – всего, что имеет место в нашем мире.

Значимым в теоретическом плане представляется относительно недавно предложенное в антропологии смещение угла зрения и языка описания от контроля рисков к менеджменту неопределенности (Samimian-Darash, Rabinow 2015). Мне представляется, что это дает возможность пристальнее всмотреться в академические вариации поведения в ситуациях социальной неопределенности и управления таковыми, в многооб-

разие этих академических вариаций – от институциональных до индивидуальных. Впрочем, здесь пока проще рассуждать о мотивации выбора или невыбора регионов, тем и методов исследования, языка описания, публикационных и грантовых практик, чем о таких защитных практиках, как заявления о лояльности, доносы, вариации на тему «культуры отмены» и прочее, что уже давно является частью академических моделей поведения.

В представленных в нашей подборке статьях затрагивается лишь небольшая часть обозначенных выше тем в рамках проблемного поля неопределенности.

Значимый для современной науки в целом сюжет, связанный с анализом набирающего популярность ChatGPT и появившихся в связи с этим дискуссий о возможном негативном влиянии практик использования генеративной модели на научное творчество, стал предметом рассмотрения в статье А.В. Голубинской. Путем сравнения двух наборов информации об отражении ценности современной науки при использовании ChatGPT автор приходит к выводу о том, что описание проблемной ситуации меняется в зависимости от выбранной перспективы (они-ученые или я-ученый), и делает вполне обоснованный вывод: «этос научного сообщества не единичен, поскольку само научное сообщество не состоит из одних ученых, и тревожные опасения возникают как реакция на изменение механизмов доверия между такими под-этосами».

Ф.В. Николаи и А.Н. Маслов представили основанные на анализе значительного объема зарубежной и отечественной литературы размышления о различии темпоральных границ в исторической реконструкции и в reenactment studies. Авторы полагают, что если в первом случае видно стремление прояснить границы между прошлым и настоящим, то во втором (с характерным ослаблением когнитивного компонента и подчинением его популярной культуре, с преобладанием аффективного отыгрыша над рефлексивной проработкой прошлого) – использовать и эстетически обыграть неопределенность этих границ.

В третьей статье (М.А. Мочалова) подборки рассматривается сибирский кейс, а именно процесс накопления знаний о сообществах коренных народов Таймыра и формирования музейных коллекций в первые послереволюционные десятилетия. Автор обратила внимание на то, каким образом через музеефикацию предметов культуры народов Севера реализовывалась идея ухода от неопределенности жизни «отсталых» северян к их интеграции в «передовую» и предсказуемую (я бы сказал, поддающуюся государственному контролю) советскую культуру, и детально разобрала этот процесс на своем материале.

Представленные здесь тексты, безусловно, в некоторой мере демонстрируют познавательные возможности оптики антропологии неопределенности, но при этом они также свидетельствуют о том, что такого рода

исследования – во всяком случае, на нашем поле – это лишь введение в обозначенную проблематику, и что работ в данном направлении может быть существенно больше. Позволю себе напомнить высказанную выше мысль: неопределенность есть норма человеческой жизни. Так что для антропологии с ее фокусом на человеке обозначенные нами подходы могут оказаться весьма продуктивными.

References

- Douglas M., Wildavsky A. (1982) *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkeley: University of California Press.
Samimian-Darash, L., Rabinow P. (eds). (2015) *Modes of Uncertainty: Anthropological Cases*. University of Chicago Press.

Сведения об авторе:

ФУНК Дмитрий Анатольевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией социокультурной антропологии Московского государственного лингвистического университета (Москва, Россия). E-mail: d_funk@iea.ras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Dmitriy A. Funk, Moscow State Linguistic University (Moscow, Russian Federation). E-mail: d_funk@iea.ras.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 01 февраля 2024 г.;
принята к публикации 01 марта 2024 г.*

*The article was submitted 01.02.2024;
accepted for publication 01.03.2024.*

Научная статья
УДК 001
doi: 10.17223/2312461X/43/8

Что бы сделал Роберт Мёртон, если бы у него был ChatGPT?

Анастасия Валерьевна Голубинская

*Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия, golub@unn.ru*

Аннотация. В 2023 г. ChatGPT стал предметом множества дискуссий, в частности о возможном негативном влиянии практик использования генеративной модели на научное творчество. Рассматривается предположение, что подобные тревожные опасения связаны не с самой технологией, а с тем, как она раскрывает, делает заметными неявные культурные и ценностные аспекты культуры. В качестве теоретической основы изучения скрытых ценностных механизмов науки предлагается концепция научного этоса Р. Мёртона. Однако, в отличие от оригинальной концепции, автор предполагает, что ценностные установки варьируются в зависимости от того, проявляются ли они в формальных дискуссиях или неформальных, исходят ли они от самих ученых в процессе их профессиональной практики или от других участников, влияющих на их практику.

Исследование построено на сравнении двух наборов информации о том, как использование ChatGPT отражает ценности современной науки: формальные и официальные источники, описывающие деятельность ученых от «третьего лица» (они-ученые), и неформальные сообщения, обсуждаемые и комментируемые в онлайн-сообществах академических работников (я-ученый / мы-ученые). Обнаружено, что описание проблемной ситуации меняется в зависимости от выбранной перспективы. Пессимистичные и тревожные прогнозы об «утрате человеческого вклада» не характерны для перспективы «от первого лица», где через ChatGPT выражается потребность в дискуссии по узкоспециализированной теме и желание сосредоточиться на содержании научной деятельности, сэкономив время на формальных задачах (грамматика, пунктуация, перевод на иностранный язык). Это подводит к заключению, что этос научного сообщества не единичен, поскольку само научное сообщество не состоит из одних ученых, и тревожные опасения возникают как реакция на изменение механизмов доверия между такими под-этосами.

Ключевые слова: ChatGPT, научный этос, нормы этоса, научное творчество, научная идентичность, научные ценности

Благодарности: работа выполнена в рамках НИР Н-490-99_2021-2023 «Образы будущего и креативные практики: антропологический анализ социального проектирования и научного творчества в условиях неопределенности» на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»).

Для цитирования: Голубинская А.В. Что бы сделал Роберт Мёртон, если бы у него был ChatGPT? // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 112–124. doi: 10.17223/2312461X/43/8

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/8

What Would Robert Merton Do if He Had ChatGPT?

Anastasia V. Golubinskaya

*Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod,
Russian Federation, golub@unn.ru*

Abstract. In 2023, ChatGPT became the subject of many discussions, particularly about the potential negative impact of generative model usage practices on scientific creativity. This article explores the assumption that such alarming concerns are not related to the technology itself, but to how it reveals and makes noticeable the implicit cultural and value aspects of culture. The concept of R. Merton's scientific ethos is proposed as a theoretical basis for studying hidden value mechanisms in science. However, unlike the original concept, the author assumes that value orientations vary depending on whether they manifest in formal or informal discussions, whether they come from the scientists themselves during their professional practice or from other participants influencing their practice.

The study is based on comparing two sets of information about how the use of ChatGPT reflects the values of modern science: formal and official sources describing the activities of scientists from a third-person perspective ("they, scientists"), and informal messages discussed and commented on in online communities of academic workers ("I, scientist / we, scientists"). It was found that the description of the problem situation changes depending on the chosen perspective. Pessimistic and anxious forecasts about the "loss of human contribution" are not characteristic of the "first-person" perspective, where through ChatGPT there is a need for discussion on a specialized topic and a desire to focus on the content of scientific activity, saving time on formal tasks (grammar, punctuation, translation into a foreign language). This leads to the conclusion that the ethos of the scientific community is not singular, as the scientific community itself does not consist solely of scientists, and alarming fears arise as a reaction to changes in trust mechanisms between such sub-ethoses.

Keywords: ChatGPT, scientific ethos, ethos norms, scientific creativity, scientific identity, scientific values

Acknowledgements: The work was funded by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Strategic Academic Leadership Program "Priority 2030") within the framework of the research 490-99_2021-2023 "Images of the Future and creative practices: an anthropological analysis of social design and scientific creativity in conditions of uncertainty" on the basis of Lobachevsky Nizhny Novgorod State University.

For citation: Golubinskaya, A.V. (2024) What Would Robert Merton Do if He Had ChatGPT? *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 112–124. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/8

Введение

Далеко не каждое технологическое новшество влечет за собой серьезные изменения в культуре, мышлении и организации общественной

жизни. В 2023 г. одной из самых обсуждаемых тем стала модель ChatGPT, которая запрограммирована на понимание смысла запроса пользователя и генерирование ответов в виде текста, изображений, музыки, видео. Данная модель может поддерживать беседу, генерировать рассказы и эссе по указанным параметрам, решать задания по математике, создавать описания товаров, стихи и тексты песен, составлять юридические документы, сайты, код и многое другое. Но если в начале года инновация стала предметом обширных дебатов о возможном влиянии искусственного интеллекта на культуру, то к концу лета энтузиазм заметно утих. Те из нас, кто имел возможность поработать с ChatGPT, получили возможность убедиться, что мы готовились к чему-то большему, что об искусственном интеллекте говорить пока преждевременно, а инструментальная эффективность модели сильно преувеличена в СМИ. Тем не менее тревожная реакция разных сообществ в сфере образования, науки, искусства все же просигнализировала о чем-то, что, вероятно, связано не с технологией как таковой, а с тем, как она раскрывает неявные детали механизма организации нашей культуры. В каждой сфере такие детали и механизмы будут разными. В данной статье речь пойдет только об одной из таких сфер – о научном творчестве.

Этос как «культурный компонент» науки

Какие механизмы являются скрытыми, но принципиально важными для науки? Ответ на этот вопрос в XX в. дал американский социолог Роберт Мёртон: дело не только в том, как организован институт науки, но еще и в системе ценностей и установок, которым негласно следует каждый ученый. Эти установки составляют этос науки. Термин «этос» с античных времен служил для обозначения нематериального, культурного капитала группы людей и включал нравы, характеры, темперамент, традиции. Мёртон дает ему более точное описание: этос – «это эмоционально окрашенный комплекс правил, предписаний, нравов, представлений, ценностей и допущений, которые считаются обязательными для ученого» (Мёртон 2006: 755). Этос – это «культурный компонент» науки, «правила игры», а также готовность человека вносить интеллектуальные и эмоциональные инвестиции в установленный этими правилами образ жизни (755–757). Поскольку это довольно известная концепция, ограничимся кратким описанием. Согласно Мёртону, содержание научного этоса сводится к четырем принципам: коллективизм, универсализм, бескорыстность и организованный скептицизм (сокращенно в англоязычной литературе – CUDOS).

Мёртоновский образ науки был скопирован в главных чертах с немецких университетов второй половины XIX в., и вопрос о том, явля-

ется ли он фиксацией реальных свойств научного сообщества или идеализацией, остается открытым. Датский историк Л. Кох и вовсе отмечает, что «ни немецкие, ни западные ученые не соответствовали чрезмерно идеалистическим нормам CUDOS в том виде, в каком их сформулировал Мёртон» (Koch 2002: 173). Сегодня же существует огромное количество литературы, посвященной фактам разрушения норм и установлению новой структуры научного этоса (Radder 2010; Bray 2017; Kim 2018). Одно из последних решений – концепция новых академических норм, которую ее автор, Б. Макфарлэйн, сокращенно (и иронично) назвал DECAF (от англ. decay – распад) (Macfarlane 2023). Буквы аббревиатуры указывают на:

- дифференциализм (отказ от универсальных ценностей и признание зависимости научного знания от культурных контекстов);
- эгоизм (обязанность повышать свою цитируемость, наукометрические индексы);
- академический капитализм (следствие превращения независимых исследований в нефинансируемые, а результатов исследования – в публикации; общая коммерциализация научного любопытства);
- адвокацию, лоббирование, пропаганду (обязательство ученого решать острые социальные и экономические проблемы мира, встраивать результаты своего труда в некую общую программу экономического или политического развития).

Б. Макфарлэйн показывает, что на каждую мёртоновскую норму существует контр-норма, например, бескорыстности противостоят спонсорские исследования, предвзятые источники финансирования со стороны частных и государственных фондов и т.д. Но дело не в том, какие именно принципы сформулировал Мёртон и какие из них важны для современной культуры, а в том, что он указал на существование этих самых норм, что позволяет нам пересматривать содержание концепции, при этом оставаясь в рамках этой самой концепции.

Мы разделяем позицию Д. Келогга, который хоть и провозглашает «крах мёртоновских норм» в научной практике, все же отводит им принципиально важное место в системе коллективных представлений. Он пишет: «...мы все еще склонны предполагать, что наука следует мёртоновским принципам – или следовала бы, если бы социальные факторы не продолжали мешать» (Kellogg 2006: 6). То, что результаты научного творчества должны быть открытыми, непредвзятыми, проверенными, вряд ли можно назвать спорными утверждениями, это общепринятая точка зрения о том, какой мы надеемся видеть науку. Любой ученый и по сей день разделяет эти нормы в том смысле, что на вопрос «должны ли ученые придерживаться коллективизма, универсализма, бескорыстности и организованного скептицизма?» ответит положительно. Другое

дело – получить ответ на вопрос «придерживается ли наука этих установок фактически?». Таким образом, Д. Келогг разделяет нормы, описывающие практику науки, и нормы, описывающие ее идеалы. Из научного этоса нельзя исключить ни первое, ни второе, хотя в оригинальной концепции Мёртона эти две системы не разделены.

Другое важное замечание касается структуры науки как социального института. Мёртон описал коллективизм как установку на циркуляцию научной информации внутри сообщества. Однако нормы и ценности, которые регулируют эту циркуляцию, отнюдь не нормы и ценности одних только ученых, но также и других акторов, например, административных, редакционных, спонсорских. Результаты научного творчества, конечно, исходят только от ученых, но, учитывая сетевой характер института науки, нормы и ценностные установки могут отличаться в зависимости от того, артикулируются ли они от первого лица (мы-ученые) или от третьего (они-ученые).

Два рассмотренных замечания ведут к общему предположению: то, как артикулируются ценности и установки науки, зависит от того, проявляются ли они в формальных дискуссиях или неформальных, исходят ли они от самих ученых в процессе их профессиональной практики или от других участников, влияющих на их практику. С такой точки зрения тревожные реакции научного (здесь – в широком смысле, включающем разных акторов) сообщества на изменения в организации собственной деятельности, в том числе на новые инструменты и технологии, можно представить как конфликт практики и ценностей, определяющих эту практику.

ChatGPT и научное творчество: перспектива от третьего лица

Как было сказано ранее, опасения относительно использования ChatGPT в науке породили множество новых дискуссий о неопределенностях, связанных с невозможностью предсказать последствия от изменения элементов привычного нам механизма научного творчества. Если говорить о том, как они отражены в академических публикациях, то основная часть обсуждаемых рисков связана с трансформацией культуры научной публикации. К примеру: «...использование ChatGPT влечет распространение низкокачественных работ и разрушение доверия в академическом сообществе, ведет к обесцениванию навыков экспертизы, необходимых для производства качественных публикаций» (Curtis 2023: 275); «ChatGPT наводит панику в таких процессах, как выдача исследовательских грантов, обсуждение новых направлений исследований и написание исследовательских рукописей» (Yatoo, Nabib 2023: 310).

В самых крайних формах эти опасения звучат так: развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что потребность в человеческих

ученых попросту упадет. Подобная риторика характерна не только для науки, опасения об изменениях на рынке труда из-за развития технологий машинного обучения в целом широко известны. Однако в этой точке зрения скрывается одна довольно интересная черта современного понимания науки вообще. Если мы согласны, что ChatGPT влечет риски «утраты человеческого» в научном творчестве, то мы соглашаемся с тем, что ChatGPT способен выполнять все процедуры, составляющие суть научного творчества (т.е. способен заменить человека полностью). Если же мы соглашаемся, что такие риски исходят от программ для анализа данных и установления корреляций, не означает ли это, что мы сводим деятельность ученого исключительно к анализу данных и установления корреляций? Это провокационное заключение, но оно позволяет сформулировать важный вопрос о том, из чего состоит современное научное знание и какую роль в современном научном этосе играют данные.

Наука как форма знания всегда отдавала предпочтение рациональности и построению теории. В отличие от научного мышления, ChatGPT и аналогичные продукты, а точнее мышление, стоящее за ними, приравнивают знание не к пониманию, а к корреляциям и укрепляют веру в то, что если мы соберем достаточно данных и обладаем достаточной вычислительной мощностью, то мы можем «создать» авторитетное знание. Знание через корреляцию – это главное обещание больших данных и технологий искусственного интеллекта: при наличии достаточного количества данных и вычислительной мощности компьютер может определить корреляции, которые будут говорить сами за себя, никакой теории не требуется.

Все это характеризует науку с позиций датизма. Датизм – это установка, основанная на утверждении, что корреляция данных может отражать общество через нейтральные и объективные факты, а задача ученых здесь состоит, по существу, в том, чтобы «выявить» эти факты и описать их нейтральным языком, без нормативных оценок. Большие данные меняют определение научного знания, и с позиций датизма ученого действительно можно заменить программой наподобие ChatGPT, поскольку машина может сопоставлять данные и описывать результаты быстрее и эффективнее, чем ученый-человек. Но позиция датизма вряд ли найдет поддержку среди самих ученых, поскольку никакое (тем более общественно-научное) знание не является абсолютно объективным, нейтральным и деконтекстуализируемым. Ю. Харари отмечает, что современная вера в данные обретает религиозный характер (Harari 2016, 2017), и хочется согласиться с тем, что датизм – не характеристика научного творчества, а выражение обывательской веры в науку.

Наиболее реалистичным сценарием, рассмотренным в вышеприведенных отрывках, будет такой: в процессе подготовки статьи ученый не занимается сравнением литературы, а получает готовый обзор, перечень

тем дебатов, поиск становится одноэтапным и подменяется получением готового ответа. Обязательно ли это должно быть проблемой? На сегодняшний день ChatGPT печально известен способностью «выдумывать» фальшивые журнальные статьи и библиографические ссылки, которые состоят из визуально правдоподобных компонентов. Д. Мишра отмечает, что у наивного (малокомпетентного) автора может возникнуть соблазн использовать ChatGPT для написания обзорных статей (Misra, Chandwar 2023), но такие статьи будут иметь высокий риск плагиата и низкий уровень достоверности. Предположим, что эти недостатки будут исправлены по мере совершенствования технологии и ChatGPT научится не имитировать, а составлять корректные библиографические описания. Что тогда? С одной стороны, глобальные традиции производства научных публикаций заключаются в том, что подготовка обзора истории проблемы и современного состояния исследований – это такие же результаты, как описание экспериментальных методов и выводов. Хорошее исследование – одновременно и разработанное, и оригинальное. С другой стороны, известное понятие научного метода не говорит многого о культуре поиска информации. Это связано не столько с качеством исследования, сколько с его социальной легитимацией (актуальность, новизна, состояние проблемы – все то, что призвано ускорить экспертную оценку и выразить то, что Макфарлэйн назвал адвокацией). Научная статья в силу своего жанра добавляет в науку немного новое, но это немного требует упаковки в размер оригинального труда.

Приведенные рассуждения можно сформулировать в виде вопросов, о необходимости ответа на которые указывают тревожные высказывания о ChatGPT. Вопросы о роли данных в структуре современного научного знания, об ожиданиях общественности от науки можно назвать философскими и глобальными. Они характеризуют не столько этос, сколько среду, внутри которой этот этос формируется. Вопросы о распределении ответственности в гибридных эпистемических системах, об особенностях научного текста (публикации) как артефакте научного этоса, напротив, напрямую связаны с этосом. Какие функции мы призываем накладывать на публикации, отражающие научные исследования, помимо презентации самих результатов? Читаем ли мы тексты, которые создаем? Всегда ли мы создаем тексты для того, чтобы их читали? О том, что без надлежащего контроля ученые, применяющие ChatGPT, оказываются в зоне риска, высказались многие авторы. Одни считают, что исследователям следует с осторожностью использовать ChatGPT в академических исследованиях, поэтому необходимо установить правила и рекомендации для надлежащего использования (Rahman 2023). Другие отмечают, что во время тщательного процесса проверки эксперты пропускают около 30% некорректных тезисов, сфабрикованных ChatGPT, сгенерированный текст является серьезной проблемой для рецензентов и

редакторов, а потому запрет на такой контент должен стать стандартом политики научных публикаций (Zheng, Zhan 2023). При этом упускается из виду очевидный вопрос – заметили бы эксперты эти неточности, будь они созданы человеком? Как именно источник утверждения влияет на правдоподобность факта и работу эксперта? Такие комментарии, во-первых, указывают на возможность исследования этоса рецензентов и редакторов отдельно от общего этоса мира науки, что выходит за рамки данной статьи. Во-вторых, что более важно для наших целей, подобные высказывания «пересобирают» образ ученого, и этот образ нельзя назвать образцовым: он обращается к ChatGPT, чтобы избавиться от части своей работы, не способен или не желает отследить ошибки, что затрудняет работу экспертов, оценивающих публикацию или принимающих решение о выдаче исследовательских грантов.

ChatGPT и научное творчество: перспектива от первого лица

Насколько точно обнаруженные представления описывают практики использования ChatGPT учеными? Чтобы уточнить этот вопрос, мы проанализировали сообщения в профессиональных онлайн-сообществах научных и академических работников и сообществе, посвященном обсуждению ChatGPT, в социальной сети Reddit.

В первую очередь, то, что интересует научных работников в применении технологии, – это возможность качественной (т.е. неколичественной) оценки текста. Например:

Это только я, или все мы используем ChatGPT как мотивационный стимул? Должен признаться, что иногда я немного сомневаюсь в себе и своей работе. В настоящее время я пишу исследовательскую работу, и когда я чувствую себя неуверенно, я загружаю в ChatGPT абзац, который я только что написал, и спрашиваю его мнение о научных стандартах и т.д., и программа обычно очень воодушевляет и мотивирует, а иногда говорит мне, как именно улучшить текст

Matt_tokyo, 15.06. r/ChatGPT

https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/14acrdl/chatgpt_really_helps_if_you_have_self_doubt_while

Если я пишу текст на тему вроде «Анализ маркетингового комплекса любого продукта по вашему выбору», я планирую потратить час или два на ChatGPT, задавая различные вопросы. Часто программа говорит что-то, что заставляет меня подумать: «О, это хорошая идея. Я должен рассмотреть и этот момент». Я не копирую и вставляю, я просто записываю пункты и создаю структуру своего эссе. Это академический проступок или можно продолжать это делать?

Snoo32297, май 2023, r/UniUK

https://www.reddit.com/r/UniUK/comments/127wk0d/can_i_use_chatgpt_to_get_ideas_and_inspiration

Второе обращение оставлено в сообществе академиков Соединенного Королевства. Пользователь спрашивает коллег, считают ли они беседу с

ChatGPT академическим проступком, и комментаторы склонны отвечать отрицательно (не является проступком). Однако дискуссионность задачи говорит о растерянности даже опытных академиков перед этическими аспектами проблемы.

Наиболее иллюстративной можно назвать серию из двух сообщений от одного и того же пользователя (упомянутый во втором отрывке ScholarAI – это надстройка для ChatGPT, для обучения которой используются преимущественно академические публикации).

Я начал разговор с ChatGPT о своем диссертационном исследовании и был действительно впечатлен его способностью обобщать исследования и литературу в моей области, а также устанавливать связи и понимать, в чем заключается мой собственный вклад. Я был особенно впечатлен тем, как в нашем коротком разговоре программа начала узнавать о моих научных интересах и видах эмпирических работ, которые я просматривал в поддержку своей точки зрения, и начала адаптировать свои ответы к моим конкретным потребностям

havenyahon, май 2023, r/ChatGPT

https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/13rzy8b/best_solution_for_academic_researcher

На данный момент как аспирант я считаю ScholarAI скорее помехой, чем полезным инструментом. Проблема в том, что во многих случаях это не будет очень глубоким или интересным ответом. Поэтому иногда ответ, который я получаю, лишен какой-либо глубины или технической информации

havenyahon, июнь 2023, r/ChatGPT

https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/13yat4o/comment/jmlyrj2/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Представленные сообщения довольно много говорят об ожиданиях научных сотрудников, связанных с возможностью обсуждения результатов своих исследований, но последние два говорят и о динамике этих ожиданий: ChatGPT не оправдал надежд, которые автор сформировал на ранних стадиях использования программы. Если на основании этих и аналогичных сообщений в социальных сетях высказать предположения о научном этосе ученых «от первого лица», то они никак не связаны с опасениями, озвученными перспективой «от третьего лица». Первое, что бросается в глаза, – это нехватка экспертной коммуникации. Трудности организации экспертного диалога являются закономерным продолжением разделения и специализации научных исследований. Уникальный набор знаний и навыков, которые определяются узкой областью научных интересов, создает определенные препятствия для взаимодействия между учеными даже в пределах одной дисциплины, каждый из них имеет свой собственный «язык», методологию и подход к описанию, обсуждению и решению проблем. На практике ChatGPT стал не инструментом реализации научных исследований, чего опасаются рецензенты и редакторы, а инструментом для рефлексии ученого над исследуемой проблемой.

Обзор различных отчетов о применении ChatGPT в профессиональной деятельности ученых приводит к заключению, что наибольшую инструментальную ценность программа несет для выполнения не содержательных, а формальных задач. В первую очередь это касается возможности отредактировать, отшлифовать уже написанный текст.

Я обычно использую программу, чтобы переписать то, что написал, особенно когда чувствую, что звучу недостаточно умно.

Nejimakidori48, март 2023, r/PhD

<https://www.reddit.com/r/PhD/comments/127f9wv/comment/jeen5j3>

Как исследователь, не являющийся носителем английского языка, я использую программу во всех текстах, которые пишу. Либо просто прошу его перевести с моего языка на английский (программа делает это намного лучше, чем Google-переводчик), либо прошу улучшить англоязычный текст, который я написал. Я понял, что буду гораздо более продуктивным, если просто пропущу попытки сделать язык лучше и сосредоточусь на содержании.

Dry-Airport-369, февраль 2023, r/AskAcademia

<https://www.reddit.com/r/AskAcademia/comments/11n0rhz/comment/jbqrhshi>

Из авторов двух представленных комментариев один пишет диссертацию в Японии, другой является носителем шведского языка. Прочие комментаторы приводят другие примеры того, в чем ChatGPT оказывает им поддержку: составление биографий, формальных электронных писем, англоязычных аннотаций (для иноязычных авторов). Таким образом, к желанию получить непредвзятые мнения и участвовать в дискуссии узко по своей теме можно добавить желание сосредоточиться на содержании научной деятельности, сэкономив время на выполнении формальных, не связанных непосредственно с наукой задач.

ChatGPT показывает, что нарратив о науке, развивающийся за пределами научного сообщества, действительно отличается от нарративов, складывающихся внутри этого сообщества. Институты, административные работники, организаторы научных конференций, издатели видят в ChatGPT источник важных изменений, которые разрушают доверие. Обратим внимание на то, что в таких рассуждениях разрушение доверия сверху вниз – как доверие редакции, принимающей решение о публикации, к авторам публикаций. Сообщения, взятые из социальной сети, показывают, что этот процесс может двигаться и снизу вверх: вместо того чтобы заботиться о содержании научных дискуссий, авторы чувствуют себя загруженными вторичными задачами, в результате чего доверие к издательствам, вера в их приверженность общим ценностям ослабевает.

Заключение

В 2013 г. Аннет Маркхэм спросила: «Что бы сделал Малиновский, если бы у него был интернет?» Такие вопросы, несомненно, способствуют раскрытию некоторых скрытых рамок, которые формируют наш

взгляд (Markham 2013). Если мы верим, что ChatGPT имеет инструментальную ценность для анализа современного научного этоса, то можно предложить похожий вопрос: что бы сделал Роберт Мёртон, если бы у него был ChatGPT? Как бы изменилась его концепция, если бы он имел доступ к процессам, которые мы наблюдаем сегодня в рамках дискуссий о влиянии ChatGPT на научное творчество? Возможно, он бы учел эти наблюдения и сделал совсем другие выводы. Например, что научное сообщество на самом деле состоит не только из ученых, но и из огромного числа людей разных профессий, разного вида деятельности. Обладают ли они идентичными ценностными установками? Вероятно, что нет. Мертон говорил о представителях научного сообщества как носителях особой социальной идентичности, а идентичность всегда формируется через дихотомию «мы–они». Пример с ChatGPT показывает, что научное сообщество имеет не один этос, а этосы во множественном числе, или под-этосы, суб-этосы.

Разные перспективы приводят к совершенно разным заключениям. Позиция, представленная в официальных академических изданиях, и пессимизм, характерный для перспективы от «третьего лица», совершенно не отражены в том, что работники научной сферы обсуждают в неформальных беседах и в их практически экзистенциальных поисках собеседника. Оптимистическая позиция исходит из того, что в конечном итоге опасения приведут к созданию более сильного теста на компетентность. Таким образом, опасения, предостережения, а также надежды, высказываемые относительно влияния ChatGPT на культуру, в частности на науку, – повод для обсуждения не самой технологии, а наших ожиданий от нее.

Список источников

- Мёртон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006.
- Bray D., von Storch H. The normative orientations of climate scientists // *Science and Engineering Ethics*. 2017. No. 23 (5). P. 1351–1367. doi: 10.1007/s11948-014-9605-1
- Curtis N. To ChatGPT or not to ChatGPT? The impact of artificial intelligence on academic publishing // *The Pediatric Infectious Disease Journal*. 2023. No. 42 (4) P. 275. doi: 10.1097/INF.0000000000003852
- Harari Y.N. *Homo Deus: A brief history of tomorrow*. London: Penguin Random House, 2016.
- Harari Y.N. Dataism is our new god // *New Perspectives Quarterly*. 2017. No. 34 (2). P. 36–43.
- Kellogg D. Towards a post-academic science policy: Scientific communication and the collapse of the Mertonian norms // *International Journal of Communications Law and Policy*. Special Issue: Access to Knowledge. 2006. No. 6. P. 1–29.
- Kim S.Y., Kim Y. The ethos of science and its correlates: An empirical analysis of scientists' endorsement of Mertonian norms // *Science, Technology and Society*. 2018. No. 23(1). P. 1–24.
- Koch L. The ethos of science // *Scandinavian Journal of History*. 2002. No. 27(3). P. 167–173. doi: 10.1080/03468750260258536
- Macfarlane B. The DECAY of Merton's scientific norms and the new academic ethos // *Oxford Review of Education*. 2023. P. 1–16. doi: 10.1080/03054985.2023.2243814

- Markham A. Fieldwork in social media: What would Malinowski do? // *Journal of Qualitative Communication Research*. 2013. No. 2 (4). P. 434–446. doi: 10.1525/qcr.2013.2.4.434
- Misra D.P., Chandwar K. ChatGPT, artificial intelligence and scientific writing: What authors, peer reviewers and editors should know? // *Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh*. 2023. No. 53 (2). P. 14782715231181023. doi: 10.1177/14782715231181023
- Radder H. Mertonian values, scientific norms, and the commodification of academic research // *The commodification of academic research. Science and the modern university*. University of Pittsburgh Press, 2010. P. 231–258.
- Rahman M., Terano H.J.R., Rahman N., Salamzadeh A., Rahaman S. ChatGPT and Academic Research: A Review and Recommendations Based on Practical Examples // *Journal of Education, Management and Development Studies*. 2023. No. 3 (1). P. 1–12. doi: 10.52631/jemds.v3i1.175
- Yatoo M.A., Habib F. ChatGPT, a friend or a foe? // *MRS Bulletin*. 2023. No. 48. P. 310–313. doi: .1557/s43577-023-00520-9
- Zheng H., Zhan H. ChatGPT in scientific writing: a cautionary tale // *The American Journal of Medicine*. 2023. No. 136(8). P. 725–726. doi: 10.1016/j.amjmed.2023.02.011

References

- Bray D., von Storch H. (2017). The normative orientations of climate scientists. *Science and Engineering Ethics*, no. 23(5), pp. 1351–1367. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9605-1>
- Curtis N. (2023) To ChatGPT or not to ChatGPT? The impact of artificial intelligence on academic publishing. *The Pediatric Infectious Disease Journal*, no. 42(4), pp. 275. <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003852>
- Harari Y.N. (2016) *Homo Deus: A brief history of tomorrow*. London: Penguin Random House.
- Harari Y.N. (2017) Dataism is our new god. *New Perspectives Quarterly*, no. 34 (2), pp. 36–43.
- Kellogg D. (2006) Towards a post-academic science policy: Scientific communication and the collapse of the Mertonian norms. *International Journal of Communications Law and Policy. Special Issue: Access to Knowledge*, no. 6, pp. 1–29.
- Kim S.Y., Kim Y. (2018) The ethos of science and its correlates: An empirical analysis of scientists' endorsement of Mertonian norms. *Science, Technology and Society*, no. 23(1), pp. 1–24.
- Koch L. (2002) The ethos of science. *Scandinavian Journal of History*, no. 27(3), pp. 167–173. <https://doi.org/10.1080/03468750260258536>
- Macfarlane B. (2023) The DECAY of Merton's scientific norms and the new academic ethos. *Oxford Review of Education*, pp. 1–16. <https://doi.org/10.1080/03054985.2023.2243814>
- Markham A. (2013) Fieldwork in social media: What would Malinowski do? *Journal of Qualitative Communication Research*, no. 2(4), pp. 434–446. <https://doi.org/10.1525/qcr.2013.2.4.434>
- Merton R. (2006) *Social'naja teorija i social'naja struktura* [Social theory and Social structure]. Moscow: AST. (In Russian)
- Misra D.P., Chandwar K. (2023) ChatGPT, artificial intelligence and scientific writing: What authors, peer reviewers and editors should know? *Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh*, no. 53(2), pp. 14782715231181023. <https://doi.org/10.1177/14782715231181023>
- Radder H. (2010) Mertonian values, scientific norms, and the commodification of academic research. *The commodification of academic research. Science and the modern university*. University of Pittsburgh Press, pp. 231–258.
- Rahman M., Terano H.J.R., Rahman N., Salamzadeh A., Rahaman S. (2023) ChatGPT and Academic Research: A Review and Recommendations Based on Practical Examples. *Journal of Education, Management and Development Studies*, no. 3(1), pp. 1–12. <https://doi.org/10.52631/jemds.v3i1.175>

Yatoo M.A., Habib F. (2023) ChatGPT, a friend or a foe? *MRS Bulletin*, no. 48, pp. 310–313. <https://doi.org/10.1557/s43577-023-00520-9>

Zheng H., Zhan H. (2023) ChatGPT in scientific writing: a cautionary tale. *The American Journal of Medicine*, no. 136(8), pp. 725–726. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2023.02.011>

Сведения об авторе:

ГОЛУБИНСКАЯ Анастасия Валерьевна – кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории социальной антропологии, доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия). E-mail: golub@unn.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Anastasia V. Golubinskaya, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: golub@unn.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 ноября 2023 г.;
принята к публикации 20 января 2024 г.*

*The article was submitted 14.11.2023;
accepted for publication 20.01.2024.*

Научная статья
УДК 930.1; 316.7
doi: 10.17223/2312461X/43/9

Неопределенность темпоральных границ в исследованиях исторической реконструкции

Фёдор Владимирович Николаи¹
Артём Николаевич Маслов²

^{1, 2} *Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия*
¹ *fynik@list.ru*
² *maslovartem@yandex.ru*

Аннотация. Рассматривается формирующееся направление исследований исторической реконструкции (reenactment studies). Анализируются три ключевые составляющие реконструкции: политическая, культурная и когнитивная. Доказывается, что последняя крайне слабо отрефлексирована в reenactment studies, которые заимствуют из популярной культуры сглаживание любых оппозиций, включая противопоставление «высокого» и «низкого», «профессиональной» науки и «популярного» мнения, что нивелирует статус академической экспертизы и делает ненужным когнитивный компонент. Именно слабая востребованность когнитивной составляющей в сочетании с игровым характером популярной культуры порождает неопределенность темпоральных границ и в самой исторической реконструкции, и в reenactment studies, максимально уравнивающих исследователя с участниками реконструкторских практик. Далее проводится сравнительный анализ методологических установок исследований реконструкции и memory studies. Основной тезис состоит в доказательстве разнонаправленности их темпоральных установок: memory studies стремятся прояснить границы между прошлым и настоящим, а исследования реконструкции – использовать и эстетически обыграть их неопределенность.

Ключевые слова: исследования реконструкции, темпоральность, культурная идентичность, исследования памяти, анахронизм

Благодарности: работа выполнена в рамках НИР Н-490-99_2021–2023 «Образы будущего и креативные практики: антропологический анализ социального проектирования и научного творчества в условиях неопределенности» на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»).

Для цитирования: Николаи Ф.В., Маслов А.Н. Неопределенность темпоральных границ в исследованиях исторической реконструкции // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 125–138. doi: 10.17223/2312461X/43/9

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/9

The Uncertainty of Temporal Boundaries in Reenactment Studies

Feodor V. Nikolai¹,
Artem N. Maslov²

^{1,2} Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

¹ fvnik@list.ru

² maslovartem@yandex.ru

Abstract. The article examines the emerging field of reenactment studies. Three key components of reenactment are analyzed: the political, cultural and cognitive. It is proved that the latter is extremely poorly reflected in reenactment studies, which borrow from popular culture the leveling of any oppositions, including the opposition of “high” and “low”, “professional” science and “popular” opinion. It is the weak demand for the cognitive component, combined with the playful nature of popular culture, that determines the uncertainty of temporal boundaries both in historical reconstruction itself and in reenactment studies, which maximally equate the researcher with participants in reconstruction practices. Next, a comparative analysis of the methodological settings of reconstruction and memory studies is carried out. The main thesis of the article is to prove the multidirectionality of their temporal settings: memory studies seek to clarify the boundaries between past and present, and reenactment studies seek to use and aesthetically play up their uncertainty.

Keywords: reenactment studies, temporality, cultural identity, memory studies, anachronism

Acknowledgements: The research was carried out within the project “Images of Future and Creative Practices: Anthropological Analysis of Social Design and Scholar Creativity under Uncertainty” at Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (theme No. H-490-99_2021–2023) with financial support of Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Strategic Academic Leadership Program “Priority 2030”).

For citation: Nikolai, F.V. & Maslov, A.N. (2024) The Uncertainty of Temporal Boundaries in Reenactment Studies. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 125–138. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/9

В современной историографии активно развиваются несколько направлений, находящихся на стыке с относительно давно сложившимися *memory studies*: «живая история», исследования культурного наследия и реконструкции (англ. *reenactment studies*) (Мочалова 2020; Репина 2021; Колесник, Русанов 2022). Академические историки часто пытаются выступать модераторами многочисленных дискуссий в этой среде. Однако далеко не всегда их усилия находят отклик среди тех сообществ, культурные практики которых обладают крайне высокой степенью аффективной вовлеченности.

В данной статье мы рассмотрим две взаимосвязанные линии различий между исследованиями памяти и реконструкции: когнитивную и темпоральную. На наш взгляд, когнитивная установка на осмысление

опыта прошлого в *memory studies* играет гораздо более значимую роль, тогда как в исследованиях реконструкции она менее отрефлексирована. Кроме того, для исследований памяти принципиально важен вопрос о темпоральной дистанции между прошлым и настоящим, тогда как исследования реконструкции эстетически обыгрывают их относительность и неопределенность.

Прежде чем перейти к содержательному анализу, отметим, что само понятие реконструкции (англ. *reenactment*) по-разному рассматривается в современных гуманитарных и исторических исследованиях (Historical Reenactment 2010). Нас, однако, будут интересовать не различие практик реконструкции, но *исследования* реконструкции как форма интеллектуальной активности на стыке академической сферы и популярной культуры. Поскольку исследования реконструкции в России лишь начинают развиваться, первая часть статьи будет посвящена обозначению их основных направлений и проблемам типологизации, обсуждаемым в зарубежной историографии. Во второй части речь пойдет о сравнительном анализе собственно темпоральных установок, характерных для *reenactment* и *memory studies*.

Три измерения исторической реконструкции: политическое, культурное и когнитивное

Как уже было отмечено выше, в отечественной историографии исследования исторической реконструкции крайне немногочисленны (Клюев, Свешников 2018, 2019). В их центре чаще оказываются медиевальные сюжеты, а сам анализ проводится скорее в социально-антропологическом ключе – с опорой на полуформализованные интервью участников движения и их дискурсивный анализ. Теоретические выводы при этом уступают место «плотному описанию», а диахронический анализ – синхроническому. Такой подход радикально отличается от бурно развивающихся за рубежом (главным образом, англоязычных) штудий, акцентирующих значимость теоретической проблематизации феномена реконструкции и критического анализа основных векторов ее развития в эпоху модерна¹. При этом на первый план часто продвигается *политический компонент* – формирование воображаемого сообщества участников и зрителей исторических реконструкций.

Эта политическая составляющая, по наблюдению профессора Ванессы Эгнью, была важна на протяжении всего нового времени (Agnew 2019) – начиная с реконструкций битвы при Блэкхите «круглоголовыми» Кромвеля в 1645 г. в условиях гражданской войны. Ее прагматический заряд определялся стремлением повлиять на общественное мнение, увеличение набора рекрутов, обучение новобранцев на героических примерах их предшественников и повышение боевого духа армии (как и в военных лагерях Уорли 1778 г. и Коксхите 1779 г., где с участием армии

также разыгрывались реконструкции). Важность этих задач в эпоху модерна была связана с постепенным переходом от сословных армий «старого режима» к современным, построенным на всеобщей воинской повинности и идее гражданского равенства. Использование реконструкций (вместе с историческим романом, прессой и музеем, о которых писал Б. Андерсон) становится одним из инструментов конструирования национальной идентичности как противопоставления «своих» и «чужих». Особенно ярко национальная общность проявлялась в реконструкциях колониальных конфликтов с ориентализированными «другими», например, битвы с индейцами при Литл-Бигхорне (1876) в США или боя британских войск с зулусами в Роркс-Дрифт (1879). Другой важной составляющей такого рода реконструкций было забвение прежних политических различий между разными частями нации (например, Севером и Югом в рамках Гражданской войны в США) через валоризацию фронтовой повседневности.

Во второй половине XX в. Гражданская война в США стала центральной точкой интереса реконструкторов, фестивали которых собирали до 10 млн зрителей в год. Однако в начале XXI в. они стали вызывать гораздо меньше интереса у публики: так, в 2018 г. эти реконструкции посетило лишь 3,1 млн зрителей, т.е. аудитория сократилась примерно на 70% (Amster 2016). Это падение интереса можно объяснить в том числе своеобразной гибридизацией национальной идентичности – соединением ее с иными формами культурного опыта. Антрополог Мэтью Амстер обращает внимание на социальный состав участников реконструкций, подавляющее большинство которых – белые мужчины из низшего и среднего-низшего класса. Для них символика национального единства и мотивы «фронтового братства» предполагают борьбу за повышение своего социального статуса, пусть даже ценой частичной маргинализации других (женщин и представителей других национальных сообществ).

В этих условиях трансформации прежних политических идентичностей все большую важность для исследований реконструкции приобретает *культурный компонент*. Саймон Дьюринг, Ян Маккалман и Пол Пикеринг рассматривают возникновение реконструкции как неотъемлемую часть эстетики реализма, формирующегося еще в конце XVIII в. и в разных формах сохранившегося в различных медиа – от литературы и портретной живописи до фотографии и кинематографа позднего модерна. С этой точки зрения, для исторической реконструкции принципиально важна взаимосвязь четырех компонентов:

- связь с практиками коммеморации (подтверждающими реальность и важность прошлого для социальной группы);
- мимесис как ролевое отыгрывание или аффективное повторение прошлого, детально воспроизводимого на микроуровне;

– эмоциональный коллективный перформанс – коллективное действие, меняющее настоящее и формирующее новые социальные связи и идентичности;

– специфическое представление о философии истории – обособленности событий прошлого, которые можно «изъять» из контекста своего времени, сохранив при этом специфику исторического опыта (During 2010: 182).

Внимание к культурной сфере преобладает в англоязычных исследованиях реконструкции. Активная роль медиа, стремительно менявшихся на протяжении модерна, настолько важна, что К. Лэмб даже предлагает классифицировать все поле исследований реконструкций, опираясь на медиа, с которыми они работают: телевизионные шоу, фильмы, театральные перформансы и т.д. (Lamb 2009: 137). Однако такая классификация неизбежно нарушается совмещением разных медиа во многих реконструкторских проектах.

Например, Кристиан Виум использует реконструкцию при возвращении фотоархивов жителям верховий Амазонки для «разузнавания империализма» (Vium 2023: 55). Его проект предполагает передачу копий снимков Альберта Фриша 1867 г. потомкам изображенных на них представителей коренной народности Бразилии Кайшана и реконструкцию изображенных на фото действий после небольших театральных перформансов. Важно отметить, что этот проект включает и социально-политическую составляющую, поскольку пытается привлечь общественное внимание к требованиям возвращения земель, отобранных у локальных сообществ европейскими переселенцами XX в. То есть культурный компонент ни в коем случае не стоит противопоставлять политическому. Бренда Верт рассматривает посвященные Фолеклендской войне и политики постпамяти в Аргентине перформансы, спектакли и фильмы аргентинского режиссера Лолы Ариас, которые невозможно рассматривать как разные виды реконструкции: их объединяют общий сюжет, мизансцены и социальные установки (Wettrh 2023).

Предельно актуальным исследованием реконструкции в кинематографе представляется работа Чарли Бурмана и Бориса Нурденбоса «Насилие, травма и реконструкция в документальном кино», посвященная сравнению документального фильма «Акт убийства» (Д. Оппенхаймер, 2012) и анимационных проектов «Вальс с Баширом» (А. Фольман, 2008) и «Исчезнувшее изображение» (Р. Панх, 2013) (Voerman, Noordenbos 2023), реконструирующих позицию палачей, свидетелей и жертв массового насилия в Индонезии, Израиле и Камбодже. Д. Оппенхаймер пригласил гангстеров из «эскадронов смерти», которые в 1965–1966 гг. уничтожали коммунистов в Индонезии, вспомнить молодость и снять об этом кино. Анимационный фильм А. Фольмана посвящен ре-

конструкции его собственных (полностью вытесненных из памяти) воспоминаний о войне в Ливане 1982 г., а проект Р. Панха – гибели его семьи во время диктатуры красных кхмеров 1975–1979 гг. Главный тезис авторов данного исследования – Ч. Бурмана и Б. Нурденбоса – состоит в том, что любая реконструкция проблематизирует границы документального и художественного, пограничного опыта (который крайне трудно выразить) и конвенционального нарратива, прошлого и настоящего. Реконструкция трудных событий прошлого показывает невозможность тотального рационального контроля над историей и важность их культурной проработки. «Зритель начинает понимать, что линейный хронологический нарратив – это не просто нейтральное описание, но скорее попытка (лишь отчасти успешная) связать между собой и установить контроль над тревожными событиями, проработать их, противостоять неконтролируемому анахронизму отыгрывания» (Boerman, Noordenbos 2023: 311). Документальный фильм (в том числе анимационный) становится важным посредником, позволяющим согласовать и выстроить баланс между эмоциями и суждением, телесным опытом и когнитивными схемами его анализа.

В этом контексте важно обозначить третье – *когнитивное* – измерение исторической реконструкции, перспективы которого считаются весьма ограниченными в современных западных *reenactment studies*. Наиболее ярким и известным его примером может служить путешествие Тура Хейердала на плоту Кон-Тики из Латинской Америки в Полинезию 1947 г. и фильм Олле Нордемара, который был сделан в ходе этого путешествия и получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм в 1952 г. Это путешествие было призвано показать не просто направление заселения Полинезии, но и эффективность ремесла, а также познавательных навыков людей прошлого.

Ярче всего когнитивное измерение исторической реконструкции артикулировано в «Идее истории» Р.Дж. Коллингвуда, который в главе «История как реконструкция опыта прошлого» отмечает, что вся история как наука строится на реконструкции логики людей прошлого и их восприятии причинно-следственных связей. То есть реконструкция важна не только для популярной культуры, но и для академической историографии. Именно принцип единства человеческого опыта делает возможным воспроизведение идей прошлого в сознании историка: «Познать мыслительную деятельность другого возможно, только предположив, что эта же самая деятельность может быть произведена в нашем собственном сознании. В этом смысле знать, “что думает другой” (или же “думал”), включает продумывание его мысли самим. Для того чтобы вообще мыслить об этой прошедшей деятельности мышления, я должен оживить ее в своем сознании, ибо акт мышления может анализироваться

только как акт. <...> Историческое знание – это тот особый случай памяти, когда объектом мысли настоящего оказывается мысль прошлого, а пропасть между настоящим и прошедшим заполняется не только способностью мысли настоящего думать о прошлом, но и способностью мысли прошлого возрождаться в настоящем» (Коллингвуд 1980: 275, 280). Точность такой реконструкции во многом зависит от степени погруженности в интеллектуальный контекст, без учета которого история превращается в «историческое воображение». Более того, именно историческая реконструкция у Коллингвуда соединяет мышление и поступок, которые и определяют историческое *знание* как интеллектуальную активность, не сводимую к механическому перечислению экономических факторов или статистики.

Идеи Р.Дж. Коллингвуда развивает Уильям Дрей в своей работе «История как реконструкция: идея истории Р.Дж. Коллингвуда» (Dray 1995). Исследователь отмечает, что концепция реконструкции важна не только для посмертно изданной «Идеи истории», но для всех работ Коллингвуда, начиная с 1920-х гг. Еще сильнее связывая реконструкцию с процедурой объяснения, Дрей стремится преодолеть существенный дисбаланс между пониманием и объяснением, которые активно обсуждались в аналитической философии истории 1950-х гг. В этом смысле важно подчеркнуть, что категория опыта в теоретической историографии 2000-х гг. (у Ф. Анкерсмита, М. Джея, Д. Лакапра) сохраняет свои связи с идеями Коллингвуда и Дрея, но когнитивный элемент исторической реконструкции вытесняется в 2000-е гг. вниманием к популярной культуре и медиа.

Исследования реконструкции и *memory studies*: отличия темпоральных установок

Ряд современных российских исследователей рассматривают исследования реконструкции как часть широкого поля *memory studies* и «мемориальной культуры». Согласно этой точке зрения, «культурно-историческая реконструкция представляет собой отдельное направление мемориальной культуры», а «коммеморативные практики культурной реконструкции построены на культурно-исторической рефлексии времени (темпоральности) и осуществляются в контексте истории культуры, где важнейшим элементом выступает память, транслирующая аксиологические ряды, смыслы от поколения к поколению» (Божок 2013; Ярская-Смирнова, Божок, Зайцев 2020: 14). Показательно, что при таком подходе речь идет об «инверсии времени» в исторической реконструкции: «Инверсия времени раскрывает оценочную модификацию, взаимопроникновение прошлого, настоящего и будущего. <...> Прошлое как модус времени есть единственный материал для памяти, саморефлексии. При этом будущее втягивает в себя содержание прошлого и оживляет его»

(Ярская 2011: 20). Такое сближение исторической реконструкции и практик коммеморации предполагает их косвенное противопоставление академической историографии, ориентированной исключительно на прошлое, стремящейся избежать анахронизма и не работающей с будущим.

Согласиться с подобным подходом сложно по нескольким причинам. Так же, как различные направления историографии существенно отличаются в методологическом плане, не менее серьезными представляются отличия теоретических установок исследований реконструкции и *memory studies*.

Во-первых, для *memory studies* принципиально важен этический императив, предполагающий выстраивание границ между позициями жертв предельных исторически событий XX в., их сторонних наблюдателей и потомков (Margalit 2004). Эта этическая дистанция оказывается напрямую связана с признанием ограниченности нарратива и признанием травматических проблем репрезентации пограничного опыта (Мороз, Суверина 2014; Шнирельман 2021, 2023) – например, выживания в нацистских лагерях уничтожения или опыта жертв различных геноцидов. Для исследований же реконструкции значение имеют скорее эстетические приемы репрезентации, даже когда речь идет о проблематике геноцида, как в фильме Дж. Оппенхаймера «Акт убийства» (Boerman, Noordenbos 2023).

Во-вторых, исследования памяти ориентированы на рефлексивность субъекта, который задается вопросом о социально-культурных механизмах своей взаимосвязи с прошлым, а исследования реконструкции обращают внимание скорее на вещи в их материальности (при этом, впрочем, как убедительно показывает Марк Ауслэндер, эмоционально и эстетически сконструированное представление об «аутентичности» вещей не подвергается критической рефлексии²).

В-третьих, исследования памяти ориентированы на нарративы, в основе которых лежат рациональные суждения, соотносящие между собой политические, культурные и когнитивные установки. Исследования реконструкции эти установки используют, но ключевую роль в них играет аффективное отыгрывание, предполагающее слабую рефлексивность игровых практик и ограниченность суждений, которые подчиняются эмоциям и эстетическому опыту. Неразрывно связанные с игровой культурой, практики реконструкции всегда предполагают значительный элемент неопределенности – как по отношению к конкретному результату, так и ко времени целому.

Наконец, четвертым и, возможно, ключевым отличием исследований памяти и реконструкции представляется их отношение ко времени. Для исследований памяти это крайне важная проблема, оказывающаяся в центре размышлений А. Ассман, Ш. Каттаго, П. Рикера и многих других

ученых (Ассман 2017; Николаи 2020). В исследованиях, посвященных реконструкции, проблематика времени, напротив, обсуждается крайне редко. Например, в опубликованной издательством «Рутледж» антологии, посвященной анализу 47 ключевых понятий *reenactment studies*, нет статьи о темпоральности (The Routledge Handbook 2021). Кроме того, исследования памяти признают разрывы в истории – время здесь не линейно и не гомогенно. В исследованиях реконструкции же настоящее и прошлое легко стыкуются между собой благодаря эмоциям и желаниям акторов. И именно для достижения внешнего эффекта «реализма» темпоральные границы признаются здесь неопределенными, а не проясняются рефлексивно.

Подчеркнем, что такого рода неопределенность а) носит прагматический характер; б) сводит к минимуму диахронию. В этом смысле темпоральность исторической реконструкции можно сравнить с временем обмена, о котором пишет Н.В. Ссорин-Чайков в своей работе по антропологии времени. Напомним, исследователь противопоставляет модальности универсального диахронического изменения и обмена, предполагающего равенство во времени: «Либо время универсально, либо специфично для каждой конкретной культуры. Либо есть общее истинное время, либо этих истин много, но каждая истина представляет собой изолированную социокультурную территорию. Это, вне сомнения, множественность (множество), но состоящая из совокупности или суммы сингулярностей, – культур – как своеобразных отдельных планет или островов, где время организовано и течет по-разному» (Ссорин-Чайков 2021: 84). «Отношения обмена являются отношениями идентичности (одна темпоральность равна другой: рыночное время = время дара зерна = дар времени), в которой тем не менее сохраняются различия между этими темпоральностями» (94). С этой точки зрения, обмен выстраивается не как универсальная синхронизация по строгим правилам, но как ситуативное согласование отличающихся позиций, определенного баланса между которыми нет; однако такое отношение каждый раз устанавливается заново в результате новых переговоров. В схожем ключе в современной исторической теории обсуждается понятие анахронизма не как «ошибки» историка, переносящего современные представления на прошлое, но как ситуативное согласование позиций, предполагающее равенство во времени и неустранимость темпоральных различий (Бевежнаж 2016).

С учетом подобной оптики можно предположить, что в рамках *memory studies* выработаны определенные правила, согласно которым европейская культура памяти (как наиболее рациональная) выступает «эталоном», а остальные сообщества оказываются на разных стадиях приближения к ней. Исследования, обращенные к реконструкции, чаще

оперируют образом универсальной популярной культуры, которая отменяет любые иерархии. Такая отмена иерархий делает ненужным когнитивный компонент (важный для экспертов и служителей культуры памяти, как убедительно показал Я. Ассман). Именно это нивелирование когнитивной составляющей в сочетании с игровых характером популярной культуры определяет неопределенность темпоральных границ и в самой исторической реконструкции, и в *reenactment studies*, максимально уравнивающих исследователя с участниками реконструкторских практик.

Заключение

Безусловно, предлагаемое сравнение исследований памяти и реконструкции не предполагает их радикального противопоставления: их во многом сближает ориентация на презентизм и ревизию академической историографии. Важно показать, однако, что различия между ними не менее существенны и затрагивают целый ряд теоретических установок, включая неопределенности темпоральных границ, которые *memory studies* стремятся прояснить, а *reenactment studies* – использовать и эстетически обыграть.

Таким образом, исследования реконструкции интересны не просто сами по себе или как одно из проявлений современной «мемориальной культуры». Их сравнение с *memory studies* позволяет обозначить два взаимосвязанных тренда, явно отличающихся от установок академической историографии. Во-первых, это ослабление когнитивного компонента и подчинение его популярной культуре – преобладание аффективного отыгрыша над рефлексивной проработкой прошлого. Во-вторых, эксплуатация неопределенности темпоральных границ между настоящим и прошлым. И если к большинству междисциплинарных «поворотов» на протяжении XX в. историки относились скорее с оптимизмом (хотя и не без настороженной критики), то диалог с исследованиями реконструкции может быть перспективным лишь при условии существенной ревизии указанных установок и повышении в *reenactment studies* роли когнитивного компонента.

Примечания

¹ В.И. Горбачев насчитывает на 2020 г. более 300 работ, посвященных этой проблеме. См.: (Gorbachev 2020).

² Подробнее см.: (Auslander 2013).

Список источников

Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

- Бевернаж Б. Аллохронизм, равенство во времени и современность: критика проекта радикальной современности Йоханнеса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени // Социология власти. 2016. № 2. С. 174–202.
- Божок Н.С. Движение исторической реконструкции как феномен молодежной культуры : дис. ... канд. социол. наук. Саратов, 2013.
- Клюев А.И., Свешиников А.В. Движение исторической реконструкции – от хобби к бизнесу // Неприкосновенный запас. 2018. № 1. С. 187–201.
- Клюев А.И., Свешиников А.В. Дискурсивная идентичность современного исторического реконструктора (на материале медиевальных клубов исторической реконструкции) // Диалог со временем. 2019. № 66. С. 120–136.
- Колесник А.С., Русанов А.В. Наследие-как-процесс: дискуссии о концепте культурного наследия в современных социальных и гуманитарных науках // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2022. Т. 58, № 3. С. 58–69.
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / пер. с англ. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980.
- Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: история, репрезентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 59–74.
- Мочалова М.А. Как говорить о нематериальном культурном наследии // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. С. 298–304.
- Николаи Ф.В. Призраки презентизма: от этики памяти к политике времени // Новое литературное обозрение. 2020. № 5. С. 378–386.
- Репина Л.П. Память и наследие в «крестовом походе» против истории, или Рождение «мемориальной парадигмы» // Уральский исторический вестник. 2021. № 2. С. 6–16.
- Ссорин-Чайков Н.В. Антропология времени: очерк истории и современности // Этнографическое обозрение. 2021. № 6. С. 83–103.
- Шнирельман В.А. Травматическая память: подходы к изучению и интерпретации // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 6–29.
- Шнирельман В.А. Социальная травма и особенности памяти // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 5–10.
- Ярская В.Н. Инверсия времени как механизм памяти в контексте культуры // Власть времени: социальные границы памяти / под ред. В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирновой. М., 2011. С. 11–24.
- Ярская-Смирнова В.Н., Божок С.Н., Зайцев Д.В. Инверсия темпоральности в коммеморации культурно-исторической реконструкции // Человек и культура. 2020. № 5. С. 11–24.
- Agnew V. What is Reenactment Studies // The Routledge Handbook of Reenactment Studies: Key Terms in the Field / ed. by V. Agnew, J. Lamb, J. Tomann. L.; N.Y.: Routledge, 2019. P. 1–10.
- Amster M.H. A Pilgrimage to the Past Civil War Reenactors at Gettysburg // Reflecting on America: Anthropological Views of US Culture / ed. by C.L. Boulanger. N.Y.: Routledge, 2016. P. 15–27.
- Auslander M. Touching the Past: Materializing Time in Traumatic “Living History” Reenactments // Signs and Society. 2013. Vol. 1, No. 1. P. 161–183.
- Boerman C., Noordenbos B. Performing Violence Trauma and Reenactment in Documentary Film // Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History / ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L.; N.Y.: Routledge, 2023. P. 308–332.
- Dray W.H. History as Re-Enactment: R.G. Collingwood's Idea of History. Oxford; New York: Oxford University Press, 1995.
- During S. Mimic Toil: Eighteenth-Century Preconditions for the Modern Historical Reenactment // Historical Reenactment: From Realism to the Affective Turn / ed. by I. McCalman, P.A. Pickerin. L.: Palgrave Macmillan, 2010. P. 180–199.
- Gorbachev V.I. Researching Simulations of the Past: Historical Re-Enactment as an Academic Discipline // История: факты и символы. 2020. № 3. С. 124–135.

- Historical Reenactment: From Realism to the Affective Turn / ed. by I. McCalman, P.A. Pickerin. L.: Palgrave Macmillan, 2010.
- Lamb J. The Evolution of Sympathy in the Long Eighteenth Century. N.Y.; L.: Routledge, 2009.
- Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge; London: Harvard University Press, 2004.
- The Routledge Handbook of Reenactment Studies: Key Terms in the Field / ed. by V. Agnew, J. Lamb, J. Tomann. N.Y.; L.: Routledge, 2021.
- Vium C. Indigenous, I Presume? Unexpected Outcomes of Repatriation and Reenactments of Photographic Archives in the Upper Amazon // Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History / ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L.; N.Y.: Routledge, 2023. P. 54–74.
- Werth B. The Body as Time Machine: Reenactment in Lola Arias's Documentary Performance // Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History / ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L.; N.Y.: Routledge, 2023. P. 253–271.

References

- Assmann A. (2017) Raspalas' sviaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima Moderna [Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
- Bevernage B. (2016) Allokhronizm, ravenstvo vo vremeni i sovremennost': kritika proekta radikal'noi sovremennosti Iokhannesa Fabiana i dovody v pol'zu novoi politiki vremeni [], *Sotsiologiia vlasti – Sociology of Power: Scientific and Sociopolitical Journal*, no. 2, pp. 174–202.
- Bozhok N.S. (2013) *Dvizhenie istoricheskoi rekonstruktsii kak fenomen molodezhnoi kul'tury*. Diss... k.s.n. [The historical reenactment movement as a phenomenon of youth culture. Dissertation of a candidate of sociological sciences]. Saratov.
- Kliuev A.I., Sveshnikov A.V. (2018) Dvizhenie istoricheskoi rekonstruktsii — ot khobbi k biznesu [The historical reenactment movement - from hobby to business], *Neprikosnovennyi zapis*, no. 1, pp. 187–201.
- Kliuev A.I., Sveshnikov A.V. (2019) Diskursivnaia identichnost' sovremennogo istoricheskogo rekonstruktora (na materiale medieval'nykh klubov istoricheskoi rekonstruktsii) [Discourse Identity of The Modern Historical Re-Enactor (On the Material of Medieval Clubs of Historical Reconstruction)], *Dialog so vremenem*, no. 66, pp. 120–136.
- Kolesnik A.S., Rusanov A.V. (2022) Nasledie-kak-protsess: diskussii o kontsepte kul'turnogo nasledii v sovremennykh sotsial'nykh i gumanitarnykh naukakh [Heritage-As-Process: The Concept of Cultural Heritage in Contemporary Social Sciences and Humanities], *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Istoriia*, Vol. 58, no. 3, pp. 58–69.
- Collingwood R.G. (1980) *Ideia istorii. Avtobiografiia* [The Idea of History. An Autobiography] / Translated from English by Iu.A. Aseev. Moscow: Nauka. (In Russian)
- Moroz O., Suverina E. (2014) Trauma studies: istoriia, reprezentatsiia, svidetel' [Trauma studies: history, representation, witness], *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 1, pp. 59–74.
- Mochalova M.A. (2020) Kak govorit' o nematerial'nom kul'turnom nasledii [How Can One Speak of Intangible Cultural Heritage?], *Siberian Historical Research – Sibirskie istoricheskie issledovaniia*, no. 2, pp. 298–304.
- Nikolai F.V. (2020) Prizraki prezentizma: ot etiki pamiati k politike vremeni [Ghosts of Presentism, From The Ethics of Memory to The Politics of Time], *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 5, pp. 378–386.
- Repina L.P. (2021) Pamiat' i nasledie v «krestovom pokhode» protiv istorii, ili rozhdenie «memorial'noi paradigmy» [Memory and Heritage in A Crusade Against History, Or The Birth of A “Memorial Paradigm”], *Ural'skii istoricheskii vestnik*, no. 2, pp. 6–16.

- Ssorin-Chaikov N.V. (2021) Antropologiya vremeni: ocherk istorii i sovremennosti [The Anthropology of Time: History and The State of The Art], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 6, pp. 83–103.
- Shnirelman V.A. (2021) Travmaticheskaya pamiat': podkhody k izucheniiu i interpretatsii [A Traumatic Memory: How to Study and to Interpret It], *Siberian Historical Research – Sibirskie istoricheskie issledovaniia*, no. 2, pp. 6–29.
- Shnirelman V.A. (2023) Sotsial'naya travma i osobennosti pamiati [Social Trauma and Specifics of Memory], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 1, pp. 5–10.
- Iarskaia V.N. (2011) Inversiya vremeni kak mekhanizm pamiati v kontekste kul'tury [Time inversion as a memory mechanism in the context of culture]. In: *Vlast' vremeni: sotsial'nye granitsy pamiati* [The power of time: social boundaries of memory] / Ed. by V.N. Iarskaia, E.R. Iarskaia-Smirnova. Moscow, pp. 11–24.
- Iarskaia-Smirnova V.N., Bozhok S.N., Zaitsev D.V. (2020) Inversiya temporal'nosti v kommoriatsii kul'turno-istoricheskoi rekonstruktsii [Inversion of Temporality in Commemoration of Cultural-Historical Reconstruction], *Chelovek i kul'tura*, no. 5, pp. 11–24.
- Agnew V. (2019) What is Reenactment Studies. In: *The Routledge Handbook of Reenactment Studies: Key Terms in the Field* / Ed. by V. Agnew, J. Lamb, J. Tomann. L., N.Y.: Routledge, pp. 1–10.
- Amster M.H. (2016) A Pilgrimage to the Past Civil War Reenactors at Gettysburg. In: *Reflecting on America: Anthropological Views of US Culture* / Ed. by C.L. Boulanger. N.Y.: Routledge, pp. 15–27.
- Auslander M. (2013) Touching the Past: Materializing Time in Traumatic “Living History” Reenactments, *Signs and Society*, Vol. 1, No. 1, pp. 161–183.
- Boerman C., Noordenbos B. (2023) Performing Violence Trauma and Reenactment in Documentary Film. In: *Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History* / Ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L., N.Y.: Routledge, pp. 308–332.
- Dray W.H. (1995) *History as Re-Enactment: R. G. Collingwood's Idea of History*. Oxford, N.Y.: Oxford University Press.
- During S. (2010) Mimic Toil: Eighteenth-Century Preconditions for the Modern Historical Reenactment. In: *Historical Reenactment: From Realism to the Affective Turn* / Ed. by I. McCalman, P.A. Pickerin. L.: Palgrave Macmillan, pp. 180–199.
- Gorbachev V.I. (2020) Researching Simulations of the Past: Historical Re-Enactment as an Academic Discipline, *History: facts and symbols*, no. 3, pp. 124–135.
- Historical Reenactment: From Realism to the Affective Turn* / Ed. by I. McCalman, P.A. Pickerin. L.: Palgrave Macmillan, 2010.
- Lamb J. (2009) *The Evolution of Sympathy in the Long Eighteenth Century*. N.Y., L.: Routledge.
- Margalit A. (2004) *The Ethics of Memory*. Cambridge, L.: Harvard University Press.
- The Routledge Handbook of Reenactment Studies: Key Terms in the Field* / Ed. by V. Agnew, J. Lamb, J. Tomann. N.Y., L.: Routledge, 2021.
- Vium C. (2023) Indigenous, I Presume? Unexpected Outcomes of Repatriation and Reenactments of Photographic Archives in the Upper Amazon. In: *Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History* / Ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L., N.Y.: Routledge, pp. 54–74.
- Werth B. (2023) The Body as Time Machine: Reenactment in Lola Arias's Documentary Performance. In: *Reenactment Case Studies: Global Perspectives on Experiential History* / Ed. by V. Agnew, J. Tomann, S. Stach. L., N.Y.: Routledge, pp. 253–271.

Информация об авторах:

НИКОЛАИ Федор Владимирович – доктор философских наук, доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории социальной антропологии,

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия). E-mail: fvnik@list.ru

МАСЛОВ Артём Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией социальной антропологии, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия). E-mail: maslovartem@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Feodor V. Nikolai, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: fvnik@list.ru

Artem N. Maslov, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: maslovartem@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 19 января 2024 г.;
принята к публикации 03 марта 2024 г.*

*The article was submitted 19.01.2024;
accepted for publication 03.03.2024.*

Научная статья
УДК 392
doi: 10.17223/2312461X/43/10

Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920–1930-е гг.

Мария Алексеевна Мочалова

*Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия,
masha.mochalova@iea.ras.ru*

Аннотация. В оптике исследований неопределенности рассматривается процесс накопления знаний о сообществах коренных народов Таймыра и формирования музейных коллекций на примере нескольких кейсов, охватывающих деятельность Комитета Севера, Красноярского краеведческого музея (Государственный музей Приенисейского края) и Музея антропологии и этнографии в первые десятилетия после революции. Главной целью исследования стала попытка установить, как музеефикация бытовых предметов и изучение признанных на государственном уровне «отсталыми» и «архаичными» традиционных жизненных практик в логике большевиков должны были приблизить победу над «отсталостью», переход к оседлому образу жизни, коллективизацию и модернизацию хозяйства, интеграцию коренного населения в советские структуры. Представляется верным утверждать, что сила опыта, создаваемого музеем или иным учреждением культуры, использовалась для поддержания нарратива о скором переходе коренных северян к социализму, который должен был ознаменовать обеспечение предсказуемости жизни. Исследовав деятельность краеведческого пункта Хатангской культбазы и музейно-экспедиционную работу известных этнографов-североведов Б.О. Долгих и А.А. Попова, автор приходит к выводу, что борьба с неопределенностью происходила в двух измерениях: а) само накопление информации о кочевниках позволяло власти эффективнее определять способы и формы управления территориями; б) репрезентация культур северных кочевников в «модернизирующем» дискурсе эксплицитно представляла путь от «первобытного» состояния «на грани вымирания» к социализму и «цивилизации». Работа также показала, что само означивание вещей и практик через превращение их в экспонаты во многом заложило основы советской политики работы с индигенным наследием, которая получила развитие в последующие годы. Исследование основывается на архивных материалах фонда Комитета Севера (ГАРФ) и публикациях, посвященных экспедиционной деятельности и сбору таймырских музейных коллекций исследуемого периода.

Ключевые слова: Таймыр, коренные народы, наследие, неопределенность, музеи, краеведение, социалистическая модернизация

Благодарности: Статья подготовлена в рамках НИР №490-99-2021–2023 «Образы будущего и креативные практики: антропологический анализ социального проектирования и научного творчества в условиях неопределенности» на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского при финансовой поддержке Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации (Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»). Автор также выражает благодарность своим коллегам по работе над исследованием, выполненным по заказу Российского географического общества «История расселения коренных малочисленных народов Таймыра на территориях размещения Норильского горно-металлургического комбината и сопутствующей инфраструктуры в 1920–1980-е годы»: А.С. Басову, С.О. Ковальскому и А.А. Пушину и руководителю проекта Д.А. Функу.

Для цитирования: Мочалова М.А. Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920-е–1930-е гг. // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 139–165. doi: 10.17223/2312461X/43/10

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/10

The Production of Knowledge and Heritage as a Struggle Against Uncertainty: The Case of the Indigenous Peoples of Taimyr in the 1920s–1930s

Maria A. Mochalova

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation, masha.mochalova@iea.ras.ru*

Abstract. The process of accumulating knowledge about the indigenous communities of Taimyr and the formation of museum collections is examined through the optics of uncertainty studies using the example of several cases covering the activities of the Committee of the North, the Krasnoyarsk Local History Museum (the State Museum of the Yenisei Region) and the Museum of Anthropology and Ethnography in the first decades after the revolution. The main purpose of the study was an attempt to establish how the museification of household items and the study of traditional life practices recognized at the state level as “backward” and “archaic” in the logic of the Bolsheviks were supposed to bring victory over “backwardness”, the transition to a sedentary lifestyle, collectivization and modernization of the economy, integration of the indigenous population into Soviet structures. It seems true to assert that the power of experience created by a museum or other cultural institution was used to maintain the narrative of the imminent transition of indigenous Northerners to socialism, which was supposed to mark the predictability of life. Having studied the activities of the local history post of the Khatanga cultural base and the museum-expedition work of famous ethnographers and Northern historians B.O. Dolgikh and A.A. Popova, the author comes to the conclusion that the struggle with uncertainty took place in two dimensions: a) the very accumulation of information about nomads allowed the authorities to more effectively determine the ways and forms of territorial management; b) the representation of the cultures of the northern nomads in the “modernizing” discourse explicitly represented the path from the “primitive” state “on the verge of extinction” to socialism and “civilization”. The work also showed that the very signification of things and practices through their transformation into exhibits largely laid the foundations of the Soviet policy of working with indigenous heritage, which was developed in subsequent years. The research is based on archival materials of the Committee of the North in the State

Archive of the Russian Federation (GARF) and publications devoted to expeditionary activities and the collection of Taimyr museum collections of the period under study.

Keywords: Taimyr, indigenous peoples, heritage, uncertainty, museums, local history, socialist modernization

Acknowledgements: The research was carried out within the project “Images of Future and Creative Practices: Anthropological Analysis of Social Design and Scholar Creativity under Uncertainty” at Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (theme No. H-490-99_2021–2023) with financial support of Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Strategic Academic Leadership Program “Priority 2030”). The author also expresses gratitude to her colleagues who worked on the research commissioned by the Russian Geographical Society “The history of the settlement of indigenous small-numbered peoples of Taimyr in the territories of the Norilsk Mining and Metallurgical Combine and related infrastructure in the 1920s and 1980s”, project manager D.A. Funk, as well as A.S. Basov, S.O. Kovalsky and A.A. Pushin.

For citation: Mochalova, M.A. (2024) The Production of Knowledge and Heritage as a Struggle Against Uncertainty: The Case of the Indigenous Peoples of Taimyr in the 1920s–1930s. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 139–165 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/10

Осмысление способов исследования неопределенности обычно связывают с работой Мэри Дуглас и Аарона Вилдавски «Риск и культура» (1982), уже ставшей классикой антропологии. Во многом эта публикация стала катализатором развития «рискологии», в рамках которой с точки зрения различных дисциплин изучалось формирование понятия «риск» в разных исторических периодах, распределение рисков и контроль за их влиянием и последствиями, проводился анализ различных теорий восприятия риска сообществами. Риск и неопределенность неразрывно связаны. Они дополняют инструментарий социального исследователя, когда он или она пытается понять процессы, происходящие в человеческих сообществах, и учитывает, помимо действительно происходящих событий и изменений внутри них и снаружи, и те, которые могут (или не могут) произойти по мнению членов сообщества (Истомин, Вахтин 2022: 423).

Ульрих Бек, сформировавший концепцию современного «общества риска», утверждает, что появление риска всегда связано с модернизацией и желанием контролировать будущее. Он описывает риск как мобилизующую динамику общества, стремящегося к переменам, которое хочет определить собственное будущее самостоятельно, а не оставлять это религии, традициям или силам природы (Beck 2002: 42). В такой оптике советская модернизация, осуществлявшаяся большевиками в 1920–1930-е гг., представляется процессом, конечной целью которого, в общем и целом, была борьба с неопределенностью и достижение некой предсказуемости жизни всех граждан на различных территориях государства. Вслед за авторами сборника *Modes of Uncertainty...* (2015: 4), говоря о преодолении неопределенности и понимании риска властью, я опираюсь на понятие «технология риска», сформированное Мишелем

Фуко в его концепции «правительности» («governmentality»). Технология риска – это, по сути, основная правительственная технологии, которая превращает что-то в риск, чтобы сделать это «что-то» управляемым (governable). «Отсталость» северных кочевников в такой логике для большевиков и являлась риском, угрозой предсказуемой жизни.

Когда речь идет о коренных народах Севера, важно понимать, что после 1917 г. арктическая и субарктическая зоны оказались отрезанными от остальных территорий страны. Почти полностью прекратилась торговля, не было оружия, сетей, муки и сахара, стрихнина для защиты от хищников, кочевники ушли в тундру и жили за счет своих оленей, что в совокупности привело к сокращениям стад, увеличился поток переселенцев с западных территорий страны, гонимых голодом и Гражданской войной (Слёзкин 2008: 160–161). Немногочисленные задокументированные реакции коренных жителей Севера на мероприятия «культурной революции», приведенные Юрием Слёзкиным, позволяют представить ожидания опасности от новой власти и ощущения недоверия, имеющиеся у людей (263–265). Так, в 1932 г. из-за действий властей, приведших к падежу оленей и голоду, при попытке коллективизации оленеводов-охотников Хатангского района Таймыра произошло восстание, которое усложнило и без того тяжелый процесс накопления знаний о коренных сообществах и не способствовало легкому контакту приезжих исследователей.

В первые годы после революции для большевиков Крайний Север в своей «отсталости» и без «национального» самосознания, с одной стороны, был неизвестным и «диким», но с другой – представлялся местом обитания «истинных пролетариев» и особым случаем бесклассового коммунистического общества, с которым властям было необходимо «работать» (Слёзкин 2008: 173). При этом для переустройства жизни северных кочевников на советский лад было необходимо производство позитивистского по своей природе знания об этих людях и территориях их проживания. В этом процессе были задействованы как ученые-этнографы, так и краеведческая сеть, которая существовала и до революции. Одновременно с этим процессом накопления знания происходила и сама культурная революция, которая должна была ликвидировать «отсталость» северных кочевников.

При «поддерживаемом государством эволюционизме» (Хирш 2022) в рамках марксистско-ленинской парадигмы все народности страны должны были как можно быстрее пройти все «этапы» исторического развития. Репрезентация и музеефикация традиционной культуры должны были только способствовать определению *настоящего* социалистическим. Говоря об этнографических выставках этого периода, Франсин Хирш отмечает, что начало 1920-х гг. было еще временем «экзотизирова-

ющего» музейного дискурса, когда демонстрировались диковинные традиционные предметы и одежда различных народов, проживающих в СССР. 1930-е гг. стали эпохой «модернизирующего» дискурса, когда образ тех же народов стал иным: представляющим людей переживающими необычайно быстрый экономический и культурный подъем, но нуждающимися в помощи в окончательном преодолении «тяготения традиционных верований и обычаев» (Хирш 2022). Помещение предметов (а вместе с ними хозяйственных и культурных практик) под музейное стекло и создание их научного описания с маркировкой «древнейшие формы» должны были трансформировать их материальность, изымать из повседневной жизни и определять их в новом статусе, превращать в объекты иных «миров» – научного и музейного. Субъективные и конструируемые знания в музее как бы становятся объективными и истинными, так как сам музей обладает огромным авторитетом (Баранов 2007: 22), поэтому особенно важна была для власти репрезентация собранных этнографами материалов в «правильном» виде, помогающем модернизировать реальность и бороться с неопределенностью доиндустриального мира.

Исследованию и описанию этого дискурсивного пространства, в котором, по сути, начинал зарождаться институт сохранения и репрезентации наследия в СССР, посвящена данная статья. В ней представлены результаты анализа следующих исследовательских кейсов, касающихся данной проблемы и основанных на таймырских материалах: культбаза и краеведческий пункт Комитета Севера, работа Б.О. Долгих в Красноярском музее и А.А. Попова в Музее антропологии и этнографии.

Случай Таймыра представляется особенно интересным в силу отдаленности региона и экстремальности условий, в которых проходили все мероприятия советской власти. Также стоит отметить, что сложно говорить о наличии большого количества постсоветских исследований, посвященных теме культурного производства в данном регионе в ранний советский период. Наиболее полезными при разработке концепции моего исследования стали работы по истории национальной политики в СССР, в которых были представлены (в большем или меньшем объеме) история народов Крайнего Севера (Слезкин 2008, 1993; Мартин 2011; Хирш 2022). Близкие рассматриваемой в статье теме вопросы поднимаются в некоторых исследованиях построения социализма на Енисейском Севере (Бурмакина, Гайдин 2019; Национальная политика 2022) и уже во многом ставших классическими антропологических исследованиях Таймыра (Андерсон 1998; Дьяченко 2005).

Данное исследование частично является неким продолжением начатой в 2022 г. архивной работы в рамках исследовательского проекта по изучению расселения коренных малочисленных народов Таймыра под влиянием промышленного освоения региона, выполненной по заказу

РГО, но опирается в основном на корпус архивных документов Комитета Севера (фонд Р-3977), хранящихся в Государственном архиве РФ, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. Также в качестве источника использовались публикации советских этнографов и (или) музейных работников, посвященные репрезентируемым коллекциям, описаниям культурных и хозяйственных практик и в целом этнографическим исследованиям исследуемого периода (Попов 1935, 1937, 1948, 1952; Гарданов 1957; Грачева 1980; Чурилова 1991).

Процесс музеефикации собранных в экспедициях предметов, описания промыслов и обычаев, фиксации фольклорных традиций отсылает нас к концепции производства наследия, под которой сегодня понимается процесс отбора и «маркировки» вещей, зданий, пространств и различных практик как того, что предлагает репрезентацию прошлого и чувства идентичности. Наследие всегда выполняет некую «работу» (Смит 2013: 27), и обычно она связана с обоснованием и поддержкой некоторых идентичностей и нарративов, связанных с определенной этнической или локальной группой. Об активном развитии наследия как института в СССР стоит говорить, обращаясь все же к более позднему периоду, чем тот, что рассматривается в данной статье, – к 1970–1980-м гг. Однако учитывая, что музей является по своей природе достаточно консервативным институтом (Баранов 2007: 21), созданным для хранения и трансляции «реально существующего» (в определенный момент времени и при определенных политических условиях) культурного наследия и знания, важно понять, как закладывались паттерны музейной работы с этнографическими предметами и описаниями, что я и пытаюсь сделать в данной работе. Стоит также отметить, что именно период первых лет после революции был той «точкой», к которой постоянно возвращались в последующие периоды советские исследователи в поиске некой идеологической опоры, апеллируя к указанию В.И. Ленина «как можно скорее овладеть культурным наследием прошлого» (Гарданов 1957: 8).

О некоторых трендах национальной политики в 1920–1930-е гг. на Таймыре

Расселение на полуострове различных по численности и языку сообществ долган, ненцев, эвенков, нганасан и энцев в начале XX в. следовало не административному принципу, а определялось хозяйственными связями: люди объединялись для выпаса оленей, охоты и рыболовства, кочевали в районе определенных «центров», где каждый год при смене сезонов они достигали хозяйственных договоренностей, разбиваясь на группы и выбирая маршруты кочевания, используемые пастбища и места промысла (Долгих, Левин 1951). Создаваемые «родовые советы» в

самом начале 1920-х гг. следовали логике дореволюционных «инородческих управ», объединяя людей, входивших в состав разных местных сообществ. Позже они были реорганизованы в «кочевые советы» следуя новым принципам районирования.

Процесс районирования в СССР в 1920-е гг., задействовавший этнографов, о которых пойдет речь ниже, после правительственной дискуссии между Госпланом и Наркомнацем (Хирш 2022) стал основываться на этнотерриториальном принципе, который представлял собой некий компромисс между экономическим и этническим принципами, лежащими в основе определения административно-территориальных границ (Хирш 2022). Экономический принцип ставил во главу угла хозяйственное единство территории, позволявшее наиболее эффективно, как казалось, осуществлять экономическую деятельность внутри одной административно-территориальной единицы; этнический же принцип предполагал, что у всех народов СССР должна существовать своя единица государственности той или иной степени автономности. В итоге в советской административно-территориальной системе утвердилась иерархия соответствующих единиц, соотносимая с численностью и «уровнем развития» соответствующих этнических групп. Например, «нации» определялись как наиболее развитые народы, и они имели «свои» республики в составе Союза или автономные республики в составе республик союзных; «народностям» же, еще якобы не достигшим уровня развития «наций», отводились другие административные единицы, начиная от таких крупных, как автономные области, национальные округа и районы, и заканчивая небольшими национальными советами и колхозами (Хирш 2022). Предполагалось, что у всех относительно компактно проживающих этнических групп СССР могла существовать своя автономная административная единица, форма которой зависела от численности и «развитости» «наций» и «народностей». В.И. Ленин писал о необходимости существования государственных образований разного уровня для разных этнических групп, а значит такой порядок административно-территориального устройства был частью «ленинской национальной политики» (Гурвич 1971: 25). Этот же порядок влиял на процессы, связанные с культурно-просветительской работой и репрезентацией «культур» в различных пространствах (в том числе и музейном, на котором сосредоточено внимание в этой статье). При этом политика в отношении малочисленных народов Севера строилась на основе патернализма: в советской марксистской логике эти народы должны были при содействии государства достичь стадии социализма, минуя капитализм, так как предполагалось, что они находятся на предшествующих капитализму стадиях развития (Мартин 2011: 552).

Проблема «политической отсталости» решалась вовлечением коренных народов Севера в общесоюзные структуры через их политическое

участие в советах разных уровней. Для повышения «уровня развития» народов Севера в рамках ленинской национальной политики предполагалось постепенное определение границ и обретение «своих» административных единиц этими народами, что и было воплощено на Таймыре в 1930 г. созданием национального округа. Это событие в логике власти ознаменовало переход от исключительно поддерживающих мер, оказываемых государством в 1920-е гг., к преобразованию хозяйственной деятельности и всей жизни представителей коренных народов и переходу к социализму (Бумаркина, Гайдин 2019: 104).

Хозяйственная модернизация на Таймыре проходила через коллективизацию и связанную с ней рационализацию оленеводческих, охотничьих и рыболовных хозяйств кочевников. Кочевой образ жизни как часть «отсталости», которой была «объявлена война» (Слѣзкин 2008: 255–256), для государства был определен важнейшей проблемой, требующей скорейшего решения. Властью он воспринимался как главное препятствие развитию коренных народов экономически и политически. Кочевание, по мнению власти, мешало Советскому государству обеспечить необходимый «стандарт жизни» для коренных народов, т.е. снабдить их нужными товарами и услугами, а также необходимый для интеграции в различные модернизационные процессы уровень образования, оказывать необходимую медицинскую помощь и т.п.

К концу 1930-х гг. также для «преодоления отсталости» была развернута сеть образовательных и медицинских учреждений, стремившаяся охватить все население округа. Сеть местных учреждений культуры в тундре, сочетающих в себе различные функции (культбазы и работавшие при них красные чумы, дома туземца, пункты ликбеза и др.), была важным агитационно-просветительским инструментом в процессе перевода на оседлость, а также способствовала накоплению знаний о кочевниках, их жизненном укладе и местности, где они проживали. Далее рассмотрен кейс такого учреждения.

Хатангская культбаза Комитета Севера

Обычно исследователи соотносят начало активной деятельности советской власти на Крайнем Севере с организацией работы Комитета содействия народностям северных окраин (коротко – Комитета Севера) в 1924 г., хотя до этого рассмотрение проблем жителей высоких широт входило в компетенции Народного комиссариата по делам национальностей. Впрочем, работу Наркомнаца, занятого волнениями в Средней Азии, Закавказье и других регионах, в северном направлении, по мнению Юрия Слезкина (2008: 165), стоит охарактеризовать так: «Сталину и его конторе было чем заняться и без северян». В Наркомнац поступало

постоянно растущее число тревожных докладов о положении аборигенов, которые, несмотря на свою «культурную отсталость», признавались властью максимально адаптированными к местным условиям, а значит «необходимыми» в индустриальных процессах освоения различных ресурсов Севера, в которые они должны встроиться с помощью государства. При этом само государство обладало крайне ограниченной информацией об этих нуждающихся в помощи жителях высоких широт. Нужными знаниями и компетенциями обладали этнографы-североведы, многие из которых в прошлом были ссыльными революционерами, достойными доверия (Слѣзкин 2008: 173), поэтому в 1922 г. при Наркомнаце было создано Центральное этнографическое бюро, в обязанности которого входило «снаряжение экспедиций для изучения различных племен и составления описания народов России» (Станюкович 1978: 163), но этого было недостаточно.

В 1923 г. малая коллегия Наркомнаца, выслушав доклад В.Г. Богораза, приняла решение «организовать Комитет содействия и защиты малых народностей Севера и Сибири (чукчи, самоеды, карагасы, сойоты, долгане и т. д.)» (Сергеев 1962: 72). Комитет был создан 20 июня 1924 г., но уже непосредственно при ВЦИК. Так, 2 февраля 1925 г. было утверждено «Положение» о Комитете, которое определило его структуру, компетенции и задачи. В основе политики Комитета Севера лежала идея об «образовании и воспитании» представителей коренных народов, которые, по мнению его партийных членов, все без исключения были жертвами нищеты и угнетения, силами просветителей – представителей Советского государства и его новой идеологии. Общие взгляды членов Комитета, многие из которых были этнографами, в целом можно назвать протекционистскими, а саму работу – своеобразным активизмом или даже «миссионерством» (Слѣзкин 2008: 184) новой советской культуры. При этом, основой для такого «проповедования» нового быта и культуры изначально должно было стать всестороннее изучение сообществ северян, а устройство их жизни в молодом государстве – ненасильственным, учитывающим их хозяйственные практики, родовые отношения, а также, по мере возможностей, и культурные традиции, если те не содержали в себе глубоких противоречий советской идеологии и всему процессу модернизации.

Комитет Севера был организован, по выражению М.А. Сергеева (1955: 224), «на общественных началах, что сказалось благотворно на его деятельности». Бессменным его руководителем стал заместитель председателя ВЦИК П.Г. Смидович, а в состав вместе с учеными вошли видные партийные деятели (А.В. Луначарский, П.А. Красиков, Н.А. Семашко и др.). Ю. Слѣзкин же отмечает (2008: 177–178), что «как и во многих других комитетах, созданных в середине 1920-х гг., обилие звучных имен

должно было компенсировать недостаток бюджетных средств», а «реальную работу» предстояло вести активистам-исследователям.

Одним из основных направлений работы Комитета Севера было создание сети культурных баз. Работа над проектом такой сети велась с самых первых дней существования Комитета, а в 1926 г. в «Северной Азии» вышла статья А.К. Львова, оптимистично описывающая планируемые учреждения как то, что может реально «дать туземцам культурную помощь» (Львов 1926: 28) и при том в достаточно короткие сроки. Культбаза представляла собой крупное статичное многопрофильное учреждение, в составе которого работала школа-интернат, больница с амбулаторией и передвижным врачебным отрядом, детские ясли, которые находились в ведении системы здравоохранения, ветеринарно-зоотехнический пункт, клуб, радио и передвижная киноустановка, а также краеведческий пункт, на котором сосредоточено особое внимание в данном исследовании. Именно культбазы стали предтечей будущих домов культуры на Севере. Работники культбаз должны были вести культурно-просветительную работу среди коренного населения, внедрять передовые способы хозяйствования, новые бытовые привычки и промысловые практики – опекать, учить и лечить. В основе районирования при размещении культбаз лежал инструменталистский этнический принцип, который должен был способствовать объединению групп северных кочевников, появлению «больших общностей из меньших»: создавались «самоедская база», «коряцкая», «тунгусская» и т.п. (36–37). В 1926 г. было запланировано строительство 5 культбаз.

Начало осуществления проекта культбаз на Таймыре (планирования и финансирования строительства) стоит отнести к 1929 г. – тогда проводились работы по разведке территорий вдоль Хатангского тракта. Он представлял собой цепочку станков – относительно постоянных населенных пунктов, расположенных на территории от оз. Пясино на западе и до низовьев Анабара на востоке (Долгих 1963: 95). Именно здесь, на летовьях и зимовьях кочевников, происходило «смешение разных народов», отмеченное еще в XIX в. (96). Это смешение к началу XX в. привело к некоему этнографическому единству жителей Хатангского тракта, что повлияло и на районирование при постройке культбазы. Так, Хатангскую культбазу запланировали построить «на границе Сибкрая и Якутии» для обслуживания долган, «отуземившихся затундренских крестьян и частично тунгусов» (ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 588. Л. 24). Хатангская культбаза предполагалась как единственная в районе кочевания долган «вблизи еще вовсе необозримых пространств восточного Таймыра», а район, который она должна была охватить, назывался «местом столкновения разных народностей и крепкого оленеводства» (Л. 25).

Интересно, что, судя по документам Комитета Севера, изначально на Таймыре планировалось создание двух культбаз: Хатангской, которая

помимо перечисленных групп также «фактически будет частично обслуживать группу тавгийских (авамских и вадеевских) самоедов [нганасан]», и Пясинской, которая также частично должна была обслуживать то же нганасанское население, а также «самоедов приенисейских (Хантайских и Карасинских)» (ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 590). В отношении Пясинской культбазы выражалось сомнение по поводу того, что «обе группы смогут быть объединены культбазой в целостную группу» (Д. 590). Первоначально также отмечалась нехватка средств из-за приоритетного строительства культбаз в других северных районах, и строительство откладывалось. С опорой на данные о расселении можно предположить, что развитие «центра притяжения» кочевников вблизи мест, где велась разведка для строительства будущих объектов Норильского горно-металлургического комбината (НГМК), показалось в итоге властям не лучшей идеей. Другое возможное, на мой взгляд, объяснение основывается на предположении, что в структурах НГМК планировалось появление учреждений, дублирующих функции культбазы. Так или иначе, Пясинская культбаза не была построена и единственным таким учреждением на Таймыре стала культбаза в селе Хатанга.

По положению о культбазах, помимо прочих учреждений при Хатангской культбазе было намечено создание краеведческого пункта. Научно-исследовательская работа, которая стала основой деятельности таких пунктов, являлась одной из основных больших задач, возлагаемых на весь проект культбаз. Так, на одном из многочисленных, подробно и эмоционально обсуждаемых во внутриведомственной переписке проектов программы краеведческой работы на культбазах, помимо других пометок, дописано карандашом «Культбаза есть постоянно действующая экспедиция!» и подпись «Тан-Богораз» (ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 588. Л. 105). Кажется, эта яркая заметка на полях показывает, насколько важно было для комитетчиков-этнографов устроить работу культбаз так, чтобы исследовательской деятельности было уделено достаточное внимание наравне с просветительской. Этой цели должны были послужить краеведческие пункты, создаваемые при культбазах.

Краеведческий пункт культбазы

В положении о краеведческих пунктах культбаз были определены три основные задачи их работы: всестороннее краеведческое изучение района, обслуживающегося культбазой; подготовка краеведов из числа местного населения; «учет и увязка» различных работающих в районе работы культбазы экспедиций (ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1017). Программа работы пункта основывалась на «изучении местного населения, его экономики и быта», а также на естественно-географическом исследовании края. Разделы программы включали: периодическое статистико-

экономическое обследование населения, этнографические и лингвистические исследования, историческое изучение местного края, работу с вопросами классового расслоения и положения женщин, а также геологическую разведку, метеорологические и биологические наблюдения, картографирование. При краеведческом пункте должен быть организован «музей местного края, являющийся объединенным музеем культбазы», где должны быть представлены следующие «разделы»: естественно-исторический, местных промыслов, культурно-исторический, экономики местного края, советского строительства. «Материалы музея», представленные «местными сборами», следовало экспонировать вместе с «сравнительными материалами из других районов». Коллекции музея должны быть «точно определены» и описаны, а если с этим появлялись проблемы, то материалы было необходимо направлять в соответствующие научные учреждения. Работать в краеведческом пункте по плану должны два человека: этнограф-экономист и специалист по естественным наукам. Также при музее пункта устраивалась местная краеведческая ячейка, библиотека местного края и проводились консультации по вопросам краеведения.

Такое подробно расписанное устройство краеведческой работы стоит связывать с изменением политического курса в отношении краеведения в стране в целом. К концу 1920-х гг., которые принято называть временем бурного развития краеведения в рамках либеральной программы науки (Мельникова 2012: 213), государство перешло к установлению полного контроля над производством краеведческого знания, отказавшись от формальной поддержки, что ознаменовало собой начало эпохи «нового советского краеведения». Эта смена курса сказалась на краеведческой работе в более близких к центру страны регионах, но в отношении Крайнего Севера означало не переустройство краеведческой работы, а выстраивание ее с нуля по этой новой государственной программе. Стоявший во главе Комитета Севера с самого начала его существования П.Г. Смидович в 1927 г. был также назначен председателем Центрального бюро краеведения. Такой поворот в сторону контроля означал, что краеведение включено в число политических инструментов демонстрации успехов культурной революции.

Рассмотрим, что известно о работе краеведческого пункта Хатангской культбазы из отчета за 1932–1935 гг. (ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1144). Пункт официально начал свою работу в апреле 1933 г. в составе двух работников: зоолога-охотоведа, совмещающего функции заведующего, и его помощника-лаборанта. Кадровый состав работников показывает, что план по работе в краеведческом пункте этнографа выполнен не был, упор в работе был сделан на сбор естественно-научной информации, однако также в отчете указано, что оборудование для такой работы, закупленное в Красноярске и Москве, было получено лишь осенью 1935 г. Помещения культбазы еще строились, специальная постройка

для пункта отсутствовала, поэтому работники были вынуждены разместиться в одной из старых изб, что значительно усложнило их работу в силу погодных условий. Запланированные обследования территорий и описания флоры и фауны велись также с большими трудностями из-за отсутствия транспорта. В 1933 г. не проводились экономические исследования «из-за неуверенности в успехе после событий 1932 г.» – вероятно, имеется в виду Хатангское восстание, которое не могло не повлиять на работу с местным населением. Восстание продолжалось около 2 месяцев и было вызвано произвольным изъятием оленей, постановкой несоответствующих возможностям планов по сдаче пушнины, наложением незаконных платежей местными властями (Дворецкая 2019). Повстанцы захватили на несколько дней районный центр Хатангу и около 100 русских жителей села. Восстание было подавлено, но после него Политбюро ЦК приняло постановление о преступных перегибах на Крайнем Севере и объявило строгий выговор руководителям Оленеводтреста и Союзохотцентра. Восстание показало, что форсированная коллективизация без учета местной хозяйственной и климатической специфики, особенностей жизненного уклада местного населения приводила к разрушительным последствиям.

Работникам краеведческого пункта удалось провести экономические исследования хозяйств зимой 1934–1935 гг., уже к концу срока пребывания в пункте. Были изучены 6 кочевых советов (долганское и нганасанское население) северной части Хатангского района, однако часть материалов была испорчена из-за плохого состояния краеведческого пункта, где хранились записи. Тем не менее были получены похозяйственные опросники: 508 карточек с описанием путей кочевания и промысловых угодий. Стоит отметить, что экономические исследования во многом проводились с целью подсчета домашних оленей и установления фактов «сокрытия» их численности: были упомянуты случаи больших преуменьшений фактического количества, которые при этом сложно обнаружить из-за «круговой поруки собственников стад». Также сотрудникам пункта удалось разобрать и описать архив Хатангской церкви (с 1805 г.), осуществить работы по картографированию местностей, провести наблюдения, сделать фото и описать охотничьи и рыболовные промыслы коренного населения.

В целом основным вкладом в накопление знаний о Таймыре и его населении работников краеведческого пункта в указанный период стало изучение песца как промыслового вида, а также выявление особенностей оленеводства и рыболовства в восточной части полуострова. Эти данные были использованы в обобщающих публикациях работников Комитета Севера в журнале «Северная Азия» (Чурилова 1991: 61). Такая «хозяйственная» ориентация краеведов Хатангской культбазы иллюстрирует

тренд нового советского краеведения, переключившегося на изучение природных богатств и естественной истории.

В сравнении с краеведческими пунктами других культбаз эти итоги работы не кажутся впечатляющими: так, на тот момент при Туринской культбазе в Эвенкии (одной из самых крупных) уже функционировал краеведческий музей, имевший и этнографические коллекции. Однако стоит учитывать экстремальные условия Таймыра, позднее, долгое и сложное строительство самой Хатангской культбазы, а также Таймырское восстание 1932 г., которое не могло не помешать работе краеведов. Краеведческий пункт, таким образом, стал одним небольшим звеном развивающейся краеведческой сети. Далее будет представлен ее «следующий уровень»: кейс городского краеведческого музея.

Краеведение и деятельность Б.О. Долгих

После Гражданской войны краеведение в Сибири развивалось силами местных отделов РГО, которых было три и все они были созданы еще до революции: Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Средне-Сибирский. Последний был переименован в Красноярский отдел (КОРГО) в 1921 г. В мае 1924 г. при нем было образовано Бюро краеведения как отклик на создание Центрального бюро краеведения в Москве и призывы властей к массовому развертыванию краеведческой сети (Шмакова, Акимова 2021: 165). Бюро работало вплоть до 1930 г., когда краеведение было взято под контроль государства.

В целом, несмотря на ставшее классикой обозначение 1920-х гг. как «золотого века краеведения», в отношении Сибири в эти годы, согласно приведенной Л.А. Чуриловой (1991: 69) правительственной критике имеющейся ситуации, «коллективный подход к познанию своего края находился в зачаточном состоянии, а в северных районах Средней Сибири вообще отсутствовали традиции историко-краеведческих исследований». Исключение могли составить только Красноярск и Енисейск, так как краеведение развивалось там и до революции в рамках работы музеев. В целом местные музеи сибирских городов описывались представителями советской власти и науки «наглядными показателями проделанной научно-исследовательской работы», но и их состояние признавалось «по большей части заброшенным», отягощенным тяжелым материальным положением (Чурилова 1991: 71), с чем и была поставлена задача разобраться. Бассейн Енисея стал официально определенной территорией исследовательской работы Енисейского и Красноярского музеев. Стоит отметить, что в 1927 г., когда проводились масштабные ревизии, а все краеведческие организации в итоге были переданы в ведение Наркомпроса, количественные показатели коллекций этих двух музеев

были следующие: Красноярский – более 9 тыс. предметов, Енисейский – около 1 тыс. (72).

Активное пополнение музейных коллекций коренных народов Таймыра в 1920–1930-е гг. в музее Красноярска связано с деятельностью Б.О. Долгих. Будучи вольнослушателем Московского университета, будущий крупный ученый, получив рекомендацию в Институте антропологии, стал членом Туруханской экспедиции Приполярной переписи 1926–1927 гг. и исполнял обязанности статистика-регистратора. Весной 1926 г. Б.О. Долгих ознакомился с имеющимися коллекциями музея, летом работал у кетов, а зиму и следующую весну провел уже на Таймыре среди долган и нганасан (Баташев 2018). Ему удалось собрать большое количество этнографических материалов, описывающих, помимо прочего, традиционные культурные, хозяйственные и религиозные практики коренных народов Таймыра, сделать фольклорные записи, которые легли в основу его первых исследовательских статей, опубликованных в «Северной Азии» (Долгих 1929).

В 1927 г. в Красноярском музее открылась комплексная выставка по Крайнему Северу, которая должна была проиллюстрировать уровень «освоения тундры человеком». Судя по отчетам в публикациях, выставка имела большой успех (Чурилова 1991: 72). В течение 1928–1929 гг., помимо этнографических предметов русского народа, в Красноярский музей поступило также 30 единиц в коллекции коренного населения Сибири. Среди них была нганасанская «авамская богато орнаментированная парка» и эвенкийские культовые зооморфные предметы (Там же).

Б.О. Долгих вернулся на полуостров уже после окончания своей четырехлетней ссылки на р. Лена (был осужден в 1929 г.). Он участвовал в землеустроительной экспедиции, направленной из Иркутска на Таймыр (Авамский район) и в Эвенкию, во время которой ему удалось собрать массу новых этнографических данных, а также сделать множество записей нганасанского фольклора, часть которых была издана в книге «Легенды и сказки и нганасан» в Красноярске в 1938 г. Как написал уже в более позднем издании сам Б.О. Долгих, «только 17 наших записей 1927 и 1935 гг. объемом около 7 авторских листов были в 1938 г., и при этом с некоторыми купюрами, изданы» (1976: 16).

Книга была издана уже во время работы Бориса Осиповича в Красноярском краеведческом музее (тогда Государственный музей Приенисейского края), где он трудился с 1937 по 1944 г. (Вайнштейн 2002: 290–291). В 1938–1939 гг. проводилась Северная экспедиция Красноярского музея. Основной официальной целью экспедиции стал «сбор материала о промышленном и социальном развитии северных территорий, о советизации и колхозном строительстве» (Баташев 2018). Однако сам Б.О. Долгих называл своей главной задачей фиксирование «ущевших,

чрезвычайно древнего происхождения сказаний грандиозного эпического цикла, сохранившегося в восточной части Таймырского и северо-восточной части Эвенкийского национальных округов» (Чурилова 1991: 74). Известно, что формальным главой экспедиции был назначен 25-летний комсомолец, не имевший политической судимости, в отличие от Б.О. Долгих, а третьим членом исследовательской группы стал фотограф музея (Баташев 2018). До зимы исследования велись в Усть-Порту и Дудинке, а затем группа работала среди нганасан, долган и затундренских крестьян в Крестах (р. Дудыпта), на факториях Авам, Волочанка и Лето-вье. Далее маршрут группы пролегал к озеру Ессей, где проживали северные якуты, и далее оттуда в Эвенкию, к поселку Тура.

Итоги экспедиции описаны следующим образом: «...всего по имеющимся актам сдано в архив рукописей и хранилища музея: 19 тетрадей на 923 листах, 1 папка с 14 документами, 1 книжка с записями по номенклатуре родства, 102 предмета коллекций» (Баташев 2018). Фонды музея обогатились 91 записью нганасанского фольклора, 12 – долганского, 73 – якутского, 77 – эвенкийского (Там же). Также было получено: два полных шаманских комплекса (костюмы и предметы) с описанием их ритуальных значений и функций (Чурилова 1991: 74–75); материалы по родовому составу и номенклатуре родства нганасан, якутов и эвенков с описаниями устройства сообщества (около 80 стр. и свыше 1 тыс. записей); рисунки 140 тамг; материалы по шаманизму и нганасанскому языку (950 слов с переводом), похоронным обрядам (около 30 страниц текста); путевой дневник и этнографические заметки (около 390 страниц), несколько сот этнографических фотографий. Полученные музеем два шаманских облачения нганасанские шаманы передали сами, «подробно объяснив символику и назначение отдельных предметов» (74). Подобного рода акты передачи являются особенно ценными и для современных исследователей, так как представляют собой не просто «собираение» вещей, часто оставленных, например, при захоронениях или после проведения определенных обрядов, а обретение предметов в коммуникации с представителями индигенной культуры. Конечно, стоит иметь в виду, что зачастую поводом для передачи, особенно в ранние советские годы, становились гонения на шаманов.

Материалы, собранные Б.О. Долгих во время его работы в Красноярском музее, использовались им в его последующих работах уже в качестве сотрудника Института этнографии Академии наук СССР, куда он был принят в 1944 г. В его работе в музее нашли отражение тренды нового советского краеведения 1930-х гг., которое приводилось к организационному единству и должно было представлять собой не что иное как «форму содействия социалистическому строительству» (Смидович 1930: 12). Однако в силу личной заинтересованности и работоспособно-

сти Б.О. Долгих удавалось заниматься и собственным исследовательским проектом, несмотря на громкий лозунг того же П.Г. Смидовича, призывающий краеведов «представлять одну армию, делающую одно дело, уничтожающую старое убожество человеческой жизни» (Там же).

Музейная работа А.А. Попова

Теперь поднимемся еще «выше» и перейдем к кейсу таймырских коллекций Музея антропологии и этнографии. После революции МАЭ и этнографический факультет Географического института, впоследствии потерявшего автономность, имели крепкую связь. Ведущие сотрудники музея (В.Г. Богораз, Л.Я. Штернберг) сыграли главную роль в постановке этнографического образования, а многие их ученики-этнографы работали в Комитете Севера и отправлялись в экспедиции; также деятельность музея была связана с курированием и консультированием краеведов (Станюкович 1978: 163–164, 172–174).

В 1931–1932 гг. А.А. Попов был направлен в экспедицию на северо-восток Таймырского национального округа. Ученый работал среди долган и нганасан по заданию Комиссии по изучению естественно-производительных сил (Грачева 1980: 59). Главная цель его работы как старшего научного сотрудника отдела Сибири – «собрание необходимых материалов для предположенных к реэкспозиции в 1932 г. отделов Сибири» (Чурилова 1991: 64). Причиной реэкспозиции стало наступление на этнографию, начавшееся в рамках сталинского «великого перелома» в 1929 г. и напрямую коснувшееся МАЭ. В рамках сложившейся парадигмы новой советской этнографии «все доиндустриальные народы СССР превратились в пережитки» (Слѣзкин 1993: 120), потому что настоящее было объявлено социалистическим, а несоциалистическая реальность – прошлым. Новый подход к изучению коренных народов требовал новых знаний и форм репрезентации.

Из отчетных документов экспедиции известно, что Андрей Александрович собрал «подлинные туземные рисунки», большое количество этнографических данных, информацию по фольклору и языку (Чурилова 1991: 64–65). Музеем было получено «небольшое собрание нганасанских предметов, еще в какой-то мере случайное, из районов Авамской тундры» (Грачева 1980: 59). Одежду, обувь, головные уборы, утварь, детские игрушки представляли 27 позиций этой коллекции. Среди приобретений также была модель нарт, нож и «образец пищи – кусок ююлы» (Там же). Комплектование долганской же коллекции, по мнению Г.Н. Грачевой, указывало на целенаправленное приобретение конкретных предметов: вещей, «выходящих из употребления». Долганы в музее уже были представлены разнообразными коллекциями, собран-

ными в дореволюционное время, а также в 1920-е гг. в экспедиции Комиссии по изучению Якутской АССР, переданные сотрудниками (по сути – краоведами) охотничье-промысловых и этнографо-экономических отрядов. Знакомый с этими коллекциями А.А. Попов старался приобрести более редкие вещи, такие как, например, подбородник, защищающий нижнюю часть лица от обморожения и вышедший из использования еще в первой половине XX в., так как долганы стали предпочитать для этих целей ткань. Еще один пример приобретения – веревки для оленя-манщика, которые использовали при особом, также почти забытом к середине прошлого века, способе охоты на дикого оленя. При этом одна из веревок была сплетена не из кожаных ремней, что было распространенной практикой изготовления, а из сухожилий оленя. Это также перестало встречаться в более поздние периоды (Грачева 1980: 59).

Экспозиции, представленные в МАЭ в те годы, отражают подход к репрезентации хозяйственных и культурных практик северных кочевников: открываются выставки «Пережитки техники каменного века у северных народностей СССР», «Женщина у народов Севера до и после революции». Экспозиции по тунгусам (эвенкам) и долганам были «пересобраны» в 1935 г. как часть новых выставок, которые должны были представить «древнейшие стадии человеческой культуры» – так называемых низших охотников и собирателей (Чурилова 1991: 65). Советская этнография теперь стала «теорией первобытно-общинного строя» (Слѣзкин 1993: 120), а дискуссии велись вокруг происхождения классов, проблемы внутренних противоречий в доклассовом обществе и роли пережитков в ходе эволюции, в русле которых и создавались подобные выставки. Так, В.Г. Богораз в предисловии к «Технике у долган» А.А. Попова писал, что действительно обогатить процесс сравнения в рамках теории пережитков каменных и костяных орудий, найденных археологами, с изделиями «этнографического происхождения» можно только при наличии описания процесса технической работы, полученного от этнографа (Богораз 1937: 89). Темпоральность таких выставок сама собой представляла утверждение нового советского мира и его времени, что основывалось на эволюционистском подходе к репрезентируемым культурам. То, что при помощи легитимности музейного ярлычка признавалось «древнейшим», но оставалось вполне себе используемым в настоящем, должно было *стать наследием* во имя культурной революции и именно в таком статусе представляться «передовой советской общестvenности», живущей в социалистическом настоящем.

При этом важно понимать, что те же этнографы, которые в том числе работали и над концепциями подобных выставок, имели свои взгляды на понимание темпоральности изучаемых ими малочисленных народов Севера. Так, тот же В.Г. Богораз, работавший и над концепциями вышеупомянутых выставок, включающих и таймырские коллекции, собранные

А.А. Поповым, стал автором одного из первых монографических эссе («Эйнштейн и религия», 1925) по антропологии времени, по мнению Н.В. Ссори́на-Чайкова (2021: 83). В этой работе, несмотря на отсылки к теории относительности, в целом представлен общий посыл, близкий скорее к релятивизму Франца Боаса: «...каждая система S [система представлений, характерная для конкретной культуры. – М.А.], каждая область явлений имеет свое собственное пространство и свое собственное время» (Богораз 1925).

Так или иначе, на основе собранных А.А. Поповым предметов и описаний нганасаны стали характеризоваться в советской историографии как сохраняющие в быту и культуре наиболее «архаичные черты». Андрей Александрович в своем известном труде «Нганасаны» (1948), по сути первой крупной монографии об этом коренном народе Таймыра, говорит о них как о стоящих «на грани первобытности», что, по его мнению, подчеркивает важность сбора «еще сохранившегося к тому времени [когда проходила экспедиция. – М.А.] старого уклада» (Попов 1948: 5). Это издание, представляющее материальную культуру, основано на материалах двухгодичной экспедиции А.А. Попова 1936–1938 гг. Исследователь кочевал с нганасанами по маршруту Дудинка–Норильск–Кресты (р. Пяси́на) и севернее от тракта, к дельте р. Хатанга. По мнению Г.Н. Грачевой, «ни одна из сибирских коллекций МАЭ по полноте характеристики народности не может сравниться с нганасанской коллекцией», собранной в данной экспедиции. В музей были доставлены 783 предмета (одежда и покрывала, орудия промыслов и обработки материалов, утварь, модели нарт и упряжи, курительные трубки, игрушки и др.), в числе которых первый в МАЭ полный комплекс шаманского одеяния с бубном и колотушкой, идолами, 800 фотографий и рисунки наблюдаемых промыслов, зарисовки орнамента, описания обрядов (в том числе известного «праздника чистого чума»), записи фольклора, лингвистические материалы, и прочее (Грачева 1980: 60). Описанные и зарисованные им «отсталые» хозяйственные практики, такие как промысел диких оленей при помощи изгородей, палок-махавок с привязанными к ним перьями птиц и сетей, ловля песцов при помощи каменных пастей, на фоне даже самых первых итогов коллективизации и модернизации на Севере к концу 1930-х гг. подкрепляли производимый нарратив «цивилизационной миссии» советской власти по спасению одного «из самых заброшенных малых народов Сибирского Севера», «обреченного на вымирание» имперским правительством и очень мало исследованного (Попов 1948: 5–6).

С деятельностью А.А. Попова связано возникновение краеведческого музея в Дудинке, который ведет активную работу и сегодня. Один из основных трендов нового советского краеведения 1930-х гг. был связан с

массовым развитием сети музеев. Этот процесс также называется «музефикацией краеведения» (Мельникова 2012: 235) и связывается с переносом всех типов краеведческой работы в музеи. Установка «нет ни одного района без краеведного музея» (Чурилова 1991: 76) определила необходимость создания такового и в административном центре новообразованного Таймырского национального округа. Уже в 1931 г. на заседании Президиума оргкомитета округа рассматривался вопрос о создании краеведческого музея в центре округа – Дудинке, предложенный для обсуждения А.А. Поповым (75). Обсуждение вопроса продолжалось вплоть до 1937 г., когда Таймырским окружным исполкомом было принято постановление «О постановке архивного дела в Таймырском национальном округе и организации краеведческого музея в Дудинке» (77). Основой коллекции музея стала временная выставка, подготовленная к шестилетней годовщине округа (к сожалению, коллекция была утрачена при пожаре в 1940 г.), были выделены средства для приобретения экспозиционного оборудования. В период с начала рассмотрения вопроса о создании музея до его воплощения помощь в сборе материалов для экспозиции должны были оказывать краеведческие ячейки различных появляющихся в округе предприятий (торгово-заготовительных, промышленных и т.п.), но их вклад сложно назвать существенным (79). Развитие музея происходило уже в послевоенный период: к 1947 г. относят начало комплектования этнографической коллекции, первый штатный директор был назначен только в 1950 г., а собственное помещение музей получил в 1955 г.

Работа А.А. Попова в 1930-е гг. проходила на фоне дискуссий вокруг предмета, терминологии и вообще существования самой этнографии как науки и во многом отразила процесс ее превращения в «настоящую» марксистскую научную дисциплину. Этнография должна была являть собой метод сбора исторической информации для последующего изучения исторических вопросов в рамках марксистского подхода: материального производства, процесса этногенеза и расселения людей, происхождения классов, семьи и религии, культурного строительства и т.д. Такое устройство дисциплины должно было также работать на создание определенной формы репрезентации культур коренных народов, основанной на признании настоящего современным и социалистическим, и помещении всего, не подпадающего под эти определения, в пространство музея.

Заключение

Преодоление «отсталости» северных кочевников стало ключевой задачей большевиков в первые десятилетия после революции. Этот многоуровневый процесс, во многом выстроенный исключительно на работе этнографов, включал освоение «машины репрезентации» (Хирш 2022)

через определенное устройство работы по сбору и музеефикации этнографических предметов и производству знания о сообществах северных кочевников. Борьба с неопределенностью таким образом происходила как бы в двух измерениях: а) само накопление информации о кочевниках позволяло власти эффективнее определять способы и формы управления территориями; б) репрезентация культур северных кочевников в «модернизирующем» дискурсе эксплицитно представляла путь от «первобытного» состояния «на грани вымирания» к социализму и «цивилизации». Основой этого процесса с началом коллективизации и индустриализации была музеефикация традиционной культуры и превращение предметов и практик бытовой жизни в экспонаты.

Комитет Севера, занятый, как и в просветительских мероприятиях, так и во всестороннем изучении коренного населения, при помощи работы краеведческого пункта культбазы производил более прикладное знание, которое могло быть использовано непосредственно в процессах хозяйственной модернизации в каждой отдельной местности. В отношении Таймыра важно иметь в виду труднодоступность и экстремальность погодных условий региона, которые влияли на скорость и качество работы краеведов культбазы. При этом важно отметить, что сам Комитет Севера был «продуктом» относительно либеральной программы науки. Он просуществовал всего 10 лет и был ликвидирован в 1935 г. Во многом именно стремление комитетчиков к относительно аккуратному вмешательству с ужесточением сталинского режима привело к негативным оценкам политики Комитета Севера. Так, М.А. Сергеев в «Некапиталистическом пути развития...», вышедшем за год до начала оттепели, называл идею В.Г. Богораза о выделении в отдельное промысловое пользование территорий коренных народов с запретом доступа туда переселенцев «обособлением населения от культурного воздействия соседей», которое привело бы к «оставлению их [аборигенов. – М.А.] в изоляции, к искусственному сохранению у них «музейной культуры» (1955: 216).

Деятельность Красноярского музея на Таймыре в 1930-е гг., как части краеведческой сети была связана с работой Б.О. Долгих и его проектами исследований, которые во многом строились вокруг практики фиксации «ускользающей культуры». Поскольку в этот же период государство выстраивало новую контролирующую политику по отношению к краеведению, работа Б.О. Долгих так или иначе встраивалась в общий «модернизирующий» дискурс репрезентации индигенных культур. Однако нельзя не отметить позитивное влияние самой возможности проведения экспедиционных исследований, мощные пополнения коллекций музея, посвященных коренным народам Таймыра, и ревизию уже имеющегося фонда. Последующие таймырские исследования Б.О. Долгих во многом опирались на данный опыт. Собранные им в 1920-е гг. в составе отряда

Приполярной переписи и в 1930-е гг. при экспедиционных исследованиях музея этнографические и фольклорные материалы легли в основу многих его трудов, часть которых, например его диссертация о родоплеменном составе населения Севера Средней Сибири, до сих пор не опубликованы.

Репрезентация культуры северных кочевников в МАЭ как в одном из главных музеев страны была полностью подчинена политическому курсу 1930-х гг. и «модернизирующему» дискурсу в репрезентации культуры (в рассматриваемом мной случае) таймырских кочевников. Работа А.А. Попова как сотрудника МАЭ в русле формирующейся советской этнографии у нганасан была направлена на укрепление нарратива «цивилизационной миссии» советской власти по спасению одного из самых «архаичных» и «заброшенных» имперским правительством народов. Созданный при его участии краеведческий музей в Дудинке ознаменовал начало локальной работы на самом полуострове, которая в дальнейшем привела к включению представителей коренных сообществ в дискурс наследия.

Представляется важным отметить, что практически невозможно говорить об индигенном «голосе» во всем процессе музеефикации культуры в первые десятилетия после революции. Тем не менее исследование этого периода необходимо, важен поиск новых источников, при этом не только для академии, но и для мира за ее пределами, так как сегодня у представителей коренных сообществ существует запрос на взаимодействие с музейными предметами и архивными материалами и использование этих знаний в современной жизни и работе с собственным наследием. На мой взгляд, это принесет только пользу совместному производству знания учеными и изучаемыми ими сообществами. В завершении приведу два описания этого процесса, предложенные моим собеседником-долганином:

Вот Попов записал [что-то, но] не дописал фразу легенды, или там еще чего-то, потому что там суть должна быть. Видно, что он ее не дописал. Он ее забыл, наверное, или потерял листочек... Получается, несколько лет хранилась она, издали ее, например, а конец этой легенды [пропал, но] устно она так и ходит. И вот когда я маленький был, мне бабушка рассказывала, мама мне рассказывала, этот пазл, он вставляется туда... Вот я когда читаю [А.А. Попова], то это одна и та же сказка соединилась и мне понятно потом, о чем...

Нам надо прийти к консенсусу, к какому-то договору между институтами, между музеями, что носители культуры, которые занимаются человеком коренным именно, приезжают в любой музей, в архив... и [могут] бесплатно этим пользоваться. Бесплатно фотографировать. Для этого должны выделяться федеральные деньги этим институтам, этим музеям... Ведь это предмет моих предков (ПМА 2021, Дудинка).

Список источников

Андерсон Д.Дж. Тундровики: экология и самосознание таймырских эвенков и долган. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 1998.

- Баранов Д.А. Этнографические музеи сегодня // Антропологический форум. 2007. № 6. С. 21–25.
- Баташев М.С. Борис Осипович Долгих: автор самого выдающегося исследования в сибиреведении XX века. 2018. URL: <https://www.kkkm.ru/o-muzee/istoriya-muzeya/130-stranic-istorii-muzeya/boris-osipovich-dolgih-avtor-samogo-vydayushegosya-issledovaniya-v-sibirevedenii-hh-veka> (дата обращения: 15.11.2023).
- Богораз (Тан) В.Г. Эйнштейн и религия. Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. Вып. 1. Москва; Петроград: Издательство Л.Д. Френкель, 1925. URL: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_1925_einshteyn.shtml (дата обращения: 10.11.2023).
- Богораз В.Г. Предисловие к работе А.А. Попова «Техника у долган» // Советская этнография. 1937. № 1. С. 88–91.
- Бурмакина Г.А., Гайдин С.Т. «Построение социализма» на территории Таймырского национального округа в 1930–1941 гг. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. № 6 (63). С. 103–113.
- Вайнштейн С.И. Судьба Бориса Осиповича Долгих – человека, гражданина, ученого // Репрессированные этнографы / отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М., 2002. С. 284–307.
- Гарданов В.К. Музейное строительство и охрана памятников куль-туры в первые годы Советской власти (1917–1920) // История музейного дела СССР: сборник статей. Труды научно-исследовательского института музееведения. Вып. 1. М., 1957.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1017. Планы и программы работы краеведческих пунктов.
- ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1144. Отчет о работе Хатангского краеведческого пункта за 1933–1935 г.
- ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 588. Материалы о работе культбаз в туземных районах (положение, план, статья).
- ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 590. Материалы по вопросу организации культбазы в туземных районах Восточно-Сибирского, Дальневосточного краях, Томского округа, Красноярского округа (пояснительная записка и переписка).
- Грачева Г.Н. Таймырские коллекции МАЭ (долганы и нганасаны) // Собрания Музея антропологии и этнографии АН СССР. Л.: Наука, 1980. С. 57–64. (Сборник Музея антропологии и этнографии, т. 35)
- Гурвич И.С. Принципы ленинской национальной политики и применение их на Крайнем Севере // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера. М.: Наука, 1971. С. 9–49.
- Дворецкая А.П. Таймырское восстание 1932 г. в документах ГАКК // Арктика 2019: традиции, инновации, экология, безопасность, проблемы коренных малочисленных народов: материалы Международной научно-практической конференции, Красноярск, 17–18 мая 2019 года. Красноярск, 2019. С. 191–194.
- Долгих Б.О. Происхождение долган // Сибирский этнографический сборник. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. Т. V. С. 92–141.
- Долгих Б.О., Левин М.Г. Переход от родоплеменных связей к территориальным в истории народов Северной Сибири // Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. М., 1951.
- Долгих Б.О. Население полуострова Таймыра и прилегающего к нему района // Северная Азия. 1929. Кн. вторая.
- Долгих Б.О. (сост.) Мифологические сказки и исторические предания нганасан. М., 1976.
- Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. СПб.: Европейский Дом, 2005.
- Истомин К.В., Вахтин Н.Б. Фактор неопределенности в современных сообществах Крайнего Севера РФ: методологические подходы к изучению // Проблемы Арктики и Антарктики. 2022. № 68 (4). С. 420–436.
- Львов А.К. Культурные базы на Севере // Устроение туземных племен. М., 1926. С. 28–37.

- Мартин Ф. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
- Мельникова Е.А. «Сближались народы края, представителем которого являюсь я»: краеведческое движение 1920–1930-х годов и советская национальная политика // *Ab Imperio*. 2012. № 1. С. 209–240.
- Национальная политика СССР по отношению к коренным малочисленным народам Севера в Эвенкийском и Таймырском национальных округах Красноярского края в 1920–1970 годы / Н.П. Копцева, К.А. Дегтяренко, Ю.С. Замаева [и др.]. Красноярск, 2022.
- Полевые материалы автора (ПМА 2021). Дудинка – полевые материалы, собранные в экспедиции на Таймыр в январе 2021 г.
- Попов А.А. Оленеводство у долган // *Советская этнография*. 1935. № 4–5. С. 184–205.
- Попов А.А. Техника у долган // *Советская этнография*. 1937. № 1. С. 91–136.
- Попов А.А. Нганасаны. Вып. 1: Материальная культура // *Труды Ин-та этнографии АН СССР*. Новая серия. Т. III. М.; Л., 1948.
- Попов А.А. Кочевая жизнь и типы жилищ у долган (По материалам 1930–1931 гг.) // *Сибирский этнографический сборник. I. Труды Института этнографии АН СССР*. Новая серия. 1952. Т. XVIII. С. 142–172.
- Сергеев М.А. Комитет содействия народностям северных окраин // *Летопись Севера*. М., 1962. Т. 3.
- Сергеев С.А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М.; Л., 1955.
- Слэзкин Ю.Л. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- Слэзкин Ю.Л. Советская этнография в локдауне: 1928–1938. Пути развития этнологии // *Этнографическое обозрение*. 1993. № 2.
- Смидович П.Г. Краеведение на путях социалистического строительства // *Социалистическое строительство и краеведение*. М., 1930. С. 12.
- Смит Л. «Зеркало наследия»: нарциссическая иллюзия или множество отражений? // *Вопросы музеологии*. 2013. № 2 (8). С. 27–44.
- Ссорин-Чайков Н.В. Антропология времени: очерк истории и современности // *Этнографическое обозрение*. 2021. № 6. С. 81–103.
- Станюкович Т.В. Этнографическая наука и музеи. Л., 1978.
- Хириш Ф. Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- Чурилова Л.А. Роль музеев в сохранении и развитии культуры народностей Севера (1917–1980 гг.): на материалах народностей севера средней Сибири: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1991.
- Шмакова Н.В., Акимова Е.В. Деятельность Бюро краеведения КОРГО (ССОРГО) по организации массовой краеведческой работы в Приенисейской Сибири (1924–1928 гг.) // *Северные Архивы и Экспедиции*. 2021. Т. 5, № 4. С. 165–176.
- Beck U. The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited // *Theory, Culture & Society*. 2002. No. 19 (4). P. 39–55.
- Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
- Samimian-Darash L., Rabinow P. (eds). Modes of Uncertainty: Anthropological Cases. University of Chicago Press, 2015.

References

- Anderson D.G. (1998) *Tundroviki: ekologiya i samosoznanie taimyrskikh evenkov i dolgan* [Tundroviki: the ecology and identity of the Taimyr evenkis and dolgans]. Novosibirsk: Izd-vo Sibirskogo otdeleniia RAN. (In Russian)
- Baranov D.A. (2007) *Etnograficheskie muzei segodnia* [Ethnographical Museums Today], *Antropologicheskii forum*, no. 6, pp. 21–25.

- Batashev M.S. (2018) *Boris Osipovich Dolgikh: avtor samogo vydaiushchegosia issledovaniia v sibirevedenii XX veka* [Boris Osipovich Dolgikh: the author of the most outstanding research in the Siberian studies of the twentieth century]. Available at: <https://www.kkkm.ru/o-muzee/istoriya-muzeya/130-stranic-istorii-muzeya/boris-osipovich-dolgih-avtor-samogo-vydayushchegosya-issledovaniya-v-sibirevedenii-hh-veka> (Accessed 15 November 2023).
- Bogoraz (Tan) V.G. (1925) *Einshtein i religii. Primenenie printsipa otositel'nosti k issledovaniu religioznykh iavlenii* [Einstein and religion. Application of the principle of relativity to the study of religious phenomena]. Vol. 1. Izdatel'stvo L.D. Frenkel'. Moscow – Petrograd, Available at: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_1925_einshteyn.shtml (Accessed 10 November 2023).
- Bogoraz V.G. (1937) *Predislovie k rabote A.A. Popova «Tekhnika u dolgana»* [Preface to the work of A.A. Popov “Technique of the Dolgans”], *Sovetskaiia etnografiia*, no. 1, pp. 88–91.
- Burmakina G.A., Gaidin S.T. (2019) «Postroenie sotsializma» na territorii Taimyrskogo natsional'nogo okruga v 1930–1941 gg. [“Building Of Socialism” On the Territory of Taymyr National District In 1930–1941], *Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, no. 6 (63), pp. 103–113.
- Vainshtein S.I. (2002) *Sud'ba Borisa Osipovicha Dolgikh — cheloveka, grazhdanina, uchenogo* [The fate of Boris Osipovich Dolgikh — a man, a citizen, a scientist]. In: *Repressirovannnye etnografy* [Repressed ethnographers] / ed. by. D.D. Tumarkin. Moscow, pp. 284–307.
- Gardanov V.K. (1957) *Muzeinoe stroitel'stvo i okhrana pamiatnikov kul'tury v pervye gody Sovetskoi vlasti (1917–1920)* [Museum construction and protection of cultural monuments in the early years of Soviet power (1917–1920)]. In: *Istoriia muzeinogo dela SSSR. Sbornik statei. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta muzeovedeniia* [The history of the museum work of the USSR. Collection of articles. Proceedings of the Scientific Research Institute of Museology]. Vol 1. Moscow.
- State Archive of the Russian Federation (GARF). Fund R-3977. List 1. File 1017. *Plany i programmy raboty kraevedcheskikh punktov* [Plans and work programs of local lore centers].
- GARF. Fund R-3977. List 1. File 1144. *Otchet o rabote Khatangskogo kraevedcheskogo punkta za 1933–1935 g.* [Report on the work of the Khatanga local lore center for 1933–1935].
- GARF. Fund R-3977. List 1. File 588. *Materialy o rabote kul'tbaz v tuzemnykh raionakh (polozhenie, plan, stat'ia)* [Materials on the work of cultural centers in native areas (regulations, plan, article)].
- GARF. Fund R-3977. List 1. File 590. *Materialy po voprosu organizatsii kul'tbazy v tuzemnykh raionakh Vostochno-Sibirskogo, Dal'nevostochnogo kraia, Tomskogo okruga, Krasnoyarskogo okruga (poiashnitel'naia zapiska i perepiska)* [Materials on the issue of organizing a cultural centers in the native areas of the East Siberian, Far Eastern Territories, Tomsk District, Krasnoyarsk District (explanatory note and correspondence)].
- Gracheva G.N. (1980) *Taimyrskie kollektsii MAE (dolgany i nganasany)* [Taimyr collections of MAE (dolgans and nganasans)]. *Sobraniia Muzeia antropologii i etnografii AN SSSR* [Collections of the Museum of Anthropology and Ethnography of the USSR Academy of Sciences]. Leningrad: Nauka, pp. 57–64. (Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography, vol. 35)
- Gurvich I.S. (1971) *Printsipy leninskoi natsional'noi politiki i primeneniye ikh na Krainem Severe* [Principles of Leninist national policy and their application in the Far North]. In: *Osushchestvleniye leninskoi natsional'noi politiki u narodov Krainego Severa* [Implementation of Lenin's national policy among the peoples of the Far North]. Moscow: Nauka, pp. 9–49.
- Dvoret'skaia A.P. (2019) *Taimyrskoe vosstanie 1932 g. v dokumentakh GAKK* [Taimyr Uprising Of 1932 In The Documents Of The State Archive Of The Krasnoyarsk Territory]. In: *Arktika 2019: traditsii, innovatsii, ekologiya, bezopasnost', problemy korennykh malochislennykh narodov: Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Krasnoyarsk, 17–18 maia 2019 goda* [Arctic 2019: traditions, innovations, ecology, safety, problems of indigenous peoples: Proceedings of the international scientific and practical conference, Krasnoyarsk, May 17–18, 2019]. Krasnoyarsk, pp. 191–194.

- Dolgikh B.O. (1963) Proiskhozhdenie dolgan [The origin of the Dolgans]. In: *Sibirskii etnograficheskii sbornik* [Siberian Ethnographic Collection]. Moscow: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Vol. V, pp. 92–141.
- Dolgikh B.O., Levin M.G. (1951) Perekhod ot rodoplemennykh svyazi k territorial'nym v istorii narodov Severnoi Sibiri [The transition from tribal to territorial ties in the history of the peoples of Northern Siberia]. In: *Rodovoe obshchestvo. Etnograficheskie materialy i issledovaniia* [Tribal society. Ethnographic materials and research]. Moscow.
- Dolgikh B.O. (1929) Naselenie poluostrova Taimyra i prilagaiushchego k nemu raiona [Population of the Taimyr Peninsula and the adjacent region]. *Severnaia Aziia*. Is. 2.
- Dolgikh B.O. (comp.) (1976) *Mifologicheskie skazki i istoricheskie predaniia nganasan* [Mythological tales and historical traditions of the Nganasans]. Moscow.
- D'iachenko V.I. (2005) *Okhotniki vysokikh shirot: dolgany i severnye iakuty* [Hunters of high latitudes: Dolgans and northern Yakuts]. St. Petersburg: Evropeiskii Dom.
- Istomin K.V., Vakhtin N.B. (2022) Faktor neopredelennosti v sovremennykh soobshchestvakh Krainego Severa RF: metodologicheskie podkhody k izucheniiu [Uncertainty Factor In Contemporary Communities Of The Russian Arctic: Methodological Approaches To Research], *Problemy Arktiki i Antarktiki*, no. 68 (4), pp. 420–436.
- L'vov A.K. (1926) Kul'turnye bazy na Severe [Cultural centers in the North]. In: *Ustroenie tuzemnykh plemen* [Organization of the native tribes]. Moscow, pp. 28–37.
- Martin F. (2011) *Imperiia "polozhitel'noi deiatel'nosti": Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923–1939* [The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939]. Moscow. (In Russian)
- Mel'nikova E.A. (2012) «Sblizhalis' narody kraia, predstavitelem kotorogo iavliaiush' ia»: kraevedcheskoe dvizhenie 1920–1930-kh godov i sovetskaia natsional'naiia politika [“The Peoples of the Kray, Which I Represent, Became Closer”: The Local Studies' Movement of the 1920–30s and Soviet National Politics], *Ab Imperio*, no. 1, pp. 209–240.
- Natsional'naiia politika SSSR po otnosheniiu k korennyim malochislennym narodam Severa v Evenkiiskom i Taimyrskom natsional'nykh okrugakh Krasnoiarskogo kraia v 1920–1970 gody* [National policy of the USSR towards the indigenous peoples of the North in the Evenki and Taimyr national districts of the Krasnoyarsk Krai in 1920–1970] / N.P. Koptseva, K.A. Degtiarenko, Iu.S. Zamaraeva [et al.]. Krasnoiarsk, 2022.
- Author's Field Materials (PMA 2021), Dudinka – field materials collected during the expedition to Taimyr in January 2021.
- Popov A.A. (1935) Olenevodstvo u dolgan [Reindeer husbandry among the Dolgans], *Sovetskaia etnografiia*, no. 4–5, pp. 184–205.
- Popov A.A. (1937) Tekhnika u dolgan [Dolgan's technique], *Sovetskaia etnografiia*, no. 1, pp. 91–136.
- Popov A.A. (1948) Nganasany. Vyp. 1. Material'naia kul'tura [Nganasans. Vol. 1. Material culture]. *Trudy Instituta etnografii AN SSSR, nov. seriia* [Proceedings of the Institute of Ethnography of the USSR Academy of Sciences, new series], Vol. III, Moscow–Leningrad.
- Popov A.A. (1952) Kochevaia zhizn' i tipy zhilishch u dolgan (Po materialam 1930–1931 gg.) [Nomadic life and types of dwellings among the Dolgans (Based on materials from 1930–1931)]. In: *Sibirskii etnograficheskii sbornik, I, Trudy Instituta etnografii AN SSSR, nov. seriia* [Siberian ethnographic collection, I, Proceedings of the Institute of Ethnography of the USSR Academy of Sciences, new series]. Vol. XVIII, pp. 142–172.
- Sergeev M.A. (1962) Komitet sodeistviia narodnostiam severnykh okrain [Committee for Assistance to the Peoples of the Northern Outskirts]. *Letopis' Severa* [Chronicle of the North]. Moscow, Vol. 3.
- Sergeev S.A. (1955) *Nekapitalisticheskii put' razvitiia mal'kh narodov Severa* [Non-capitalist path of development of small peoples of the North]. Moscow; Leningrad.
- Slezkine Yu.L. (2008) *Arkticheskie zerkala: Rossiia i malye narody Severa* [Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

- Slezkine Yu.L. (1993) *Sovetskaia etnografiia v lokdaune: 1928–1938. Puti razvitiia etnologii*. [Soviet ethnography during lockdown: 1928–1938. Ways of development of ethnology], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 2.
- Smidovich P.G. (1930) *Kraevedenie na putiakh sotsialisticheskogo stroitel'stva* [Local history on the paths of socialist construction]. In: *Sotsialisticheskoe stroitel'stvo i kraevedenie* [Socialist construction and local history]. Moscow, pp. 12.
- Smith L. (2013) «Zerkalo nasledii»: nartsissicheskaiia illiuziia ili mnozhestvo otrazhenii? [The “Patrimonial Mirror”: Narcissistic Illusion or Multiple Reflections?], *Voprosy muzeologii*, no. 2 (8), pp. 27–44.
- Ssorin-Chaikov N.V. (2021) *Antropologiiia vremeni: ocherk istorii i sovremennosti* [The Anthropology of Time: History and The State of The Art], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 6, pp. 83–103.
- Staniukovich T.V. (1978) *Etnograficheskaiia nauka i muzei* [Ethnographic science and museums]. Leningrad.
- Hirsch F. (2022) *Imperiia natsii. Etnograficheskoe znanie i formirovanie Sovetskogo Soiuz*a [Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
- Churilova L.A. (1991) *Rol' muzeev v sokhranении i razvitii kul'tury narodnostei Severa (1917–1980 gg.): na materialakh narodnostei severa srednei Sibiri*: Avtoref. dis. kand. ist. nauk [The role of museums in the preservation and development of the culture of the peoples of the North (1917–1980): on materials of the peoples of the north of central Siberia: Abstract of the dissertation of a candidate of historical sciences]. Moscow.
- Shmakova N.V., Akimova E.V. (2021) *Deiatel'nost' Biuro kraevedeniia KORG*O (SSORGO) po organizatsii massovoi kraevedcheskoi raboty v Prieniseiskoi Sibiri (1924–1928 gg.) [Regional Studies Bureau of Krasnoyarsk Branch of Russian Geographical Society Organizing Massive Regional Studies Activities in Prienisey Siberia (1924–1928)], *Severnye Arkhivy i Ekspeditsii*, Vol. 5, no. 4, pp. 165–176.
- Beck U. (2002) The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited, *Theory, Culture & Society*, No. 19(4), pp. 39–55.
- Douglas M., Wildavsky A. (1982) *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkeley: University of California Press.
- Samimian-Darash L., Rabinow P. (eds) (2015) *Modes of Uncertainty: Anthropological Cases*. University of Chicago Press.

Сведения об авторе:

МОЧАЛОВА Мария Алексеевна – младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии (Москва, Россия). E-mail: masha.mochalova@iea.ras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Maria A. Mochalova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: masha.mochalova@iea.ras.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 01 февраля 2024 г.;
принята к публикации 01 марта 2024 г.*

*The article was submitted 01.02.2024;
accepted for publication 01.03.2024.*

MISCELLANEA

Научная статья
УДК 572.029
doi: 10.17223/2312461X/43/11

Внешний облик населения средневековой крепости Плёс

Елизавета Валентиновна Веселовская¹,
Анна Владимировна Рассказова²,
Юлия Вадимовна Рашковская³,
Екатерина Андреевна Просикова⁴

^{1, 2, 3, 4} *Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия*

¹ *veselovskaya.e.v@yandex.ru*

² *rasskazova.a.v@yandex.ru*

³ *j.pelenitsyna@gmail.com*

⁴ *prosikova@iea.ras.ru*

Аннотация. Восстановлен внешний облик населения XI–XIII вв., проживавшего на территории современного города Плёс Ивановской области. Краниологический материал происходит из двух некрополей с территории города: Варваринского – 8 черепов (5 мужских, 3 женских) и кладбища на Соборной горе – 6 черепов (3 мужских, 3 женских). Для работы были отобраны целые черепа, по которым возможна достоверная реконструкция прижизненного облика. Проводили расчет прижизненных размеров головы на основе размеров черепа по программе «Алгоритм внешности». Были выполнены графические реконструкции фас и профиль по четырем индивидам в разных техниках, в виде карандашного рисунка и в виде изображения, приближенного к фотографии. Приведена скульптурная реконструкция представительницы местного населения костромской мери, выполненная ранее.

Помимо создания индивидуальных краниофациальных реконструкций представлен новый метод визуализации палеоантропологических данных – обобщенный портрет-реконструкция по краниологическим материалам. Этот метод является аналогом обобщенного фотопортрета в исследованиях современного населения. Только здесь на первом этапе выполняют обобщенное изображение черепа и на его основе восстанавливают усредненный прижизненный внешний облик. Обобщенный портрет-реконструкция иллюстрирует морфологические особенности палеоантропологической группы в целом, позволяя проводить визуальное сравнение с современными популяциями и соотнести полученные результаты с обобщенными портретами современных групп.

Мужчины и женщины средневекового Плёса характеризовались узкой головой, несколько удлинённой в лобно-затылочном направлении, слабым развитием надбровного рельефа, ортогнатным лицом средней высоты и ширины, высоким переносом, выступающим носом, небольшими глазами и достаточно крупной нижней челюстью.

Ключевые слова: антропологическая реконструкция внешности, средневековая крепость Плёс, обобщенный портрет, краниология

Благодарности: исследование выполнено в рамках реализации совместного гранта РФ № 23-48-10011 / БРФФИ № Б23РФ-121 «Биоархеологическая реконструкция образа жизни и физических характеристик средневекового населения Беларуси и европейской части России».

Для цитирования: Веселовская Е.В., Рассказова А.В., Рашковская Ю.В., Просикова Е.А. Внешний облик населения средневековой крепости Плѣс // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 166–184. doi: 10.17223/2312461X/43/11

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/11

The Appearance of the Population of the Medieval Fortress of Ples

Elizaveta V. Veselovskaya¹, Anna V. Rasskazova²,
Yulia V. Rashkovskaya³, Ekaterina A. Prosikova⁴

^{1, 2, 3, 4} *Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation*

¹ *veselovskaya.e.v@yandex.ru*

² *rasskazova.a.v@yandex.ru*

³ *j.pelenitsyna@gmail.com*

⁴ *prosikova@iea.ras.ru*

Abstract. The present study is devoted to the restoration of the appearance of the population (XI–XIII centuries), that lived on the territory of the modern city of Ples, Ivanovo region. The craniological material comes from two necropolises: Varvarinsky – 8 skulls (5 male, 3 female) and the cemetery on Cathedral Hill – 6 skulls (3 male, 3 female). Whole skulls were selected for the work, according to which a reliable reconstruction of the lifetime appearance is possible. The calculation of the lifetime size of the head was carried out based on the size of the skull according to the program “Algorithm of the Appearance”. Graphic reconstructions of the face and profile of four individuals were performed in different techniques: a pencil drawing and a photograph image. A sculptural reconstruction of a representative of the local population of Kostroma Merya, made earlier, is given.

In addition to creating individual craniofacial reconstructions, the article presents a new method for visualizing paleoanthropological data – a generalized portrait reconstruction based on craniological materials. This method is an analogue of the generalized photo portrait in studies of the modern population. Only here, at the first stage, a generalized image of the skull is performed and, based on it, the average lifetime appearance is restored. The generalized portrait reconstruction illustrates the morphological features of the paleoanthropological group as a whole, allowing for visual comparison with modern populations and correlating the results obtained with generalized portraits of modern groups.

Men and women of the medieval Ples have a narrow head, somewhat elongated in the frontal-occipital direction, weak development of the brow relief, an orthognathic face, medium height and width, a high nose bridge, a protruding nose, small eyes and a rather large lower jaw.

Keywords: anthropological reconstruction of appearance, medieval fortress of Ples, generalized portrait, craniology

Acknowledgements: The study was carried out within the framework of the implementation of the joint grant of the Russian Academy of Sciences No. 23-48-10011 / BRFFI No. B23RNF-121 “Bioarchaeological reconstruction of the lifestyle and physical characteristics of the medieval population of Belarus and the European part of Russia”.

For citation: Veselovskaya, E.V., Rasskazova, A.V., Rashkovskaya, Y.V. & Prosikova, E.A. (2024) The Appearance of the Population of the Medieval Fortress of Ples. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 166–184 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/11

Введение

Антропологическая реконструкция внешности в наши дни позволяет получить как наглядную, так и числовую информацию о внешнем облике людей прошлых эпох. Метод восстановления лица по черепу, разработанный М.М. Герасимовым, широко применяется в палеоантропологии для характеристики ископаемых популяций (Герасимов 1955). Работы последователей этого ученого расширяют возможности антропологической реконструкции и позволяют более широко и информативно представлять ее результаты. Программа «Алгоритм внешности», основанная на предшествующих исследованиях по краниофациальным взаимосвязям, дает возможность получить прижизненные размерные и качественные характеристики головы на основе соответствующих параметров черепа (Веселовская 2018). Таким образом, можно получать таблицы прижизненных размеров на палеоантропологическом материале. Современные исследования лица и черепа одних и тех же индивидов, проводимые на компьютерных томограммах, позволяют уточнить процесс реконструкции и повысить сходство, что особенно востребовано в криминалистике (Рассказова и др. 2020). Новый метод обобщенного портрета, основой для которого служит трехмерная усредненная модель черепа, выполненная по черепам одной выборки, позволяет наглядно представить особенности внешности данного населения и провести визуальное сопоставление с обобщенными портретами, выполненными по современным популяциям (Рассказова 2023).

В настоящей статье для характеристики прижизненного облика средневекового населения г. Плёс Ивановской области были применены последние наработки в области антропологической реконструкции, в том числе расчет прижизненных размеров головы на основе размеров черепа. Также были выполнены индивидуальные портреты-реконструкции по одному женскому и трем мужским черепам в различных техниках, как в виде карандашного рисунка, так и с помощью компьютерной графики, приближенной по качеству к фотографии.

По восьми мужским черепам по новой методике было создано обобщенное изображение черепа, и на его основе проводили восстановление внешнего облика методом антропологической реконструкции М.М. Герасимова с учетом современных доработок (Герасимов 1955; Лебединская 1998; Балуева, Веселовская 2004; Рассказова, Веселовская, Пеленицына 2020).

Население средневековой крепости Плѣс складывалось как за счет местного населения, костромской мери, так и за счет двигавшихся с запада славянских племен, преимущественно кривичей. Изученные материалы происходят из захоронений двух кладбищ, расположенных на территории города. Захоронения на Варваринском некрополе, по образцам из которого проводилась датировка радиоуглеродным методом, проводились жителями в XI–XIII вв. Антропологические материалы этого памятника были подробно изучены ранее (Васильев и др. 2020). Второе кладбище, локализованное на Соборной горе, возникло на месте разрушенной ордынским нашествием Плѣсской крепости. По данным археологов, погребения на нём производились на протяжении середины – второй половины XIII в. (Травкин 2023). Представленные портреты, иллюстрирующие внешний облик городского средневекового населения Верхневолжского региона, позволяют отразить изменчивость антропологического облика на данной территории во времена славянской колонизации, до монгольского нашествия и в первые его десятилетия. Выполненный обобщенный портрет дает возможность визуального сопоставления внешнего облика жителей Плѣса с современными популяциями.

Плѣс по данным археологии

Первое упоминание города в письменных источниках относится к 1141 г. (ПСРЛ 1950). Поселение же возникло намного раньше. Именно в XII в. на высоком правом берегу Волги при впадении в нее реки Шохонки строится крепость, которая просуществовала с середины XII до середины XVI вв. Первые археологические раскопки крепостного вала на территории Плѣсского городища проводились в 1957 г. П.А. Раппопортом. После большого перерыва только в 1986 г. археологические исследования были возобновлены археологом музея-заповедника г. Плѣс В.Н. Травкиным и продолжались до 2005 г.

Результаты этих многолетних исследований выявили основные составляющие сложившегося в домонгольское время города: крепость, посад, раннесредневековый некрополь и центральное святилище (Травкин 2023). Некрополь располагался на современной Соборной горе. В 1237–1238 гг. Плѣс в числе прочих городов Северо-Восточной Руси подвергся татаро-монгольскому нашествию.

Материалы и методы

Изученная серия (8 мужских черепов, 6 женских) составлена из захоронений на двух кладбищах, расположенных на территории объекта археологического наследия «Плѣс. Историко-культурный слой г. Плѣс». Для настоящей статьи были отобраны целые черепа, по которым воз-

можно достоверная реконструкция внешнего облика. Охранные раскопки первого, Варваринского, некрополя проводились коллективом Ивановской археологической экспедиции в 2014 г. по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Варваринская, 18 (Аверин, Барышников, Самотовинский 2018). Участок, где было зафиксировано кладбище, расположен на правом берегу р. Шохонка на территории «Рыбной слободы». Радиоуглеродное датирование по археологической атрибутике и костям скелета показывает диапазон существования кладбища от XI до XIII в. Эта часть выборки представлена 8 черепами (5 мужских и 3 женских). Вторую часть выборки составили 6 черепов (3 мужских и 3 женских) из некрополя на Соборной горе, раскопки 90-х г. сотрудника музея-заповедника Плёс П.Н. Травкина (Травкин 2023). Кладбище на Соборной горе, площадью не более чем 65×35 м, датируется XIII в., т.е. предположительно функционировало незадолго до и несколько десятилетий после нашествия Батыя.

Метод антропологической реконструкции. Современные подходы

Работа над восстановлением облика начинается с подробного изучения черепа. Проводят измерения, фиксируют описательные признаки и индивидуальные особенности. Затем с применением программы «Алгоритм внешности» рассчитывают прижизненные параметры на основе измерений черепа, оценивают пропорции головы, реконструируют качественные характеристики (Веселовская 2018). Все изученные черепа прошли через эту процедуру, а затем были рассчитаны средние показатели прижизненных размеров головы отдельно для мужчин и женщин.

Методический подход «Алгоритм внешности» сочетает в себе: а) пошаговый алгоритм перехода от краниологических характеристик к антропометрии и антропоскопии живого лица; б) расчет индексов, характеризующих пропорции головы; в) отнесение полученных размеров и индексов к качественным категориям; г) описание прижизненного внешнего облика (словесный портрет). Для научного восстановления внешности используют результаты двух направлений научно-исследовательских работ в области антропологической реконструкции: 1) изучение распределения по поверхности черепа мягкотканых покровов; 2) поиск соответствий отдельных элементов внешности подлежащим костным структурам.

В свою очередь, второе направление можно представить двумя подходами. Первый из них подразумевает поиск корреляционных связей между размерами головы и черепа. Это такие важные для физиономического облика признаки, как высота и ширина уха, ширина носа и рта, размеры глазной щели. Второй подход обращается к качественным, описательным признакам, многие из которых имеют очевидное соответствие черепной и лицевой характеристик. Это форма лица и головы в

целом, развитие рельефа надбровья, наклон и характер линии лба, степень выступления подбородка, особенности выступления губ в зависимости от прикуса. Некоторые другие лицевые особенности, как, например развитие складки верхнего века, варианты формы кончика носа, толщина и конфигурация слизистой части губ, связаны с подлежащими структурами черепа более опосредованно. Именно в отношении этих признаков пока еще не найдено строгого соответствия костной морфологии, поэтому данные черты, индивидуализирующие внешность, выполняются в усредненном варианте.

При разработке программы «Алгоритм внешности» проводился подбор индексов, броско характеризующих лицевые пропорции. Отнесение этих индексов к категориям (большой, средний, малый) позволяет переводить числовые характеристики в словесное описание особенностей облика. Качественные обобщенные характеристики лицевых пропорций, такие как относительные ширина лица, высота и ширина лба, высота и ширина носа, относительные размеры глазной щели, ширины рта, высоты и ширины подбородка и другие в «Алгоритме внешности» получают путем отнесения рассчитанных индексов к трем категориям (большой, средний, малый). Причем для расчета индексов можно использовать как абсолютные размеры, так и условные – измеренные на фотографиях, рисунках или скульптурах, выполненных не в натуральную величину.

Деление на градации было произведено на базе изучения большого количества мужских и женских выборок европеоидных и монголоидных групп отдельно по трехчленному принципу. Размах вариаций каждого индекса разбит на три категории: большие, средние и малые значения. За границы средней категории принят интервал $M \pm 1/2 SD$, где M – средняя арифметическая величина признака, SD – среднее квадратическое отклонение по этому признаку (Веселовская 2018). В данном исследовании мы использовали градации для европеоидных групп.

Переход от размеров и признаков черепа к соответствующим параметрам головы. В основе программы «Алгоритм внешности» лежит комплекс признаков, которые в той или иной степени поддаются реконструкции на основании размерных и описательных характеристик черепа. Он включает ряд размеров головы и черепа стандартных антропометрической (Бунак 1941) и краниометрической программ (Алексеев, Дебеч 1964), к которому добавлено несколько специфических, редко используемых признаков. Комплекс параметров, формирующих измерительную программу, разделен на три группы в соответствии с различными подходами к их преобразованию на живом лице. Первая группа – размеры головы, получаемые из размеров черепа путем прибавления толщины мягких тканей (ТМТ); вторая группа – это размеры, примерно совпадающие на голове и черепе; третья группа – размеры головы, рассчитываемые с помощью регрессионного

анализа, в основу которого положены парные корреляции. В табл. 1 предлагается алгоритм перехода от размеров черепа к размерам головы за счет прибавления толщины мягкого покрова в определенных точках.

Таблица 1

Расчет размерных признаков головы путем добавления ТМТ к краниометрическим размерам

Размер на черепе/голове	Добавить ТМТ, мм	
	Мужчины	Женщины
Продольный диаметр	14	13
Поперечный диаметр	13	12
Наименьшая ширина лба	10	10
Ширина лба	15	12
Скуловой диаметр	10	10
Межглазничная ширина	12	10
Между эктокантионами	-8	-8
Верхняя ширина лица	10	10
Ширина переносья	6	6
Ширина спинки носа	6	6
Морфологическая высота лица	7	6
Высота нижней челюсти	7	6
Высота подбородка	7	6
Ширина подбородка	16	14

В табл. 2 приведены уравнения регрессии для расчета размеров отдельных элементов внешности на основе независимых предикторов – размеров черепа

Таблица 2

Расчет прижизненных размеров головы по уравнениям регрессии на основе размеров черепа

Прогнозируемый признак на лице	Признак на черепе	Уравнение регрессии
Физиономическая высота лица (ФВЛ)	Морфологическая высота лица (МВЛ)	$ФВЛ = 96,984 + 0,722 \times (МВЛ + 7 \text{ мм})^*$; $ФВЛ = 85,525 + 0,752 \times (МВЛ + 6 \text{ мм})$
Высота уха (ВУ)	Скуловой диаметр ($Z_y - Z_y$)	$ВУ = 38,317 + 0,177 \times (Z_y - Z_y + 10 \text{ мм})$; $ВУ = 16,526 + 0,320 \times (Z_y - Z_y + 10 \text{ мм})$
Ширина носа (ШН)	Ширина между клыковыми точками ($A_{11} - A_{11}$)	$ШН = 18,936 + 0,446 \times (A_{11} - A_{11})$; $ШН = 15,853 + 0,490 \times (A_{11} - A_{11})$
Ширина между носогубными складками (ШНГС)	Ширина между клыковыми точками ($A_{11} - A_{11}$)	$ШНГС = 21,744 + 0,843 \times (A_{11} - A_{11})$; $ШНГС = 21,780 + 0,747 \times (A_{11} - A_{11})$
Ширина фильтра (ШФ)	Ширина между клыковыми точками ($A_{11} - A_{11}$) для мужчин. Ширина переносья (ШП) для женщин	$ШФ = 7,295 + 0,118 \times (A_{11} - A_{11})$; $ШФ = 6,545 + 0,328 \times (ШП + 6 \text{ мм})$

Прогнозируемый признак на лице	Признак на черепе	Уравнение регрессии
Ширина рта (ШР)	Ширина зубной дуги $Pm^2 - Pm^2$ для мужчин; $Pm^1 - Pm^1$ для женщин	$ШР = 35,169\text{мм} + 0,389 \times (Pm^2 - Pm^2)$; $ШР = 30,083\text{мм} + 0,502 \times (Pm^1 - Pm^1)$
Высота глазной щели (ВГЩ)	Высота орбиты (ВО)	$ВГЩ = 5,158\text{ мм} + 0,132 \times ВО$; $ВГЩ = 5,276\text{ мм} + 0,158 \times ВО$
Длина глазной щели (ДГЩ)	Ширина орбиты (ШО)	$ДГЩ = 11,633\text{ мм} + 0,335 \times ШО$; $ДГЩ = 5,192\text{ мм} + 0,579 \times ШО$
Высота кончика носа (ВКН)	Ширина спинки носа (ШСН)	$ВКН = 14,235 + 0,328 \times (ШСН + 6\text{ мм})$; $ВКН = 12,428 + 0,341 \times (ШСН + 6\text{ мм})$
Ширина кончика носа (ШКН)	Ширина между клыковыми точками ($A11 - A11$) для мужчин Ширина спинки носа (ШСН) для женщин	$ШКН = 16,248 + 0,316 \times (a11 - a11)$; $ШКН = 17,743 + 0,313 \times (ШСН + 6\text{ мм})$
Высота окрашенной части губ (ВОЧГ)	Высота верхней челюсти (ВВЧ)	$ВОЧГ = 6,981 + 0,460 \times ВВЧ$; $ВОЧГ = 9,7462 + 0,374 \times ВВЧ$

* Верхнее уравнение для мужских черепов, нижнее – для женских.

Ниже перечислены параметры, имеющие одинаковую величину на лице и черепе. Высота носа от бровей примерно равна расстоянию на черепе между точками супраорбитале и субспинале ($So - Ss$). Высота верхней губы до окрашенной части примерно совпадает с дистанцией от подносовой точки до супрадентале ($Ss - Sd$). Высоту лба рассчитывают как разницу между физиономической и морфологической высотами лица ($ФВЛ - МВЛ$). Поскольку на черепе не определяется точка трихион (пересечение сагиттали с линией роста волос), то в программе «Алгоритм внешности» ФВЛ определяют по уравнению регрессии (см. табл. 2). Высота крыла носа примерно соответствует расстоянию между субспинале и местом прикрепления к латеральной стенке грушевидного отверстия нижней носовой раковины (точка конхале). Расстояние между альвеолярными возвышениями клыков, легко измеряемое на черепе, на живом лице прощупывают и отмечают точками. Ширина зубной дуги и на черепе, и на голове, понятно, представляет собой один и тот же размер.

После того, как получают полную информацию о прижизненных параметрах головы, приступают к визуальному воспроизведению облика. Реконструкция внешности может быть выполнена либо в виде плоскостного портрета, и тогда она называется графической, либо в виде объемного изображения – скульптурная реконструкция. В нашем случае была

выполнена одна скульптурная реконструкция по черепу женщины из погребения № 8 некрополя на Соборной горе и 5 графических, включая одну, созданную на основе обобщенной модели черепа.

Графическая реконструкция начинается с построения прижизненных контуров головы на плоскостном изображении черепа в двух нормах – фас и профиль. Чтобы получить изображения черепа в нужных ракурсах без искажения, используют 3D-сканирование или фотограмметрическую съемку. Далее в соответствии с методикой на контуре черепа откладывают величины толстот мягких тканей. Восстанавливают форму спинки носа, конфигурацию ротовой области и губ, накладывают ткани в области нижней челюсти и подбородка в соответствии со стандартами. Этот этап работы называется контурной реконструкцией. Глядя на контурные реконструкции, легко видеть, как происходит построение контуров и элементов головы, какую толщину тканей следует добавлять в различных участках черепа при работе над созданием прижизненного облика. Метод антропологической реконструкции постоянно совершенствуется. В последнее время изучение компьютерных томограмм головы позволило получить рекомендации к уточненному воспроизведению черт лица при реконструкции. Существуют особые приемы для построения профиля спинки носа по контуру грушевидного отверстия, по формированию крыла носа, по восстановлению глазной и ротовой областей лица (Лебединская 1998; Рассказова и др. 2020). Контурная реконструкция выполняется и как необходимый этап, и в случае восстановления облика в скульптурном варианте.

При переходе к собственно графической реконструкции на чистый лист переносят построенный контур головы. На нем следует сначала наметить отдельные визуальные плоскости – участки лица, по-разному отражающие направленный свет, которые должны быть выделены разными типами штриховки. Главное, чтобы эти участки соответствовали именно данному конкретному черепу. Определять плоскости надо с учетом рельефа черепа и строения его отдельных частей.

Для работы по реконструкции внешности в объемном варианте используют специальный твердый скульптурный пластилин, нарезанный пластинами разной толщины. В первую очередь формируют жевательные мышцы, затем по всей поверхности свода черепа наносят полосы из пластилина толщиной от 5 до 10 мм в зависимости от конкретной области. На лице выставляют метки, соответствующие толщине тканей на данном участке. Построение носа и глаз проводят по методикам, разработанным в Лаборатории антропологической реконструкции с учетом контурной реконструкции. Обязательно используют все прижизненные размеры, рассчитанные на основе этого черепа по программе «Алгоритм внешности».

Обобщенный портрет-реконструкция. В работе был применен новый метод визуализации палеоантропологических данных – обобщен-

ный портрет-реконструкция, выполняемый по краниологическим материалам, происходящим из одного или ряда близких памятников (Рассказова 2023). Этот метод является аналогом обобщенного фотопортрета, широко используемого в исследованиях современного населения (Перевозчиков, Маурер 2009; Маурер 2021). Особенность нового метода состоит в том, что на первом этапе выполняют обобщённое изображение черепа на базе всех имеющихся целых черепов выборки. Далее на его основе восстанавливают усредненный прижизненный внешний облик по методу М.М. Герасимова с более поздними уточнениями (Герасимов 1955; Лебединская 1998; Балугева, Веселовская 2004; Веселовская 2018; Рассказова и др. 2020). Обобщенный портрет-реконструкция иллюстрирует морфологические особенности палеоантропологической группы в целом, позволяя проводить визуальное сравнение с современными популяциями и соотнести полученные результаты с обобщенными портретами современных групп (Рассказова 2023).

Результаты

В результате проделанного исследования был восстановлен облик жителей средневекового городища Плѣс, как в виде таблицы прижизненных размеров головы, отнесенных к трем категориям, так и в виде портретов-реконструкций. С применением новаторского подхода к визуализации палеоантропологического материала был выполнен портрет усредненного жителя Плѣса на основе обобщенной модели черепа, сделанной по восьми мужским черепам. Особенности пигментации на цветных реконструкциях созданы в соответствии с характеристиками населения данного региона на вторую половину XX в. (Происхождение и этническая история... 1965).

По черепу № 8 (раскопки 1990 г.) из захоронений на Соборной горе ранее одним из авторов настоящей статьи был восстановлен внешний облик женщины среднего возраста (30–35 лет) в виде скульптурной реконструкции (Травкин 2023). С учетом мнения археолога В.Н. Травкина, а также основываясь на индивидуальных особенностях, отраженных на портрете, можно предположить принадлежность этой женщины к представителям местного населения – костромской мери. Вот краткий словесный портрет: мезокефалия, высокий свод, несколько уплощенное лицо, незначительное выступание носа, лоб прямой, гладкий. Разрез глаз широкий, подбородок оформлен отчетливо. Большинство размеров лица попадает в категорию средних величин (рис. 1).

В табл. 3 представлены усредненные прижизненные размеры, рассчитанные по восьми мужским и шести женским черепам с применением программы «Алгоритм внешности». В отдельных колонках даны катего-

рии, в которые попадают конкретные величины рассчитанных размерных характеристик. Как видно из анализа таблицы, мужчины характеризуются среднеудлиненной и среднеширокой головой. Головной указатель фиксирует мезокефалию на границе с долихокефалией – 76,5. Лицо на уровне скул средней ширины. Уши по пропорциям средние. Лоб довольно высокий и широкий. Глазная щель невысокая и средняя по длине, глазное яблоко выступает слабо. Скулы выступают в средней степени. Нос неширокий и средневисокий, переносье среднеширокое, спинка носа также средняя по ширине. Крыло носа высокое. Средней высоты верхняя губа. Рот узкий. Подбородок средневисокий и узкий по ширине. Нижняя челюсть в углах широкая.



Рис. 1. Скульптурная реконструкция по женскому черепу № 8.
Некрополь на Соборной горе. Автор – Е.В. Веселовская

Таблица 3

Усредненные прижизненные размеры головы, рассчитанные на основе черепа

Размеры головы	Мужчины			Женщины		
	X	S	Категория	X	S	Категория
Продольный диаметр gl-op	196,3	4,75		188,5	4,67	
Поперечный диаметр eu-eu	150,1	3,13		148,2	6,83	
Головной указатель	76,5	1,33	МЕЗО	78,6	2,17	МЕЗО
Ширина лба co-co	133,3	4,36		128,8	4,17	
Наименьшая ширина лба ft-ft	106,0	3,00	М	103,6	2,92	С
Ширина лица на уровне глаз	115,4	2,08		110,0	2,80	
Длина глазной щели	25,3	0,72		27,7	0,73	
Скуловой диаметр zy-zy	141,9	6,13	С	133,8	4,89	М
Ширина переносы	13,9	1,90		15,3	1,40	
Ширина спинки носа	21,3	1,98		21,6	1,98	
Ширина носа	35,7	0,77	С	31,9	1,17	М
Расстояние между носогубными складками	51,5	1,46	М	46,3	1,80	М
Ширина рта che-che	54,8	1,29	М	52,0	2,65	С
Ширина подбородка	59,2	2,67		58,9	2,82	
Угловая ширина нижней челюсти go-go	117,9	4,12	Б	113,3	2,70	С
Физиономическая высота лица tr-gn	190,6	3,69	С	175,8	4,73	С
Морфологическая высота лица от нижнего края бровей	129,6	5,11	С	120,1	6,15	С
Высота лба tr – нижний край бровей	61,0	1,43		55,8	1,55	
Высота глазной щели	9,4	0,29		10,2	0,37	
Высота носа от нижнего края бровей	60,9	2,31	С	59,3	3,23	Б
Высота крыла носа	16,4	1,16	Б	14,3	1,00	Б
Высота верхней губы	16,3	2,25	М	14,2	1,76	М
Высота нижней челюсти	47,1	3,10	С	42,4	2,02	М
Высота подбородка sm-gn	26,6	2,34	М	23,1	2,08	М
Высота уха	63,4	1,08	С	58,8	2,08	С
Ширина уха	38,0	0,29	С	34,9	0,58	С

Женская группа характеризуется мезокефалией, головной указатель 78,2. Лицо в скулах среднеширокое. Ухо средневысокое и среднеширокое, по пропорциям довольно крупное. Лоб средневысокий, широкий. Глазная щель средняя по длине и высоте, глазное яблоко выступает в средней степени. Скулы выступают слабо. Нос среднеширокий и довольно высокий, переносье среднеширокое, спинка носа также среднеширокая, крыло носа высокое. Верхняя губа низкая. Рот узкий. Подбородок средневысокий и узкий, низкая высота нижней челюсти (см. табл. 3).

На рисунках представлены выполненные по отдельным черепам индивидуальные реконструкции внешнего облика. Два портрета выполнены в классической технике графического рисунка. Это реконструкции двух мужчин, захороненных на Варваринском некрополе № 18/6 (рис. 2) и 18/25 (рис. 3). В случае карандашного варианта принято представлять контурные реконструкции, где видно построение головы в целом и отдельных элементов внешности на основе контура черепа. Изображенный на рис. 2 мужчина отличался крупными размерами головы, долихокефалией (рис. 2). Голова узкая, в скулах лицо средней ширины, рельеф надбровья развит умеренно. Нос выступает значительно, форма спинки волнистая. Нижняя челюсть крупная. Реконструкция выполнена бакалавром УНЦСА РГГУ Е.С. Акиловой под руководством Е.В. Веселовской.

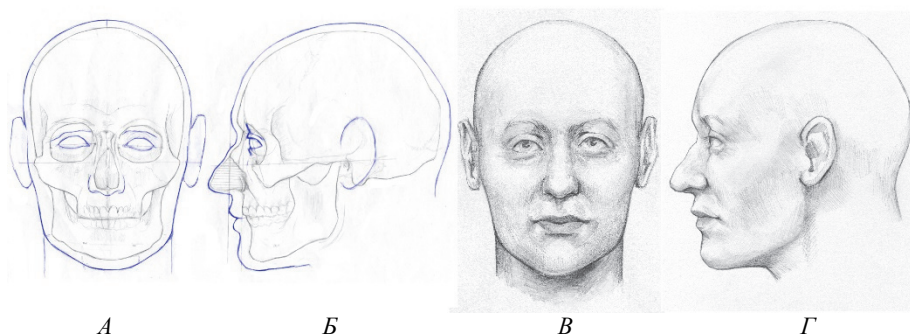


Рис. 2. Реконструкция внешнего облика по мужскому черепу № 18/6.

Варваринский некрополь. Автор – Е.А. Акилова.

Здесь и на рис. 3–5: *А* – контурная реконструкция фас;

Б – контурная реконструкция профиль; *В* – графическая реконструкция фас;

Г – графическая реконструкция профиль

На рис. 3 изображен мужчина, голова которого несколько иных пропорций – шире и короче. По головному указателю (80,7) попадает на самую границу мезо- и брахицефалии. Лицо его характеризуется и большими широтными размерами в области скул и нижней челюсти. Профилировка лица значительная. На профильном изображении отчетливо видны такие индивидуальные особенности, как покатый лоб, высокое переносье, нос выступает сильно. Спинка носа прямая, крылья носа высокие. Ширина носа и рта небольшая, нижняя челюсть утяжеленная. Отмечается некоторое выступание вперед верхней и нижней губы. Авторы реконструкции Е.В. Веселовская, О.Э. Валеева.

По технике компьютерного портрета приведены реконструкции по женскому (№ 18/11) и мужскому (18/8) черепам из Варваринского некрополя с вписанными контурами черепа (рис. 4, 5). На этих изображениях

также хорошо видно, какая толщина тканей добавлена на различных участках при построении головы. Молодая женщина, представленная на рис. 4, характеризуется ярко выраженной среднеевропейской внешностью. По головному указателю фиксируется четкая долихокефалия – 74,6. Профилировка очень сильная, нос выступает значительно, крылья носа низкие. Лоб выпуклый, женственный. Лицо достаточно широкое на всех уровнях. Орбиты невысокие и неширокие. Авторы реконструкции Е.В. Веселовская, Е.А. Просикова.

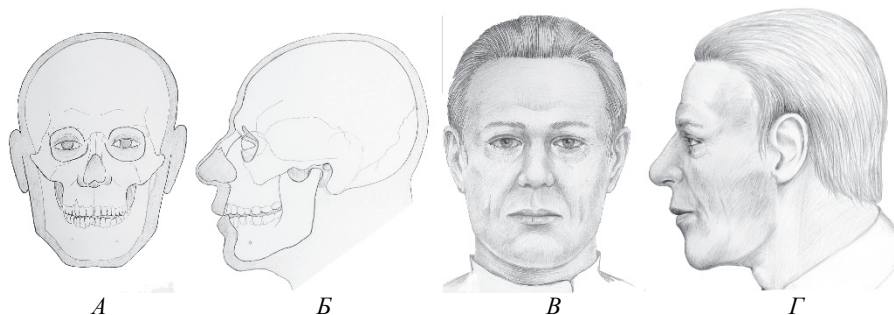


Рис. 3. Реконструкция по мужскому черепу № 18/25. Варваринский некрополь.
Авторы: Е.В. Веселовская, О.Э. Валева

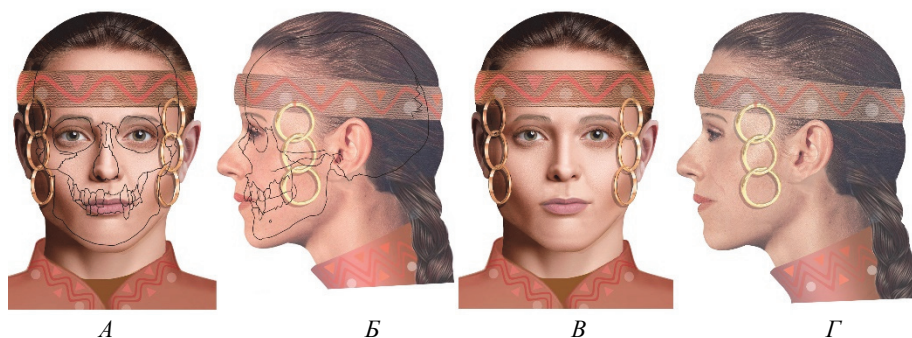


Рис. 4. Реконструкция по женскому черепу № 18/11. Варваринский некрополь.
Авторы: Е.В. Веселовская, Е.А. Просикова

На рис. 5 представлена реконструкция, выполненная по черепу № 18/8 в технике, приближенной к фотографии. По форме голова очень узкая, головной указатель выявляет долихокефалию (75,0). Надбровный рельеф развит незначительно. Лицо также узкое на всех уровнях, включая лоб и нижнюю челюсть. Нос небольшой, выступает в средней сте-

пени. Лицо и по высоте некрупное, орбиты небольшие (рис. 5). Реконструкция выполнена бакалавром УНЦСА РГГУ Е.С. Акиловой под руководством Е.В. Веселовской.



Рис. 5. Реконструкция по мужскому черепу № 18/8, найденному на территории Варваринского некрополя. Автор – Е.А. Акилова

По восьми исследованным мужским черепам А.В. Рассказовой был выполнен обобщенный портрет. Из-за немногочисленности женских черепов обобщенная визуализация на них не проводилась. На основе трехмерных моделей восьми черепов серии средневековых жителей городища Плёс, нормированных по 109 точкам с помощью маркеров, наиболее точно передающих морфологические особенности, была создана усредненная модель черепа для всей краниологической группы. На рис. 6 представлена генерализованная модель черепа в трех нормах. Эта модель подчеркнуто отражает краниологические особенности группы в целом. Хорошо видно, что мозговой отдел длинный, узкий и достаточно высокий, рельеф черепа развит в средней степени, профилировка значительная, переносье высокое. Лицо средней высоты, ортогнатное, по ширине среднее. Носовые кости выступают значительно. Нижняя челюсть высокая и широкая.

По полученной модели А.В. Рассказовой была выполнена обобщенная графическая реконструкция внешнего облика усредненного жителя средневекового Плёса в виде фотографического портрета (рис. 7). При выборе цвета глаз и волос на реконструкции мы опирались на антропологическое описание жителей Кинешмы, как наиболее близко расположенной от Плёса точки, где проводились соматологические исследования Русской экспедицией под руководством В.В. Бунака (Происхождение и этническая история ... 1965: 352, 355). Согласно этим данным, большинство жителей Кинешмы (53,1%) имело светлые глаза, 41,8% – переходный цвет глаз, самый распространенный цвет волос был русый и темно русый: 30,3 и 55,3% соответственно (Там же). Голова узкая, в лобно-затылочном направлении несколько удлинненная, по указателю на

границе между мезо- и долихокефалией. Выступание надбровья слабое. Лицо ортогнатное, средней высоты и ширины. Переносье высокое, нос средней ширины выступает значительно. Глазная щель небольших размеров. Нижняя челюсть достаточно высокая и широкая.

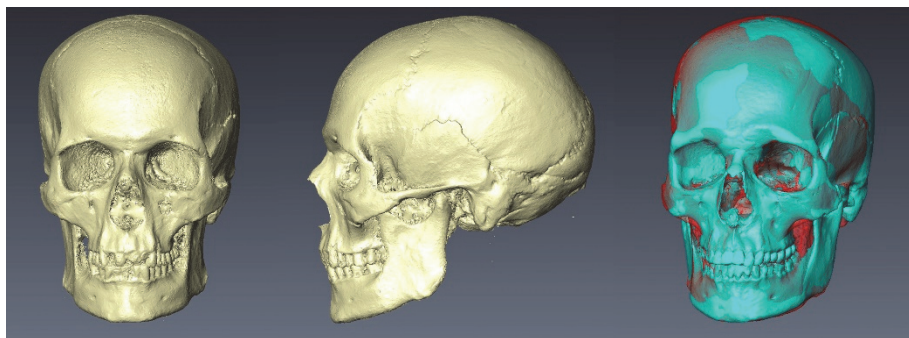


Рис. 6. Обобщенная (усредненная) модель по 8 мужским черепам (с территории Варваринского некрополя – 5 черепов (№ 18/6, 18/7, 18/8, 18/19, 18/25), с территории Соборной горы – 3 черепа (№ 5, 21, 27). Автор – А.В. Рассказова

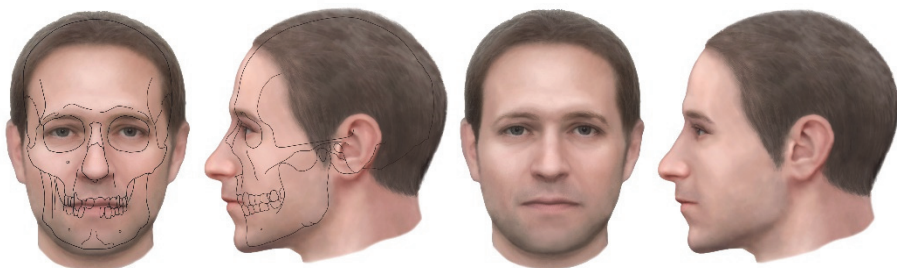


Рис. 7. Реконструкция «усредненного» мужчины из Плѣсских погребений. Создана на базе обобщенного изображения черепа (рис. 6). Автор – А.В. Рассказова

Заключение

Проведенное нами исследование по научному восстановлению облика жителей средневекового Плѣса представляет внешность изученного населения как в усредненном виде, включая табличные данные прижизненных размеров и графический портрет на основе усредненной модели черепа, так и в виде ряда индивидуальных портретов, иллюстрирующих разнообразие. Жители Плѣса XI–XIII вв. отличались узкой головой, несколько удлинённой в лобно-затылочном направлении, слабым развитием надбровного рельефа, ортогнатным лицом средней высоты и

ширины, высоким переносом, выступающим носом, небольшими глазами и достаточно крупной нижней челюстью.

Проведенное ранее антропологическое исследование серии из Варваринского могильника (11 мужчин, 6 женщин) позволило авторам так описать изученное население (Васильев и др. 2020). Мужчины в целом характеризуются долихокранией, значительной горизонтальной профилировкой, средними и малыми абсолютными размерами. Лицо мезогнатное, среднеширокое и средневысокое. Женщины, в отличие от мужчин, имели мезокранную мозговую коробку и более уплощенный лицевой скелет на уровне назиона. Авторы антропологического исследования предположили, что женщины по своей морфологии близки к местному уралоидному субстрату (Там же).

Результаты нашего исследования в целом совпадают с выводами предшествующих работ, особенно в отношении мужской части выборки. В отношении женщин можно предположить, что в нашей выборке, скорее всего, преобладали славянки, поскольку антропологический тип женщин похож на отмечаемый в мужской группе. Нам все же удалось зафиксировать и уралоидный тип, который представлен на скульптурной реконструкции (см. рис. 1). В целом проведенное восстановление облика показало наличие ярко выраженных европеоидных черт и присутствие некоторого сглаженного компонента, принадлежавшего, по всей видимости, местному населению костромской мери.

Список источников

- Аверин В.А., Барышников В.Ю., Самотовинский Д.В. Древнерусский городской некрополь в Плесе на улице Варваринская, 18: Материалы раскопок Ивановской археологической экспедиции 2014 года // Археология Плёса: Материалы исследований 2007–2018 гг. 2018. С. 11–19.
- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964.
- Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Новые разработки в области восстановления внешнего облика человека по краниологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 1. С. 143–150.
- Бунак В.В. Антропометрия. М.: Учпедгиз, 1941.
- Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Аверин В.А., Фризен С.Ю. Население средневекового Плёса (по материалам археологических раскопок Варваринского некрополя в г. Плес Ивановской области) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 4 (51). С. 4–14.
- Веселовская Е.В. «Алгоритм внешности» – комплексная программа антропологической реконструкции // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2018. № 2. С. 38–54.
- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). М., 1955. Т. XXVIII.
- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу (методическое руководство). М.: Старый сад, 1998.
- Маурер А.М. Обобщенный фотопортрет как инструмент визуализации локальных антропологических вариантов (на примере фотоматериалов мужчин-башкир) // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2021. № 3. С. 5–16.

- Перевозчиков И.В., Маурер А.М. Обобщённый фотопортрет: история, методы, результаты // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2009. № 1. С. 35–44.
- Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.; Л., 1950. Т. III. С. 211.
- Происхождение и этническая история русского народа (по антропологическим данным) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 88. М.: Наука, 1965.
- Рассказова А.В., Веселовская Е.В., Пеленицына Ю.В. Краниофациальные соотношения среднего этажа лица по материалам компьютерных томограмм // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2020. № 4. С. 66–78.
- Рассказова А.В. Метод создания обобщенного портрета-реконструкции палеоантропологической группы на основе трехмерных моделей черепа // Российская археология. 2023. № 4. С. 132–143.
- Травкин П.Н. Плѣсская крепость в XII–XVI веках. Иваново: Издатель Ольга Епишева, 2023.

References

- Averin V.A., Baryshnikov V.Iu., Samotovinskii D.V. (2018) Drevnerusskii gorodskoi nekropol' v Plese naulitse Varvarinskaia, 18: Materialy raskopok Ivanovskoi arkheologicheskoi ekspeditsii 2014 goda [Old Russian city necropolis in Ples on Varvarinskaya street, 18: Materials of excavations of the 2014 Ivanovo archaeological expedition]. In: *Arkheologiiia Plesa: Materialy issledovaniia 2007–2018 gg.* [Archeology of Ples: Research materials 2007–2018.]. pp. 11–19.
- Alekseev V.P., Debets G.F. (1964) *Kraniometriia. Metodika antropologicheskikh issledovaniia* [Cranimetry. Methodology of anthropological research]. Moscow: Nauka.
- Balueva T.S., Veselovskaia E.V. (2004) Novye razrabotki v oblasti vosstanovleniia vneshnego oblika cheloveka po kraniologicheskim dannym [New developments in the field of restoration of human appearance based on craniological data], *Arkheologiiia, etnografiia I antropologiiia Evrazii*, no. 1, pp. 143–150.
- Bunak V.V. (1941) *Antropometriia* [Anthropometry]. Moscow.
- Vasil'ev S.V., Borutskaia S.B., Averin V.A., Frizen S.Iu. (2020) Naselenie srednevekovogo Plesa (po materialam arkheologicheskikh raskopok Varvarinskogo nekropolia v g. Ples Ivanovskoi oblasti) [The Population of The Medieval Plyos (Based on Archaeological Excavations of The Varvara Necropolis in Plyos, Modern Ivanovo Region)], *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii*, no. 4 (51), pp. 4–14.
- Veselovskaia E.V. (2018) «Algoritm vneshnosti» - kompleksnaia programma antropologicheskoi rekonstruktsii [«Appearance Algorithm» – The Comprehensive Program of Craniofacial Reconstruction], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriiia XXIII. Antropologiiia*, no. 2, pp. 38–54.
- Gerasimov M.M. (1955) *Vosstanovlenie litsa po cherepu (sovremennnyi i iskopaemyi chelovek)* [Reconstruction of the face on the skull (modern and fossilized person)]. Moscow: 1955. Vol. XXVIII.
- Lebedinskaia G.V. (1998) *Rekonstruktsiia litsa po cherepu (metodicheskoe rukovodstvo)* [Reconstruction of the face on the skull (methodical guidance)]. Moscow: Staryi sad.
- Maurer A.M. (2021) Obobshchennyi fotoportret kak instrument vizualizatsii lokal'nykh antropologicheskikh variantov (na primere fotomaterialov muzhchin-bashkir) [Composite Photographic Portrait as A Tool for Visualizing Local Anthropological Variants (Using the Example of Bashkir Men Photographic Materials)], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriiia XXIII. Antropologiiia*, no. 3, pp. 5–16.
- Perevozchikov I.V., Maurer A.M. (2009) Obobshchennyi fotoportret: istoriia, metody, rezul'taty [Composite Photoportraits: History, Methods, Results], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriiia XXIII. Antropologiiia*, no. 1, pp. 35–44.
- Polnoe sobranie russkikh letopisei (PSRL) [Complete collection of Russian chronicles (PSRL)]. Moscow; Leningrad, 1950. Vol. III, pp. 211.

- Proiskhozhdenie i etnicheskaya istoriya russkogo naroda (po antropologicheskim dannym) [Origin and ethnic history of the Russian people (according to anthropological data)]. In: *Trudy Instituta etnografii im. N.N. Miklukho-Maklaia. Novaya seriia* [Proceedings of the Institute of Ethnography named after N.N. Miklouho-Maclay. New series], Vol. 88. Moscow: Nauka, 1965.
- Rasskazova A.V., Veselovskaya E.V., Pelenitsyna Iu.V. (2020) Kraniofatsial'nye sootnosheniia srednego etazha litsa po materialam komp'iuternykh tomogramm [Craniofacial Correlations of The Middle Part of The Face Based on Computed Tomograms], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropologiya*, no. 4, pp. 66–78.
- Rasskazova A.V. (2023) Metod sozdaniia obobshchennogo portreta-rekonstruktsii paleoantropologicheskoi gruppy na osnove trekhmernykh modelei cherepa [Method for Creating a Generalized Portrait-Reconstruction of a Palaeoanthropological Group Based on 3D Skull Models], *Rossiiskaya arkhеologiya*, no. 4, pp. 132–143.
- Travkin P.N. (2023) *Plesskaia krepost' v XII–XVI vekakh* [Ples fortress in the 12th–16th centuries]. Ivanovo: Izdatel' Ol'ga Episheva.

Информация об авторах:

ВЕСЕЛОВСКАЯ Елизавета Валентиновна – доктор исторических наук, главный научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: veselovskaya.e.v@yandex.ru

РАССКАЗОВА Анна Владимировна – младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: rasskazova.a.v@yandex.ru

РАШКОВСКАЯ Юлия Вадимовна – стажер-исследователь, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: j.pelenitsyna@gmail.com

ПРОСИКОВА Екатерина Андреевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: prosikova@iea.ras.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Elizaveta V. Veselovskaya, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: veselovskaya.e.v@yandex.ru

Anna V. Rasskazova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: rasskazova.a.v@yandex.ru

Yulia V. Rashkovskaya, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: j.pelenitsyna@gmail.com

Ekaterina A. Prosikova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: prosikova@iea.ras.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 19 июля 2023 г.;
принята к публикации 11 ноября 2023 г.*

*The article was submitted 19.07.2023;
accepted for publication 11.11.2023.*

Научная статья
УДК 572
doi: 10.17223/2312461X/43/12

Представления о привлекательности мужского и женского тела и особенности полового диморфизма русских и бурят

Виктория Викторовна Ростовцева¹,
Марина Львовна Бутовская^{2,3},
Анна Александровна Мезенцева⁴

^{1,2,4} *Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия*

³ *Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия*

¹ *victoria.v.rostovtseva@gmail.com*

^{2,3} *marina.butovskaya@gmail.com*

⁴ *khatsenkova@yandex.ru*

Аннотация. Исследована выраженность полового диморфизма по соматическим показателям у представителей современных бурят и русских и связь наблюдаемых половых различий с представлениями о привлекательности мужского и женского тела в рассматриваемых популяциях. Оценка половых и популяционных различий по росту, мышечной и костной массе, жиротложению и силе кисти производилась на основе прямых антропометрических измерений у представителей бурятской ($N = 182$, г. Улан-Удэ) и русской ($N = 181$, г. Тула) популяций (возраст: 17–26 лет). Предпочтения выраженности полового диморфизма по росту, развитию мускулатуры, физической силе и жиротложению у бурят ($N = 182$) и русских ($N = 340$) того же возраста оценивались с помощью опросника, разработанного авторами исследования. Результаты показали, что современные молодые буряты имеют меньший рост и меньшую костную и мышечную массивность по сравнению с русскими. При этом половой диморфизм по костной массе и развитию мускулатуры у бурят выражен сильнее, чем у русских. Отличительной чертой молодых русских женщин оказалось более высокое содержание жировой массы по сравнению с бурятскими женщинами, что соответствовало мужским предпочтениям женской полноты у русских. Предпочтения полового диморфизма по развитию мускулатуры и физической силе не соответствовали выраженности полового диморфизма по данным параметрам ни у русских, ни у бурят. Полученный результат свидетельствует о роли этих признаков в иных процессах отбора, приводящих к выраженному половому диморфизму, но не ассоциированным напрямую с межполовой привлекательностью. Выявлены популяционные различия в комплексном восприятии красоты мужского тела, при которых для русских женщин были характерны предпочтения единого «маскулинного комплекса» мужчин, в отличие от бурят, для которых предпочтения по разным параметрам практически не были скоррелированы между собой. Результаты обсуждаются в русле эволюционной теории.

Ключевые слова: половой диморфизм, рост, компонентный состав тела, сила кисти, физическая сила, мышечная масса, костная масса, половой отбор, половые предпочтения, русские, буряты

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 23-18-00277, рук. М.Л. Бутовская.

Для цитирования: Ростовцева В.В., Бутовская М.Л., Мезенцева А.А. Представления о привлекательности мужского и женского тела и особенности полового диморфизма русских и бурят // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 185–209. doi: 10.17223/2312461X/43/12

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/12

Preferences for Male and Female Body Parameters and Characteristics of Sexual Dimorphism in Russians and Buryats

Victoria V. Rostovtseva¹, Marina L. Butovskaya^{2, 3},
Anna A. Mezentseva⁴

^{1, 2, 4} *Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation*

³ *Russian State University for the Humanities, Moscow, Russian Federation*

¹ *victoria.v.rostovtseva@gmail.com*

^{2, 3} *marina.butovskaya@gmail.com*

⁴ *khatsenkova@yandex.ru*

Abstract. The aim of the present study was to investigate sexual dimorphism of body parameters in modern Russians and Buryats, and to assess its association with preferences for male and female body traits in these populations. Sex and population differences in height, muscle and bone mass, fat deposition and hand grip strength were assessed using direct measurements in Buryats ($N = 182$, Ulan-Ude city, Buryatia) and Russians ($N = 181$, Tula city) (age: 17-26 years). Mate preferences for sexual dimorphism in body height, muscularity, physical strength and fat deposition in Buryats ($N = 182$) and Russians ($N = 340$) of the same age were assessed by a survey developed by the authors. The results revealed that modern Buryats have lower body height and lower body and muscle mass than Russians. However, Buryats demonstrated higher sexual dimorphism of bone and muscle mass. Russian women had higher fat deposition compared to Buryat women, which corresponded to Russian male preferences. Mate preferences for sexual dimorphism in muscularity and physical strength did not correspond to actual degrees of sex differences in these parameters either in Russians or Buryats. Our results suggest these traits are not directly associated with intersexual attractiveness, and were selected for in other selection processes leading to high sexual dimorphism. Our results also revealed population differences in the integral perception of the male body attractiveness: Russian women demonstrated preferences for a male “masculine complex”. In contrast, Buryat preferences for various body parameters were almost not correlated with each other. The results are discussed in line with evolutionary theory.

Keywords: sexual dimorphism, body height, body composition, hand grip strength, physical strength, muscle mass, bone mass, fat deposition, sexual selection, mate preferences, Russians, Buryats

Acknowledgements: The research was supported by the Russian Science Foundation (grant No. 23-18-00277, principal investigator Marina L. Butovskaya).

For citation: Rostovtseva, V.V., Butovskaya, M.L. & Mezentseva, A.A. (2024) Preferences for Male and Female Body Parameters and Characteristics of Sexual Dimorphism in Russians and Buryats. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 185–209 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/12

Введение

На сегодняшний день известно, что для человека характерен половой диморфизм по ряду соматических показателей, который наблюдается во всех популяциях современных людей: мужчины в среднем имеют более высокий рост, более массивный скелет, более развитую скелетную мускулатуру и большую физическую силу, а женщинам более свойственно повышенное содержание жировой ткани в теле по сравнению с мужчинами (Gustafsson, Lindenfors 2004; Mittendorfer 2005; Wells 2007, 2012; Lassek, Gaulin 2009; Чтецов, Негашева, Лапшина 2012; Smith, Mittendorfer 2016; Старостин и др. 2019; Хафизова, Негашева 2020). Несмотря на универсальную направленность такого полового диморфизма, степень его выраженности имеет популяционную специфику. Например, согласно данным 1935–1999 гг., половой диморфизм по росту наиболее сильно выражен у представителей индейцев Северной Америки, ряда европейских популяций, а также у нилотских групп Восточной Африки, где разница средних значений роста между мужчинами и женщинами достигала 14–16 см. В свою очередь, среди аборигенов Новой Гвинеи, а также пигмеев Центральной Африки половой диморфизм по росту выражен очень слабо (разница средних значений между мужчинами и женщинами составляет всего 6–7 см) (Gustafsson, Lindenfors 2004). В одном из кросс-популяционных исследований, обобщившем данные по 96 традиционным обществам со всего мира, был проанализирован половой диморфизм по ожирению (Wells 2012). Самый высокий половой диморфизм, при котором женщины имеют более высокое содержание жировой ткани, чем мужчины, был отмечен для арктических популяций. Интересно, что в этом исследовании было обнаружено и исключение, согласно которому в ряде групп из Папуа Новой Гвинеи мужчины имели более высокий уровень ожирения, чем женщины.

Формирование половых различий в форме тела происходит под действием множества факторов, таких как история формирования популяции, а также экологическая и социальная среда, действие которых реализуется посредством естественного и полового отборов. Половой отбор, согласно эволюционной теории, является одним из важнейших процессов, вовлеченных в формирование половых различий; он выражается в выборе полового партнера и внутривидовой конкуренции (Darwin 1871; Бутовская 2004, 2013; Butovskaya, Smirnov 2005; Марков 2011; Cally, Stuart-Fox, Holman 2019). Половой отбор осуществляется посред-

ством увеличения приспособленности индивидов (или особей), обладающих определенными качествами, позволяющими увеличивать их репродуктивный успех (т.е. число оставленных потомков и их выживаемость) (Achorn, Rosenthal 2020). В исследованиях человека оценка непосредственного репродуктивного успеха довольно затруднительна, поэтому в большинстве работ, исследующих процессы полового отбора человека, используются такие косвенные индикаторы репродуктивного успеха, как привлекательность для противоположного пола, число половых партнеров, а также частота половых контактов и более сложные расчеты вероятностей зачатия, основанные на половом поведении (Kordsmeyer et al., 2018). Считается, что восприятие внешности человека играет важную роль как в межполовом, так и во внутриполовом отборе: внешность, воспринимаемая как угрожающая, агрессивная и доминантная, может способствовать сдерживанию конкурентов в рамках мужского пола (Lidborg, Cross, Boothroyd 2022), в то время как привлекательность внешности для противоположного пола является одним из факторов выбора полового партнера (Darwin 1871; Puts 2010). Таким образом, и угрожающая, и привлекательная внешность могут оказывать положительное влияние на индивидуальный репродуктивный успех.

Тема привлекательности представителей противоположного пола на основе различных критериев внешнего облика очень активно исследуется в современной мировой науке. В соответствии с целым рядом исследований, мужчины придают большее значение внешности при выборе постоянного партнера, чем женщины (Butovskaya, Smirnov 2005). Основное внимание на сегодняшний день уделяется исследованию предпочтений разницы в росте половых партнеров (Sorokowski, Butovskaya 2012; Sorokowski et al. 2012, 2015; Stulp et al. 2017; Дронова, Бутовская 2020), а также такому показателю, как соотношение талии к бедрам, который является индикатором женской фертильности (Sorokowski et al. 2014; Butovskaya et al. 2017; но см. Cashdan 2008 для альтернативных результатов). Несмотря на обилие исследований в перечисленных направлениях, работы по половым предпочтениям таких характеристик, как физическая сила и общее содержание жировой ткани, практически не встречаются в литературе. Мало внимания уделяется и сопоставлению предпочтений с реально наблюдаемыми половыми различиями в той или иной популяции (Sorokowski et al. 2015). В первую очередь это связано с тем, что, как правило, исследователи, занимающиеся половым диморфизмом, и таковые, занимающиеся исследованиями привлекательности, являются представителями разных научных дисциплин (физической антропологии и эволюционной психологии или этологии человека соответственно).

В настоящей работе мы интегрировали оба компонента и исследовали ассоциацию реально наблюдаемого полового диморфизма и стереотипов

привлекательности мужского и женского тела в двух контрастных по происхождению и культуре популяциях: у современных русских и бурят. Выбор исследованных популяций был продиктован разным расовым и этническим происхождением русских и бурят, а также ярко выраженными различиями их традиционных культур, систем питания, экологических сред обитания.

Буряты – народ Восточной Сибири монголоидного происхождения. В нашем исследовании буряты были представлены молодыми представителями групп Забайкалья и Предбайкалья, проживающими в г. Улан-Удэ. У бурят Забайкалья вплоть до начала XX в. основным видом хозяйственной деятельности было кочевое скотоводство, а у бурят Предбайкалья – полукочевое скотоводство, сочетавшееся с охотой, рыболовством и земледелием (Ростовцева и др. 2020). Традиционно для Забайкальских бурят была характерна молочно-мясная система питания: в основном в пищу употреблялись кисломолочные продукты из коровьего, кобыльего и овечьего молока; мясной пищей были конина, баранина и говядина (Бадмаев 2012). Углеводный компонент диеты был довольно скудным, зерновые продукты, как правило, получали путем обмена или покупки у соседей-земледельцев (Бадмаев 2009). Для предбайкальских бурят была характерна аналогичная молочно-мясная деита, но в их рационе также присутствовала заметная доля хлебно-зерновых культур (Бадмаев 2009, 2011). Современные исследования профиля питания населения Бурятии показывают, что даже в условиях городской жизни в этом регионе сохраняется преобладание белково-жировой направленности диеты (углеводная составляющая ниже нормы), что характерно как для бурят, так и для русских, проживающих на территории республики (Бальжиева и др. 2020). Авторы исследования связывают это с «северной диетой» как адаптацией к воздействию низких температур окружающей среды.

Русские – восточнославянская этническая группа, составляющая большинство населения России. В прошлом основным традиционным занятием было земледелие, сочетавшееся с животноводством (Александров, Власова, Полишук 1997). Сегодня русские – это современное индустриальное общество. В нашем исследовании русские были представлены молодыми жителями г. Тула.

В настоящей работе рассматривается комплекс диморфных признаков (рост, компонентный состав тела, сила кисти), а также половые предпочтения сразу по четырем критериям – рост, развитие мускулатуры, физическая сила и жировотложение. Исследование направлено на тестирование следующих гипотез: 1) в силу популяционных различий в происхождении, экологических условиях и культуре, для русских и бурят будут характерны различающиеся популяционные и половые особенности телосложения и различающиеся представления о привлекательности

мужского и женского тела; 2) особенности полового диморфизма по соматическим показателям и предпочтения выраженности полового диморфизма у представителей противоположного пола будут соответствовать друг другу в каждой из популяций; 3) предпочтения полоспецифических особенностей по четырем рассматриваемым критериям (рост, развитие мускулатуры, физическая сила и жиротложение) будут интегрированы в единый комплекс, составляющий образ привлекательного мужчины/привлекательной женщины в соответствии с популяционными особенностями полового диморфизма.

Методы

Участники исследования. Участниками настоящего исследования были представители двух популяций, отличающихся расовым и этническим происхождением – буряты Восточной Сибири и русские. Выборка бурят была представлена молодыми жителями г. Улан-Удэ, студентами разных специальности в возрасте от 17 до 26 лет (средний возраст 20 ± 2 года). Выборка состояла из 182 человек (91 мужчина, 91 женщина), мужская и женская части выборки не различались по возрасту. Выборка русских была представлена молодыми жителями г. Тула, студентами разных специальностей в возрасте от 17 до 26 лет (средний возраст 20 ± 2 года). Выборка, участвовавшая в антропологических измерениях, состояла из 181 человека (88 мужчин, 93 женщины), выбока, принимавшая участие в анкетировании на предмет предпочтений полового диморфизма по соматическим показателям, была больше и составила 340 человек (86 мужчин, 254 женщины). Мужская и женская части выборки русских не различались по возрасту.

Измерения соматических показателей и физической силы. Все измерения тела проводились напрямую. Рост (см) был измерен с помощью антропометра GPM (Швейцария) с точностью 0,1 см. Процентное содержание жира (соотношение массы жировой ткани и общей массы тела), мышечная масса (кг) и костная масса (кг) измерялись с помощью биоимпедансного анализатора Tanita (Япония). Перед прохождением измерений каждый участник сообщал продолжительность ночного сна и время утреннего пробуждения в день измерений. Время измерения также фиксировалось. Перед проведением основного статистического анализа были протестированы возможные эффекты продолжительности ночного сна, а также разницы во времени между утренним пробуждением и временем проведения измерений. Ни в одном случае эти параметры не оказали значимого влияния на результаты по компонентному составу тела.

Индекс массы тела не рассматривался среди соматических параметров, так как при более подробной оценке компонентного состава тела (детальная оценка костной, мышечной и жировой массы) индекс массы

тела является избыточным и не информативным параметром. Сила кисти (как показатель физической силы; деканьютон [даН]) измерялась с помощью ручного динамометра (ДМЭР-120) для правой и левой руки. В анализе использовалось максимальное значение по измерениям на обеих руках.

Оценка предпочтений выраженности полового диморфизма по соматическим показателям и физической силе. Для оценки мужских и женских предпочтений выраженности полового диморфизма по росту, содержанию жира, мускулистости тела и физической силе был применен короткий опросник, составленный авторами исследования. За основу были взяты известные половые различия по соматическим параметрам, характерные для представителей всех человеческих популяций: мужчины всегда в среднем превосходят женщин по таким параметрам, как рост, развитие мускулатуры и физическая сила, в то время как относительное содержание жировой массы у женщин в среднем выше, чем у мужчин (Gustafsson, Lindenfors 2004; Mittendorfer 2005; Wells 2007, 2012; Lassek, Gaulin 2009; Чтецов и др. 2012; Smith, Mittendorfer 2016; Старостин и др. 2019; Хафизова, Негашева 2020). Для представленных в настоящей работе популяций подобная направленность полового диморфизма также соблюдалась (см. таблицу). Таким образом, предпочтение выраженности полового диморфизма по рассмотренным параметрам для мужчин должно выражаться в предпочтении более низкого роста женщин, более низкой физической силы и низкого уровня развития мускулатуры у женщин, а также предпочтение некоторой степени женской полноты. Для женщин, в свою очередь, предпочтение выраженности полового диморфизма должно соответствовать предпочтению более высокого роста мужчин, большей физической силы и развития мускулатуры, а также низкого содержания жира.

Ниже представлены утверждения, вошедшие в опросник по предпочтениям полового диморфизма для мужчин и женщин:

Для респондентов женского пола:

1. Мне нравятся мужчины, которые выше меня ростом.
2. Мне нравятся мужчины, которые физически сильнее других.
3. Мне нравятся мускулистые мужчины.
4. Мне не нравятся полные мужчины.

Для респондентов мужского пола:

1. Мне нравятся женщины ниже меня ростом.
2. Хрупкие женщины привлекают меня больше, чем физически сильные.
3. Мне не нравятся мускулистые женщины.
4. Мне нравятся полные женщины.

Респонденты выносили оценки по каждому из утверждений по пяти-балльной шкале, где 1 – полностью не согласен(сна), а 5 полностью согласен(сна).

Описательные статистики и половые различия по соматическим показателям

Популяция	Показатель	Ед.	Мужчины		Женщины		<i>d</i>	<i>t</i>
			Среднее	<i>SD</i>	Среднее	<i>SD</i>		
Буряты	Мышечная масса	кг	55,1	5,9	41,0	3,5	2,90	19,610
	Костная масса	кг	2,9	0,3	2,2	0,2	2,75	20,475
	Сила кисти	даН	46,1	8,0	28,8	5,8	2,48	16,695
	Рост	см	174,7	6,1	161,5	6,0	2,18	14,803
	Жировая масса	%	14,7	7,2	24,0	7,9	-1,23	-8,197
Русские	Мышечная масса	кг	60,0	7,5	43,9	4,3	2,63	17,821
	Сила кисти	даН	47,1	8,3	29,3	5,8	2,48	16,595
	Рост	см	178,3	6,2	164,6	5,8	2,28	15,278
	Костная масса	кг	3,2	0,4	2,6	0,2	1,90	17,857
	Жировая масса	%	14,4	6,4	27,2	8,8	-1,66	-11,112

Примечание. Соматические показатели представлены в порядке убывания величины половых различий для каждой популяции. Сила кисти – максимальное значение из 4 измерений (2 для правой и 2 для левой руки); *SD* – стандартное отклонение, *d* – *d* Коэна (размер эффекта, указывающий на различия между средними значениями, выраженные в числе стандартных отклонений), *t* – статистика *t*-критерия Стьюдента.

$p < 0,001$.

Статистический анализ. Значения соматических показателей и силы кисти для мужчин и женщин из обеих популяций имели нормальное или близкие к нормальному распределения. Для оценки половых и популяционных различий по этим показателям применялся параметрический тест – *t*-критерий Стьюдента для независимых выборок. В визуализациях использовались средние значения, стандартные ошибки среднего и стандартные отклонения. Величины эффектов половых различий по соматическим параметрам и силе кисти оценивались с помощью *d* Коэна (различия между средними значениями, выраженные в числе стандартных отклонений).

Значения баллов по предпочтениям выраженности полового диморфизма имели ненормальное распределение как для мужчин, так и для женщин из обеих популяций. Для оценки половых и популяционных различий по предпочтениям использовался непараметрический тест – *U*-критерий Манна – Уитни. В визуализациях использовались распределения баллов по относительным частотам. Для оценки попарных корреляций между предпочтениями выраженности полового диморфизма использовались коэффициенты корреляции Спирмена.

Порог статистической значимости был принят в соответствии со стандартом 5%.

Результаты

Половой диморфизм по соматическим показателям современных молодых бурят и русских. В первую очередь мы оценили половые (таблица) и популяционные (рис. 1) различия по соматическим показателям современных молодых бурят и русских. Результаты показали, что в среднем буряты имеют более низкий рост, чем русские, что характерно как для мужчин (t -критерий Стьюдента: $t = -3,893$; $p < 0,001$), так и для женщин ($t = -3,605$; $p < 0,001$). Помимо этого, буряты по сравнению с русскими имели более низкие значения костной массы (мужчины: $t = -5,037$; $p < 0,001$; женщины: $t = -5,097$; $p < 0,001$) и мышечной массы (мужчины: $t = -4,892$; $p < 0,001$; женщины: $t = -5,013$; $p < 0,001$). Для бурятских женщин в среднем было характерно более низкое содержание жировой массы по сравнению с русскими женщинами ($t = -2,581$; $p = 0,011$). Значимых популяционных различий по силе кисти мужчин и женщин, а также по содержанию жировой массы у мужчин обнаружено не было (таблица, рис. 1).

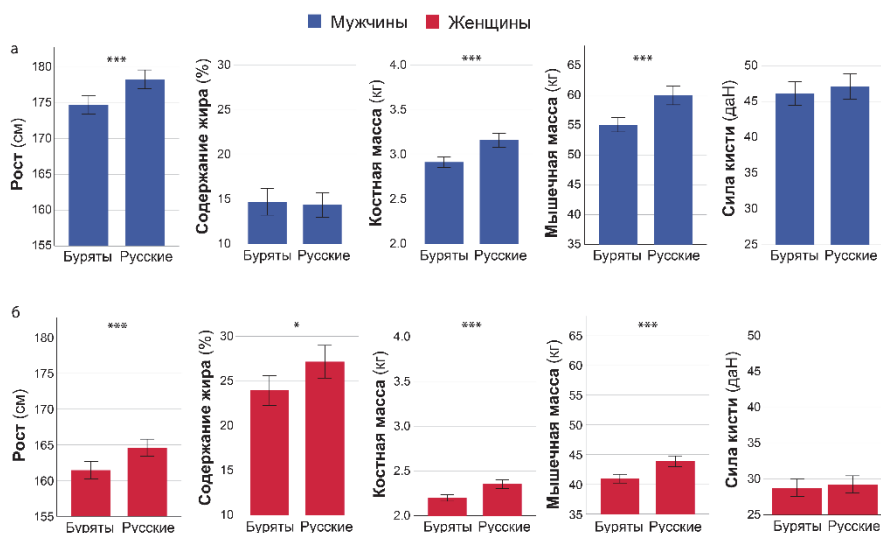


Рис. 1. Популяционные различия по соматическим показателям.

Представлены средние значения и доверительные интервалы (95%) соматических показателей бурят и русских для мужчин (а) и женщин (б).

Значимость популяционных различий по каждому показателю оценивалась с помощью t -критерия Стьюдента: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Анализ полового диморфизма по рассматриваемым соматическим показателям выявил наибольшие половые различия по значениям мышеч-

ной массы и силы кисти для представителей обеих популяций, при которых мужчины имели более высокие значения этих показателей, чем женщины. При этом у бурят присутствовали ярко выраженные половые различия по массивности костей, в то время как для русских половой диморфизм по этому признаку был выражен значительно слабее, о чем свидетельствуют значения d Коэна (см. таблицу). У русских по сравнению с бурятами был сильнее выражен половой диморфизм по процентному содержанию жира (у женщин выше, чем у мужчин), хотя направление половых различий по этому признаку в обеих популяциях было одинаковым (таблица).

Таким образом, можно заключить, что современные молодые буряты имеют меньший рост и меньшую костную и мышечную массивность по сравнению с русскими. При этом половой диморфизм по костной массе и развитию мускулатуры у бурят выражен сильнее, чем у русских. Отличительной чертой молодых русских женщин является более высокое содержание жировой массы по сравнению с бурятскими женщинами.

Женские и мужские предпочтения выраженности полового диморфизма по соматическим показателям. В настоящей работе были проанализированы мужские и женские предпочтения выраженности полового диморфизма по ряду соматических показателей (рост, развитие мускулатуры, физическая сила, ожирение) у современных молодых бурят и русских.

На рис. 2 представлены распределения баллов по предпочтениям полового диморфизма по росту (при котором мужчина выше женщины) для бурятских и русских мужчин (рис. 2, а) и женщин (рис. 2, б), а также средние значения роста (и стандартные отклонения) для бурятских мужчин и женщин (рис. 2, в) и русских мужчин и женщин (рис. 2, г).

Как видно из распределений баллов предпочтений, представленных на рис. 2, а, б, бурятские и русские мужчины и женщины предпочитали высокий уровень полового диморфизма по росту, при котором мужчина выше женщины. Иными словами, мужчины из обеих популяций предпочитали женщин ниже себя ростом (популяционные различия мужских предпочтений статистически незначимы; U-критерий Манна–Уитни: $N = 177$, $U = 4344,0$, $p = 0,185$), а женщины из обеих популяций предпочитали мужчин выше себя ростом ($N = 347$, $U = 11334,0$, $p = 0,760$). Таким образом, мужчины из обеих популяций предпочитали низкорослых женщин, а женщины высокорослых мужчин.

Такие половые предпочтения должны приводить к ярко выраженному половому диморфизму по росту в обеих популяциях. Наши данные показывают, что, несмотря на то, что буряты в целом являются более низкорослыми, чем русские (таблица, рис. 1), половой диморфизм по росту у них сохраняется практически на таком же уровне как и у русских

(рис. 2 в, 2 г). Средние различия по росту между мужчинами и женщинами в русской популяции были немного выше, чем у бурят (d Козна русские = 2,28; d Козна буряты = 2,18; см. таблицу), однако эти различия не являются достаточно выраженными. Полученный результат свидетельствует о том, что половые предпочтения, или иными словами, культурные стереотипы привлекательности по критерию роста мужчин и женщин, согласуются с выраженностью полового диморфизма по росту в рассмотренных популяциях.

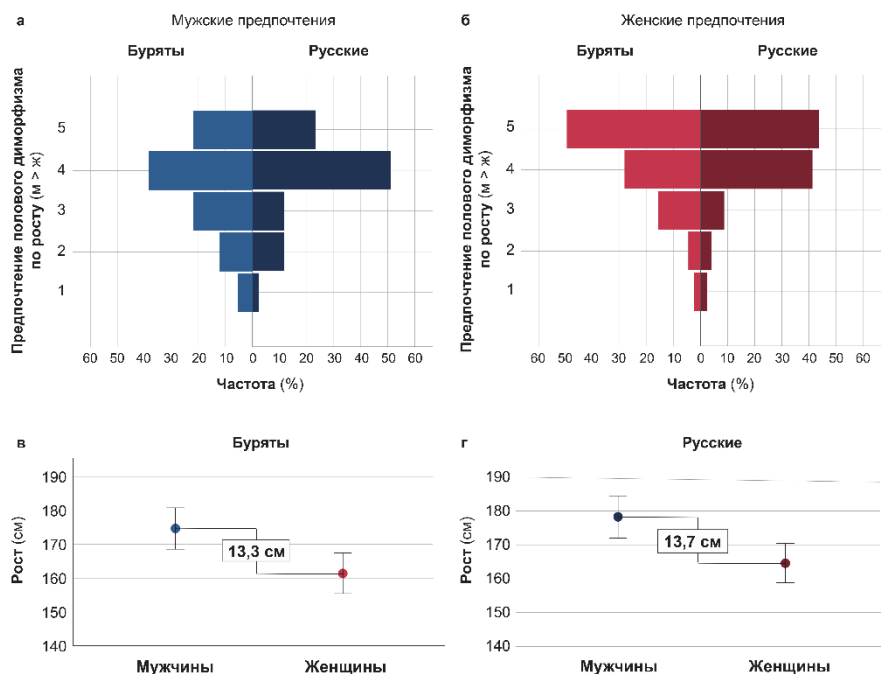


Рис. 2. Предпочтения выраженности полового диморфизма по росту (а, б) и средние значения роста бурятских и русских мужчин и женщин (в, г).

Представлены распределения частот баллов мужских (а) и женских (б) предпочтений выраженности полового диморфизма по росту, при котором мужчины выше женщин, а также средние значения, стандартные отклонения и разница средних значений роста для мужчин и женщин бурятской (в) и русской (г) популяций

На рис. 3 аналогичным образом представлены распределения баллов по предпочтениям полового диморфизма по развитию мускулатуры (при котором мужчина более мускулист, чем женщина) для бурятских и русских мужчин (рис. 3, а) и женщин (рис. 3, б), а также средние значения мышечной массы (и стандартные отклонения) для бурятских мужчин и женщин (рис. 3, в) и русских мужчин и женщин (рис. 3, г).

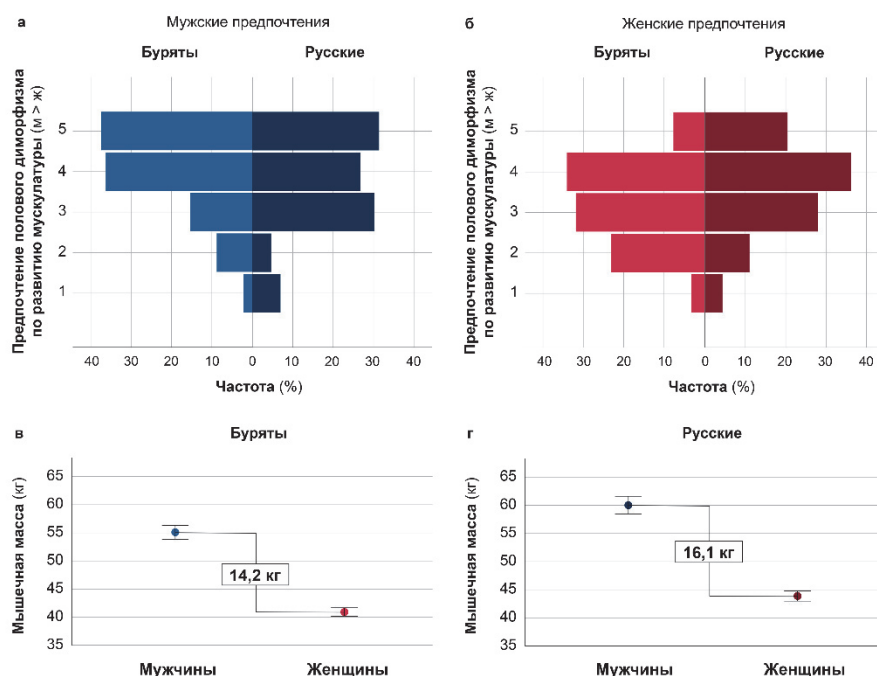


Рис. 3. Предпочтения выраженности полового диморфизма по развитию мускулатуры (а, б) и средние значения мышечной массы бурятских и русских мужчин и женщин (в, г). Представлены распределения частот баллов мужских (а) и женских (б) предпочтений выраженности полового диморфизма по развитию мускулатуры, при котором мужчины более мускулисты, чем женщины, а также средние значения, стандартные отклонения и разница средних значений мышечной массы для мужчин и женщин бурятской (в) и русской (г) популяций

Результаты показали, что мужчины, как бурятские, так и русские, больше предпочитали женщин со слабо развитой мускулатурой (см. рис. 3, а). Популяционные различия мужских предпочтений по данному критерию статистически незначимы. Что же касается женских предпочтений развития мускулатуры у мужчин, то здесь наблюдаются ярко выраженные популяционные различия: русские женщины предпочитали мужчин с сильно развитой мускулатурой, в то время как бурятские женщины не отдавали большого предпочтения мускулистым мужчинам (рис. 3, б). Популяционные различия женских предпочтений развития мускулатуры у мужчин являются статистически значимыми ($N = 345$; $U = 13980,0$; $p = 0,002$). Как русские мужчины, так и русские женщины предпочитали высокий уровень полового диморфизма по развитию мускулатуры, при котором мужчина более мускулист, чем женщина. Для бурят же были характерны значимые половые различия в предпочтениях выраженности полового диморфизма по развитию мускулатуры: бурятским мужчинам нравились

женщины со слабо развитой мускулатурой, а бурятские женщины не отдавали предпочтения мужчинам с сильно развитой мускулатурой ($N = 182$; $U = 2395,0$; $p < 0,001$). При таких предпочтениях полового диморфизма по развитию мускулатуры можно ожидать, что в популяции бурят будет наблюдаться более низкий уровень мышечной массы и пониженный половой диморфизм по данному критерию по сравнению с русскими. Половые различия по мышечной массе русских и бурят не полностью соответствуют этим ожиданиям: у русских мужчин и женщин мышечная масса действительно была значительно выше, чем у бурят (см. таблицу, рис. 1). Однако несмотря на большее значение разницы средних (рис. 3, в, з), половой диморфизм по мышечной массе у русских был выражен слабее, чем у бурят, о чем свидетельствует d Коэна (таблица). Этот результат позволяет заключить, что половые предпочтения (или культурные стереотипы привлекательности по критерию мускулистости мужчин и женщин) не являются фактором, вносящим ощутимый вклад в формирование выраженности полового диморфизма по развитию мускулатуры в рассмотренных популяциях.

На рис. 4 представлены распределения баллов по предпочтениям полового диморфизма по физической силе (при котором мужчина более физически сильный, чем женщина) для бурятских и русских мужчин (рис. 4, а) и женщин (рис. 4, б), а также средние значения силы кисти (и стандартные отклонения) для бурятских мужчин и женщин (рис. 4, в) и русских мужчин и женщин (рис. 4, з). Как можно отметить, в обеих популяциях наблюдаются схожие предпочтения: мужчины больше предпочитают физически слабых женщин, в то время как женщины не отдают больше предпочтений физически сильным мужчинам. Половые различия в предпочтении диморфизма по физической силе статистически значимы как для бурят ($N = 182$; $U = 3151,0$; $p = 0,004$) так и для русских ($N = 340$; $U = 8780,0$; $p = 0,005$). Несмотря на то, что женщины в обеих популяциях не отдавали предпочтения физически сильным мужчинам, сила кисти (как показатель физической силы) как у бурят, так и у русских демонстрировала высокий уровень половых различий, при которых мужчины были значительно сильнее женщин (см. таблицу, рис. 1, 4, а, б). Если в случае с половым диморфизмом по развитию мускулатуры половые предпочтения соответствовали хотя бы популяционным различиям, то физическая сила продемонстрировала полную независимость популяционной специфики и наблюдаемого полового диморфизма от половых предпочтений в обеих рассмотренных популяциях.

На рис. 5 аналогичным образом представлены распределения баллов по предпочтениям полового диморфизма по жиротолжению (при котором женщина имеет более полное телосложение, чем мужчина) для бурятских и русских мужчин (см. рис. 3, а) и женщин (рис. 3, б), а также средние значения процентного содержания жира в теле (и стандартные

отклонения) для бурятских мужчин и женщин (см. рис. 2, в) и русских мужчин и женщин (рис. 2, г).

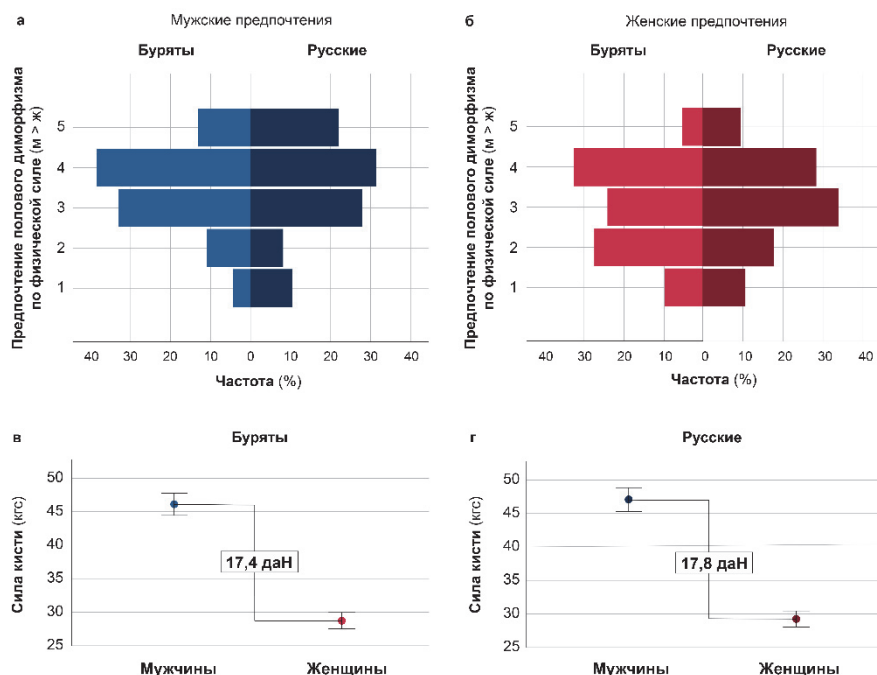


Рис. 4. Предпочтения выраженности полового диморфизма по физической силе (а, б) и средние значения силы кисти бурятских и русских мужчин и женщин (в, г). Представлены распределения частот баллов мужских (а) и женских (б) предпочтений выраженности полового диморфизма по физической силе, при котором мужчины физически сильнее женщин, а также средние значения, стандартные отклонения и разница средних значений силы кисти для мужчин и женщин бурятской (в) и русской (г) популяций

Как бурятские, так и русские мужчины предпочитали худых женщин полным (рис. 5, а). Однако русские мужчины оказались более терпимы к женской полноте, чем бурятские мужчины (различия в предпочтениях по критерию женской полноты между русскими и бурятскими мужчинами статистически значимы: $N = 177$; $U = 4619,0$; $p = 0,028$). Как бурятские, так и русские женщины предпочитали худых мужчин (см. рис. 3, б). В соответствии с описанными предпочтениями, можно ожидать, что в популяции бурят будет наблюдаться меньше жировотложения у женщин, чем в популяции русских, а соответственно, у бурят будет менее выражен половой диморфизм по критерию содержания жировой ткани, чем у русских. Половые различия по процентному содержанию жира в теле русских и бурят полностью соответствуют этим ожиданиям: более

высокая толерантность к женской полноте у русских мужчин по сравнению с бурятскими (рис. 5, а) соответствует более высоким средним значениям содержания жира в теле у русских женщин, по сравнению с бурятскими (см. рис. 1). Также половые различия по содержанию жира значительно сильнее выражены в русской популяции по сравнению с бурятами (таблица; рис. 5, в, г).

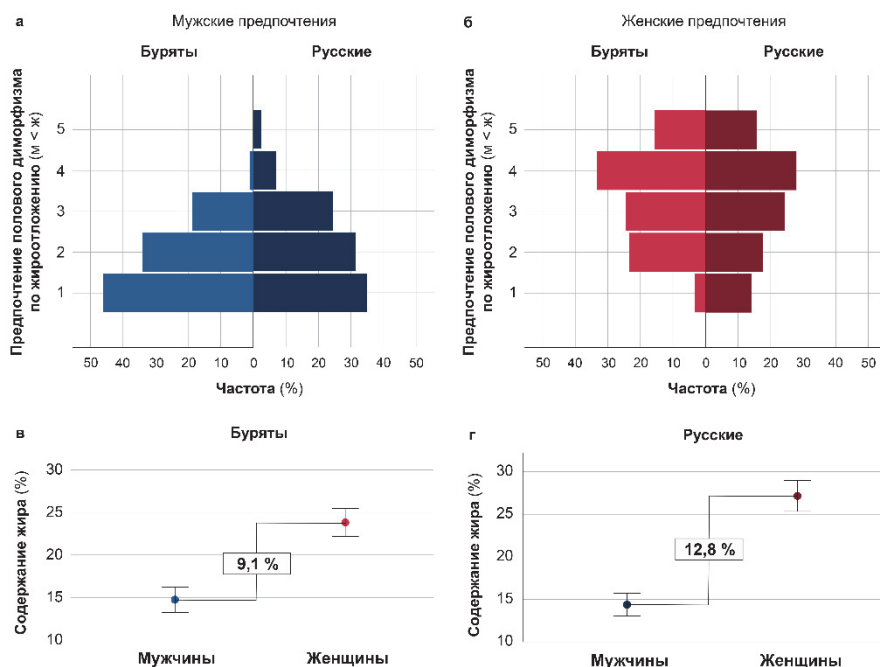


Рис. 5. Предпочтения выраженности полового диморфизма по жиротолжению (а, б) и средние значения процентного содержания жира в теле бурятских и русских мужчин и женщин (в, г).

Представлены распределения частот баллов мужских (а) и женских (б) предпочтений выраженности полового диморфизма по жиротолжению, при котором женщины имеют более полное телосложение, чем мужчины, а также средние значения, стандартные отклонения и разница средних значений процентного содержания жира в теле для мужчин и женщин бурятской (в) и русской (г) популяций

Подводя итоги, можно заключить, что предпочтения полового диморфизма по таким критериям как развитие мускулатуры и, в особенности, физическая сила не вполне отражали наблюдаемый уровень полового диморфизма по данным параметрам ни у русских, ни у бурят. В обоих случаях мужчины сильно превосходили женщин по значениям развития этих соматических показателей, вне зависимости от женских половых предпочтений. Мы предполагаем, что этот результат свидетельствует о

том, что развитие мускулатуры, в особенности физическая сила являются объектами постоянного направленного отбора, поддерживающего сильно выраженный половой диморфизм. Важно подчеркнуть, что данные процессы отбора, по-видимому, не ассоциированы напрямую с межполовой привлекательностью. В свою очередь, рост и процентное содержание жировой ткани в теле продемонстрировали соответствие между половыми предпочтениями и наблюдаемым половым диморфизмом.

Корреляции предпочтений полового диморфизма по разным соматическим показателям. В дополнение к полученным результатам мы провели анализ корреляции мужских и женских предпочтений выраженности полового диморфизма по соматическим показателям у русских и бурят. На рис. 6 представлены корреляционные матрицы для мужских и женских предпочтений бурят и русских. Подробное описание схемы матриц приведено в примечании к рис. 6. Результаты показали, что у бурят как мужские, так и женские предпочтения выраженности полового диморфизма по четырем рассмотренным соматическим показателям были очень слабо скоррелированы между собой (рис. 6, а). У бурятских женщин была выявлена только одна статистически значимая корреляция: бурятские женщины, предпочитавшие высокий рост мужчин, также предпочитали высокую физическую силу (коэффициент корреляции Спирмена $r = -0,2$; $p < 0,05$). У бурятских мужчин также наблюдались слабые корреляции предпочтений, и лишь одна достигала статистической значимости: бурятские мужчины, предпочитавшие слабое развитие мускулатуры у женщин, предпочитали также низкий рост женщин ($r = 0,2$; $p < 0,05$). Для русских же корреляционная матрица имела совершенно иной вид (рис. 6, б). Женские предпочтения выраженности полового диморфизма у русских продемонстрировали высокую степень скоррелированности практически по всем рассмотренным соматическим показателям: русские женщины, предпочитавшие высокий рост мужчин, примерно в 30–40% случаев также предпочитали высокую физическую силу, высокую мускулистость и низкое содержание жира у мужчин; практически все попарные корреляции были статистически значимы. Таким образом, для русских женщин маскулинные признаки мужчин были объединены в единый образ, что можно охарактеризовать как предпочтение «маскулинного комплекса». У русских мужчин предпочтения не были так комплексно скоррелированы, как у женщин, однако некоторую сгруппированность всё же можно наблюдать: русские мужчины, предпочитавшие физически слабых женщин, также предпочитали женщин со слабо развитой мускулатурой ($r = 0,4$; $p < 0,01$) и низким ростом ($r = 0,4$; $p < 0,01$); в свою очередь, мужские предпочтения сильного развития мускулатуры у женщин были связаны с предпочтениями несколько повышенного содержания жира у женщин же ($r = -0,2$; $p < 0,05$).

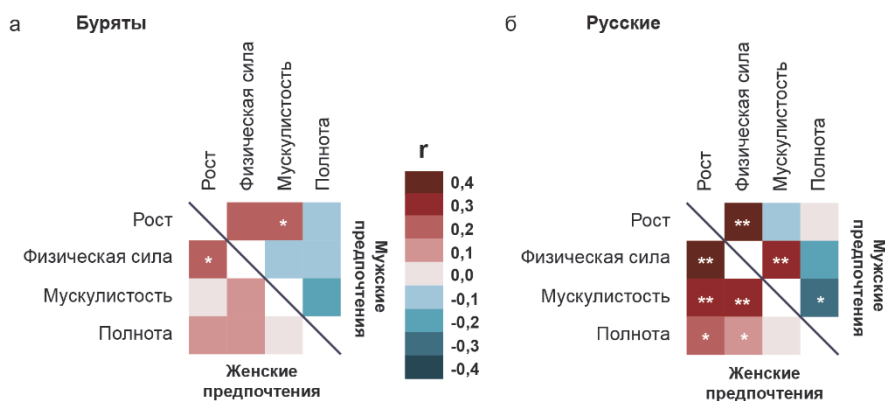


Рис. 6. Корреляция мужских и женских предпочтений выраженности полового диморфизма у бурят и русских.

Представлены матрицы корреляций между предпочтениями полового диморфизма по росту, мускулистости, физической силе и полноте у бурят (а) и русских (б). Корреляции мужских предпочтений представлены над диагональю, корреляции женских предпочтений – под диагональю. Градиентом показаны значения корреляционных коэффициентов Спирмена (r), где бордовый цвет соответствует положительным значениям, а голубой – отрицательным. Для женских предпочтений положительное направление означает предпочтение высокого роста, высокой физической силы, мускулистости и низкого содержания жира у мужчин; для мужских предпочтений положительное направление означает предпочтение низкого роста, низкой физической силы, слабого развития мускулатуры и высокого содержания жира у женщин. Статистически значимые связи: * $p < 0,5$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Полученные результаты, являются яркой иллюстрацией популяционных различий в представлениях о межполовой привлекательности, или, иными словами, различий в культурных стереотипах красоты мужского и женского тела. Особый интерес представляет выявленный комплекс женских предпочтений (предпочтения «маскулинного комплекса») в популяции русских (как популяции, представляющей в широком смысле западную культуру), в отличие от бурят.

Обсуждение результатов

В настоящей работе были исследованы популяционные особенности полового диморфизма современных молодых бурят и русских в ассоциации с представлениями о привлекательности характеристик мужского и женского тела, а также физической силы.

Результаты исследования показали, что современные молодые буряты имеют меньший рост и меньшую костную и мышечную массивность по сравнению с русскими. В свою очередь русским женщинам было свойственно более высокое содержание жировой массы по сравнению с бурятскими. В более ранних работах других авторов также было

показано, что бурятам свойственны более низкие средние значения роста, чем русским (Kozlov, Vershubsky, Kozlova 2007). Однако что касается полового диморфизма по компонентному составу тела, то результаты настоящего исследования сложно сравнивать с более ранними работами, так как компонентный состав тела в них исследовался косвенными методами, путем расчета массы на основе измерения обхватов и кожных складок тела. Несмотря на это, в исследовании А. Козлова и соавт. (2007) также отмечается, что бурятам не свойственна более высокая мышечная масса по сравнению с русскими, однако им было свойственно более высокое содержание жировой массы (что в особенности было характерно для бурятских женщин).

Такое несоответствие результатов требует дальнейшего уточнения с использованием единой методики. Известно, что жировая масса может сильно флуктуировать в зависимости от условий питания, и в первую очередь внимание стоит уделить спецификам исследуемых выборок. Как уже было отмечено, для бурят традиционно была характерна молочно-мясная система питания, и, согласно одному из недавних исследований, даже в условиях современной городской жизни их диета имеет белково-жировую направленность. При жировом типе энергетического обмена (преимущественном использовании экзогенного жира) не происходит избыточного жиरोотложения. Однако при такой диете повышение углеводной составляющей в рационе питания очень быстро приводит к накоплению жировой массы, что было, в частности, продемонстрировано в недавнем исследовании бурятских детей и подростков с избыточным весом (Бальжиева и др. 2020). Интересно отметить следующее: работы в области профессионального спорта показывают, что, например, среди квалифицированных борцов вольного стиля буряты превосходят русских в росте, весе, а также по процентному содержанию жировой и мышечной массы (Юрьева, Артемьева, Гутник 2020). Тем не менее результаты нашего исследования показали, что на фоне общей тенденции к предпочтению низкого содержанию жира у потенциальных половых партнеров, как в популяции русских, так и бурят, всё же русские мужчины демонстрируют большую терпимость к женской полноте по сравнению с бурятами. Полученные результаты можно интерпретировать, исходя из экологических и хозяйственно-культурных различий между исследованными популяциями, а также современными тенденциями, связанными с изменением образа жизни в современном обществе (меньшие силовые нагрузки и малая подвижность и изменения профиля питания – предпочтения фаст-фуда среди молодежи).

Помимо особенностей питания, стоит принять во внимание, что в традиционной культуре бурят одну из ключевых ролей занимало коневодство и верховая езда. Верховая езда была задействована не только в процессе перегона табунов скота, но и в групповой облавной охоте, которую

практиковали вплоть до XX в., а также в военном деле (кавалерия) (Бутовская, Ростовцева, 2021). Бурятская и забайкальская породы лошадей считаются некрупными породами, ведущими свое происхождение от монгольской породы (Назарова, Калашников 2018). Логичным было бы предположить, что несколько облегченный по массивности конституциональный тип имел бы больше адаптивных преимуществ в таких условиях. Однако прежде чем делать далеко идущие выводы, наши результаты требуют репликации.

Согласно результатам настоящего исследования, степень выраженности полового диморфизма у бурят по таким показателям, как рост и физическая сила, не уступала таковой у русских, а в случае с костной и мышечной массой даже превосходила ее. Интерпретация этого результата пока остается весьма затруднительной, поскольку на сегодняшний день в науке еще нет четкого понимания, какие факторы являются ведущими в формировании выраженности полового диморфизма на кросс-популяционном уровне в тех или иных условиях (Kleisner et al. 2021).

В нашей работе были выявлены популяционные различия в представлениях о привлекательности мужского тела. Несмотря на то, что в обеих популяциях женщины отдавали предпочтение высокорослым мужчинам, бурятские женщины предпочитали мужчин с несильно развитой мускулатурой, в то время как русские женщины отдавали предпочтение мускулистым мужчинам. Таким образом, первая гипотеза нашего исследования была частично подтверждена. Более того важным результатом настоящей работы является выявление особенностей комплексного восприятия привлекательности мужского тела сразу по четырем показателям (рост, мускулистость, физическая сила и жиротложение). В нашем исследовании впервые получено свидетельство того, что «маскулинный комплекс» (высокий рост, сильное развитие мускулатуры, физическая сила и низкое содержание жировой ткани у мужчин) не составляет универсальный стереотип красоты мужского тела. Этот результат является новым и не соответствует ожиданиям, изложенным в третьей гипотезе настоящей работы. Описанное явление требует дальнейшей разработки в будущих исследованиях.

Еще одним важным выводом нашей работы является отсутствие связи между половыми предпочтениями по таким критериям, как мускулистость и физическая сила, с реально наблюдаемым половым диморфизмом по данным признакам в исследованных популяциях. Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования не нашла подтверждения. Этот результат свидетельствует о том, что развитие мускулатуры и физическая сила вовлечены в некие иные процессы отбора, приводящие к сильно выраженному половому диморфизму, но не ассоциированные напрямую с межполовой привлекательностью. Помимо того, что эти признаки могут играть роль в процессе естественного отбора, это может

быть также связано с тем, что развитие мускулатуры и физическая сила являются важными признаками, вовлеченными в процесс внутривидовой конкуренции, в частности у мужчин. Наши результаты хорошо согласуются с результатами одного из недавних масштабных исследований, которое показало, что в процессе полового отбора мужчин внутривидовая конкуренция является более значимым фактором, чем женский выбор (Kordsmeyer et al. 2018).

Настоящая работа является попыткой интеграции нескольких подходов, а также анализа восприятия сразу нескольких признаков внешнего облика человека, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Мы полагаем, что полученные результаты ставят новые важные задачи, требующие будущих исследований.

Список источников

- Александров В.А., Власова И.В., Полищук Н.С. (ред.). Русские. М.: Наука, 1997.
- Бадмаев А.А. Будничное питание бурят в конце XIX – начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 1. С. 101–109.
- Бадмаев А.А. Система питания забайкальских бурят в первой половине XIX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2012. Т. 11, № 7. С. 250–257.
- Бадмаев А.А. Система питания предбайкальских бурят первой половины XIX в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2011. № 3. С. 36–38.
- Бальжиева В.В., Баирова Т.А., Рычкова Л.В., Аюрова Ж.Г. Питание детского населения Республики Бурятия как коррелят метаболических сдвигов // Наука через призму времени. 2020. № 3. С. 53–56.
- Бутовская М.Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. Фрязино: Век 2, 2004.
- Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век 2, 2013.
- Бутовская М.Л., Ростовцева В.В. Эволюция альтруизма и кооперации человека: биосоциальная перспектива. М.: Ленанд, 2021. doi: 10.47332/9785971086437
- Дронова Д.А., Бутовская М.Л. Брачная ассортативность и ее связь с половым диморфизмом у индийцев: экспериментальные данные с использованием стимульных изображений // Сибирские исторические исследования. 2020. № 1. С. 230–246. doi: 10.17223/2312461X/27/12
- Марков А.В. Происхождение человека и половой отбор // Историческая психология и социология истории. 2011. Т. 4, № 2. С. 30–55.
- Назарова Е.Н., Калашиников И.А. Экстерьерные особенности и молочная продуктивность кобыл бурятской и забайкальской породы // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2018. Т. 3, № 52. С. 79–85.
- Ростовцева В.В., Бутовская М.Л., Мезенцева А.А., Дашиева Н.Б. Влияние числа sibлигов и очередности рождения на индивидуальную кооперативность во взрослом возрасте: экспериментальное исследование среди бурят // Этнографическое обозрение. 2020. № 5. С. 162–184. doi: 10.31857/S086954150012356-1
- Старостин В.Г., Никифоров Н.В., Алексеева Л.С., Филиппов Н.С., Никитин С.Н. Половой диморфизм по морфологическим показателям у юношей и девушек смешанной национальности (метисов), проживающих в Республике Саха (Якутия) // Культура физическая и здоровье. 2019. № 1. С. 84–86.

- Хафизова А.А., Негашева М.А. Секулярные изменения дефинитивной длины тела мужчин и женщин разных регионов России (конец XIX – начало XXI в.) // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2020. № 2. С. 55–73. doi: 10.32521/2074-8132.2020.2.055-073
- Чтецов В.П., Негашева М.А., Лапина Н.Е. Изучение состава тела у взрослого населения: методические аспекты // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2012. № 2. С. 43–52.
- Юрьева А.А., Артемьева А.В., Гутник И.Н. Сравнение морфофункциональных показателей студентов – борцов ГУОР г. Иркутска разных этнических групп // Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной Сибири: материалы XIII Областной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 2020. С. 125–128.
- Achorn A.M., Rosenthal G.G. It's not about him: mismeasuring 'good genes' in sexual selection // Trends in Ecology & Evolution. 2020. Vol. 35, No. 3. P. 206–219. doi: 10.1016/j.tree.2019.11.007
- Butovskaya M.L., Smirnov O.V. Why sex matters? Differences in long-term mate preferences in Russia // Anthropologie (Brno). 2005. Vol. 43, No. 1. P. 87–96.
- Butovskaya M., Sorokowska A., Karwowski M., Sabiniewicz A., Fedenok J., Dronova D. et al. Waist-to-hip ratio, body-mass index, age and number of children in seven traditional societies // Scientific reports. 2017. Vol. 7, No. 1. P. 1–9. doi: 10.1038/s41598-017-01916-9
- Cally J.G., Stuart-Fox D., Holman L. Meta-analytic evidence that sexual selection improves population fitness // Nature Communications. 2019. Vol. 10, No. 1. P. 2017. doi: 10.1038/s41467-019-10074-7
- Cashdan E. Waist-to-hip ratio across cultures: Trade-offs between androgen- and estrogen-dependent traits // Current Anthropology. 2008. Vol. 49, No. 6. P. 1099–1107. doi: 10.1086/593036
- Darwin C. The descent of man, and selection in relation to sex. New York: Appleton, 1871.
- Gustafsson A., Lindenfors P. Human size evolution: no evolutionary allometric relationship between male and female stature // Journal of Human Evolution. 2004. Vol. 47, No. 4. P. 253–266. doi: 10.1016/j.jhevol.2004.07.004
- Kleisner K., Tureček P., Roberts S.C., Havlíček J., Valentova J.V., Akoko R.M., Leongómez J.D., Apostol S., Varella M.A.C., Saribay S.A. How and why patterns of sexual dimorphism in human faces vary across the world // Scientific reports. 2021. Vol. 11, No. 1. P. 1–14. doi: 10.1038/s41598-021-85402-3
- Kordsmeyer T.L., Hunt J., Puts D.A., Ostner J., Penke L. The relative importance of intra- and intersexual selection on human male sexually dimorphic traits // Evolution and Human Behavior. 2018. Vol. 39, No. 4. P. 424–436. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2018.03.008
- Kozlov A., Vershubsky G., Kozlova M. Indigenous peoples of Northern Russia: Anthropology and health // International Journal of Circumpolar Health. 2007. Vol. 66, No. 1. P. 1–184. doi: 10.1080/22423982.2007.11864603
- Lassek W.D., Gaulin S.J. Costs and benefits of fat-free muscle mass in men: Relationship to mating success, dietary requirements, and native immunity // Evolution and Human Behavior. 2009. Vol. 30, No. 5. P. 322–328. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2009.04.002
- Lidborg L.H., Cross C.P., Boothroyd L.G. A meta-analysis of the association between male dimorphism and fitness outcomes in humans // Elife. 2022. Vol. 11. e65031. doi: 10.7554/eLife.65031
- Mittendorfer B. Sexual dimorphism in human lipid metabolism // The Journal of nutrition. 2005. Vol. 135, No. 4. P. 681–686.
- Puts D.A. Beauty and the beast: Mechanisms of sexual selection in humans // Evolution and Human Behavior. 2010. Vol. 31, No. 3. P. 157–175. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.005
- Smith G.I., Mittendorfer B. Sexual dimorphism in skeletal muscle protein turnover // Journal of Applied Physiology. 2016. Vol. 120, No. 6. P. 674–682. doi: 10.1152/japplphysiol.00625.2015

- Sorokowski P., Butovskaya M.L. Height preferences in humans may not be universal: Evidence from the Datoga people of Tanzania // *Body Image*. 2012. Vol. 9, No. 4. P. 510–516. doi: 10.1016/j.bodyim.2012.07.002
- Sorokowski P., Kościński K., Sorokowska A., Huanca T. Preference for women's body mass and waist-to-hip ratio in tsimane'men of the bolivian amazon: biological and cultural determinants // *PLoS One*. 2014. Vol. 9, No. 8. e105468. doi: 10.1371/journal.pone.0105468
- Sorokowski P., Sorokowska A., Butovskaya M., Stulp G., Huanca T., Fink B. Body height preferences and actual dimorphism in stature between partners in two non-Western societies (Hadza and Tsimane') // *Evolutionary Psychology*. 2015. Vol. 13, No. 2. P. 147470491501300209.
- Sorokowski P., Sorokowska A., Fink B., Mberira M. Variable preferences for sexual dimorphism in stature (SDS) might not be universal: Data from a semi-nomad population (Himba) in Namibia // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2012. Vol. 43, No. 1. P. 32–37. doi: 10.1177/00220221110395140
- Stulp G., Simons M.J., Grasman S., Pollet T. V. Assortative mating for human height: A meta-analysis // *American Journal of Human Biology*. 2017. Vol. 29, No. 1. e22917. doi: 10.1002/ajhb.22917
- Wells J.C. Sexual dimorphism of body composition // *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2007. Vol. 21, No. 3. P. 415–430. doi: 10.1016/j.beem.2007.04.007
- Wells J. C. Sexual dimorphism in body composition across human populations: associations with climate and proxies for short-and long-term energy supply // *American Journal of Human Biology*. 2012. Vol. 24, No. 4. P. 411–419. doi: h10.1002/ajhb.22223

References

- Achorn A.M., Rosenthal G.G. (2020) It's not about him: mismeasuring 'good genes' in sexual selection, *Trends in Ecology & Evolution*, vol. 35, no. 3, pp. 206–219. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.11.007>
- Aleksandrov V.A., Vlasova I.V., Polishchuk N.S. (eds.) (1997) *Russkie* [Russians]. Moscow: Nauka.
- Badmaev A.A. (2009) Budnichnoe pitanie buriat v kontse XIX – nachale XX veka [Everyday Diet of The Buryats in The Late 19th And Early 20th Centuries], *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii*, no. 1, pp. 101–109.
- Badmaev A.A. (2011) Sistema pitaniia Predbaikal'skikh buriat pervoi poloviny XIX v. [Food System of The Buryats in The Area of The Fore-Baikal Depression in The First Half of The XIX Century], *Gumanitarnye nauki v Sibiri*, no. 3, pp. 36–38.
- Badmaev A.A. (2012) Sistema pitaniia zabaikal'skikh buriat v pervoi polovine XIX veka [Supply System of Trans-Baikal Buryat in The First Half of The XIX Century], *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriia. Filologiya*, vol. 11, no. 7, pp. 250–257.
- Bal'zhieva V.V., Bairova T.A., Rychkova L.V., Aiurova Zh.G. (2020) Pitanie detskogo naseleniia Respubliki Buriatii kak korreliat metabolicheskikh sdvigo [Nutrition of the child population of the Republic of Buryatia as a correlate of metabolic changes], *Nauka cherez prizmu vremeni*, no. 3, pp. 53–56.
- Butovskaia M.L. (2004) *Tainy pola. Muzhchina i zhenshchina v zerkale evoliutsii* [Secrets of gender. Man and woman in the mirror of evolution]. Fiazino: Vek 2.
- Butovskaia M.L. (2013) *Antropologiya pola* [Anthropology of sex]. Fiazino: Vek 2.
- Butovskaia M.L., Rostovtseva V.V. (2021) *Evoliutsiia al'truizma i kooperatsii cheloveka: biosotsial'naia perspektiva* [The evolution of human altruism and cooperation: a biosocial perspective]. Moscow: Lenand. DOI: <https://doi.org/10.47332/9785971086437>

- Butovskaya M., Sorokowska A., Karwowski M., Sabiniewicz A., Fedenok J., Dronova D. et alio (2017) Waist-to-hip ratio, body-mass index, age and number of children in seven traditional societies, *Scientific reports*, vol. 7, no. 1, pp. 1–9. DOI: 10.1038/s41598-017-01916-9
- Butovskaya M.L., Smirnov O.V. (2005) Why sex matters? Differences in long-term mate preferences in Russia, *Anthropologie (Brno)*, Vol. 43, no. 1, pp. 87–96.
- Cally J.G., Stuart-Fox D., Holman L. (2019) Meta-analytic evidence that sexual selection improves population fitness, *Nature Communications*, Vol. 10, no. 1, pp. 2017. DOI: 10.1038/s41467-019-10074-7
- Cashdan E. (2008) Waist-to-hip ratio across cultures: Trade-offs between androgen-and estrogen-dependent traits, *Current Anthropology*, vol. 49, no. 6, pp. 1099–1107. DOI: 10.1086/593036
- Chtetsov V.P., Negasheva M.A., Lapshina N.E. (2012) Izuchenie sostava tela u vzroslogo naseleniia: metodicheskie aspekty [Studying Body Composition in The Adult Population: Methodological Aspects], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropologiya*, no. 2, pp. 43–52.
- Darwin C. (1871) *The descent of man, and selection in relation to sex*. New York: Appleton.
- Dronova D.A., Butovskaia M.L. (2020) Brachnaia assortativnost' i ee sviaz' s polovym dimorfizmom u indiitsev: eksperimental'nye dannye s ispol'zovaniem stimul'nykh izobrazhenii [Assortative Mating and Its Relationship with Sexual Dimorphism in Indians: Experimental Data Using Stimulus Images], *Sibirskie istoricheskie issledovaniia*, no. 1, pp. 230–246. DOI: 10.17223/2312461X/27/12
- Gustafsson A., Lindenfors P. (2004) Human size evolution: no evolutionary allometric relationship between male and female stature, *Journal of Human Evolution*, vol. 47, no. 4, pp. 253–266. DOI: 10.1016/j.jhevol.2004.07.004
- Iur'eva A.A., Artem'eva A.V., Gutnik I.N. (2020) Sravnenie morfofunktsional'nykh pokazatelei studentov - bortsov GUOR g. Irkutsk raznykh etnicheskikh grupp [Comparison of morphofunctional indicators of student wrestlers of different ethnic groups of the State School (College) of the Olympic Reserve, Irkutsk]. In: *Aktual'nye problemy razvitiia fizicheskoi kul'tury i sporta v Vostochnoi Sibiri. Materialy XIII Oblastnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov, magistrantov, aspirantov i molodykh uchenykh* [Current problems in the development of physical culture and sports in Eastern Siberia. Materials of the XIII Regional Scientific and Practical Conference of Students, Masters, Postgraduate Students and Young Scientists]. pp. 125–128.
- Khafizova A.A., Negasheva M.A. (2020) Sekuliarnye izmeneniia definitivnoi dliny tela muzhchin i zhenshchin raznykh regionov Rossii (konets XIX – nachalo XXI v.) [Secular Changes in Adult Human Height of Men and Women in Different Regions of Russia Since the End of the 19th To the Beginning of the 21st Century], *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 23. Antropologiya*, no. 2, pp. 55–73. DOI: 10.32521/2074-8132.2020.2.055-073
- Kleisner K., Tureček P., Roberts S.C., Havlíček J., Valentova J.V., Akoko R. M., Leongómez J.D., Apostol S., Varella M.A.C., Saribay S.A. (2021) How and why patterns of sexual dimorphism in human faces vary across the world, *Scientific reports*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14. DOI: 10.1038/s41598-021-85402-3
- Kordmeyer T.L., Hunt J., Puts D.A., Ostner J., Penke L. (2018) The relative importance of intra-and intersexual selection on human male sexually dimorphic traits, *Evolution and Human Behavior*, vol. 39, no. 4, pp. 424–436. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2018.03.008
- Kozlov A., Vershubsky G., Kozlova M. (2007) Indigenous peoples of Northern Russia: Anthropology and health, *International Journal of Circumpolar Health*, vol. 66, no. 1, pp. 1–184. DOI: <https://doi.org/10.1080/22423982.2007.11864603>
- Lassek W.D., Gaulin S.J. (2009) Costs and benefits of fat-free muscle mass in men: Relationship to mating success, dietary requirements, and native immunity, *Evolution and Human Behavior*, vol. 30, no. 5, pp. 322–328. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2009.04.002

- Lidborg L.H., Cross C.P., Boothroyd L.G. (2022) A meta-analysis of the association between male dimorphism and fitness outcomes in humans, *Elife*, vol. 11. e65031. DOI: 10.7554/eLife.65031
- Markov A.V. (2011) Proiskhozhdenie cheloveka i polovoi otbor [Human origins and sexual selection], *Istoricheskaya psikhologiya i sotsiologiya istorii*, Vol. 4, no. 2, pp. 30–55.
- Mittendorfer B. (2005) Sexual dimorphism in human lipid metabolism, *The Journal of nutrition*, vol. 135, no. 4, pp. 681–686.
- Nazarova E.N., Kalashnikov I.A. (2018) Ekster'ernye osobennosti i molochnaia produktivnost' kobyi buriatskoi i zabaikal'skoi porody [Exterior Features and Milk Productivity of Buryat and Transbaikalian Mare Breeds], *Vestnik Buriatskoi gosudarstvennoi sel'skokhoziaistvennoi akademii im. V.R. Filippova*, vol. 3, no. 52, pp. 79–85.
- Puts D.A. (2010) Beauty and the beast: Mechanisms of sexual selection in humans, *Evolution and Human Behavior*, vol. 31, no. 3, pp. 157–175. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.005
- Rostovtseva V.V., Butovskaia M.L., Mezentseva A.A., Dashieva N.B. (2020) Vlianie chisla siblingov i ocherednosti rozhdeniia na individual'nuiu kooperativnost' vo vzrosлом vozraste: eksperimental'noe issledovanie sredi buriat [Number of Siblings, Birth Order and Their Impacts on Individual Cooperativeness in Adulthood: An Experimental Study Among Buryats of Eastern Siberia], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 5, pp. 162–184. DOI: 10.31857/S086954150012356-1
- Smith G.I., Mittendorfer B. (2016) Sexual dimorphism in skeletal muscle protein turnover, *Journal of Applied Physiology*, vol. 120, no. 6, pp. 674–682. DOI: 10.1152/japplphysiol.00625.2015
- Sorokowski P., Butovskaya M.L. (2012) Height preferences in humans may not be universal: Evidence from the Datoga people of Tanzania, *Body Image*, vol. 9, no. 4, pp. 510–516. DOI: 10.1016/j.bodyim.2012.07.002
- Sorokowski P., Kościński K., Sorokowska A., Huanca T. (2014) Preference for women's body mass and waist-to-hip ratio in tsimane'men of the bolivian amazon: biological and cultural determinants, *PLoS One*, vol. 9, no. 8. e105468. DOI: 10.1371/journal.pone.0105468
- Sorokowski P., Sorokowska A., Butovskaya M., Stulp G., Huanca T., Fink B. (2015) Body height preferences and actual dimorphism in stature between partners in two non-Western societies (Hadza and Tsimane'), *Evolutionary Psychology*, Vol. 13, no. 2, pp. 147470491501300209.
- Sorokowski P., Sorokowska A., Fink B., Mberira M. (2012) Variable preferences for sexual dimorphism in stature (SDS) might not be universal: Data from a semi-nomad population (Himba) in Namibia, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 43, no. 1, pp. 32–37. DOI: 10.1177/0022022110395140
- Starostin V.G., Nikiforov N.V., Alekseeva L.S., Filippov N.S., Nikitin S.N. (2019) Polovoi dimorfizm po morfologicheskim pokazateliam u iunoshei i devushek smeshannoi natsional'nosti (metisov), prozhivaiushchikh v Respublike Sakha (Iakutiia) [Sexual Dimorphism by Morphological Parameters in Boys and Girls of Mixed Nationality (Mestizo) Living in The Republic of Sakha (Yakutia)], *Kul'tura fizicheskaiia i zdorov'e*, no. 1, pp. 84–86.
- Stulp G., Simons M.J., Grasman S., Pollet T.V. (2017) Assortative mating for human height: A meta-analysis, *American Journal of Human Biology*, vol. 29, no. 1. e22917. DOI: 10.1002/ajhb.22917
- Wells J.C. (2007) Sexual dimorphism of body composition, *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, vol. 21, no. 3, pp. 415–430. DOI: 10.1016/j.beem.2007.04.007
- Wells J.C. (2012) Sexual dimorphism in body composition across human populations: associations with climate and proxies for short-and long-term energy supply, *American Journal of Human Biology*, vol. 24, no. 4, pp. 411–419. DOI: 10.1002/ajhb.22223

Информация об авторах:

РОСТОВЦЕВА Виктория Викторовна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: victoria.v.rostovtseva@gmail.com

БУТОВСКАЯ Марина Львовна – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия); ведущий научный сотрудник, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия). E-mail: marina.butovskaya@gmail.com

МЕЗЕНЦЕВА Анна Александровна – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: khatsenkova@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Victoria V. Rostovtseva, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: victoria.v.rostovtseva@gmail.com

Marina L. Butovskaya, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: marina.butovskaya@gmail.com

Anna A. Mezentseva, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: khatsenkova@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 16 сентября 2023 г.;
принята к публикации 01 ноября 2023 г.*

*The article was submitted 16.09.2023;
accepted for publication 01.11.2023.*

Научная статья
УДК 929
doi: 10.17223/2312461X/43/13

Агитрейс на Чукотке: «Энергию планов и замыслов – в энергию дел». К 90-летию фотографа Н.Н. Боброва

Ольга Михайловна Шульгина¹
Владимир Николаевич Давыдов^{2, 3}

^{1, 2} Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург, Россия

³ Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, Анадырь, Россия

¹ shulgina@kunstkamera.ru

^{2, 3} davydov.kunstkamera@gmail.com

Аннотация. Рассматривается уникальный феномен советской эпохи – так называемые агитрейсы. На Чукотке они представляли собой марш-броски по береговым поселкам, которые преследовали привычную для советского гражданина, человека того времени цель – политпросветительскую работу среди приезжего и коренного населения Чукотского полуострова. Соответственно, агитрейсы особым образом объединили мобильное и стационарное. В них участвовали советские корреспонденты, фотографы, представители местной творческой интеллигенции. Сущность этого явления советского времени раскрывается на примере конкретного агитрейса, который состоялся летом 1985 г. и проходил вдоль побережья Чукотки на теплоходе «Капитан Сотников» от Анадыря до Уэлена. Используя микроисторический подход, авторы предлагают взглянуть на события через объектив и воспоминания непосредственных участников чукотского агитрейса – фотокорреспондентов Н.Н. Боброва и В.В. Сертуна. Реконструирован маршрут, участники и ключевые события чукотского агитрейса 1985 г. Данный рейс выполнял не только функцию информирования, но и позволял произвести оперативный мониторинг происходивших на Чукотке процессов и изменений. Его участники имели возможность сопоставить ход процесса благоустройства сел, узнать планы на будущее, понять местный контекст и выявить конкретные проблемы.

Ключевые слова: Арктика, Чукотка, агитрейс, агитация, мобильность, меняющаяся материальность

Благодарности: исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-18-00637) «Меняющаяся материальность Арктики и Сибири: технологии, инновации, инфраструктура» (руководитель – В.Н. Давыдов). Источник финансирования МАЭ РАН.

Для цитирования: Шульгина О.М., Давыдов В.Н. Агитрейс на Чукотке: «Энергию планов и замыслов – в энергию дел». К 90-летию фотографа Н.Н. Боброва // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 210–228. doi: 10.17223/2312461X/43/13

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/13

Agitreis in Chukotka: “The Energy of Plans and Thoughts – To the Energy of Deeds”.

To the 90th anniversary of photographer N.N. Bobrov

Olga M. Shulgina¹, Vladimir N. Davydov²

^{1, 2} *Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera),
St. Petersburg, Russian Federation*

³ *Chukotka Branch of the Northern Federal University, Anadyr, Russian Federation*

¹ *shulgina@kunstkamera.ru*

^{2, 3} *davydov.kunstkamera@gmail.com*

Abstract. The article examines a unique phenomenon of the Soviet era – the so-called *agitreis*. These were marches through the coastal Chukotka villages, which pursued the usual goal for a Soviet citizen, a person of that time – political educational work among the newcomers and indigenous population of the Chukotka Peninsula. *Agitreis* combined mobile and stationary in a special way. Soviet correspondents, photographers, and representatives of the local creative intelligentsia took part in the propaganda campaigns. The authors reveal the essence of this Soviet-era phenomenon through the example of a specific *agitreis*, which took place in the summer of 1985, and passed along the coast of Chukotka on the ship “Captain Sotnikov” from Anadyr to Uelen. Using a microhistorical approach, the authors propose to look at the events through the lens and memories of direct participants of the *agitreis* in Chukotka – photographers N.N. Bobrov and V.V. Sertun. The article reconstructs the route, participants and key events of the Chukotka *agitreis* of 1985. This *agitreis* performed not only the function of informing, but also allowed for operational monitoring of the processes and changes taking place in Chukotka. The cruise participants had the opportunity to compare the progress of the village improvement process, find out plans for the future, understand the local context and identify specific problems.

Keywords: Arctic, Chukotka, *agitreis*, agitation, mobility, changing materiality

Acknowledgements: The research was supported by the grant of the Russian Science Foundation (project No. 23-18-00637) “Changing materiality of the Arctic and Siberia: technologies, innovations, infrastructure” (PI – V.N. Davydov).

For citation: Shulgina, O.M. & Davydov, V.N. (2024) Agitreis in Chukotka: “The Energy of Plans and Thoughts – To the Energy of Deeds”. To the 90th anniversary of photographer N.N. Bobrov. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 210–228 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/13

На сегодняшний день агитрейсы представляют собой уникальный феномен и являются частью российской истории. В данной статье мы принимаем попытку раскрыть это явление советской культуры на примере одного из таких путешествий, о котором рассказал и фотоматериалы которого предоставил талантливый советский журналист, фотограф

и корреспондент Николай Николаевич Бобров, а также его коллега по цеху Владимир Васильевич Сертун, принявшие участие в агитрейсе на Чукотке в 1985 г. Ранее эта тема не рассматривалась и практически ускользала с научного поля зрения, тем самым подтверждая мысль Клода Романо о том, что любое подлинное событие являет себя не в момент своего явления, а всегда *post factum*, когда мы способны осмыслить последствия и результаты, к которым оно приводит (Романо 2019: 20). Тем ценнее сопоставление образов, запечатленных около четырех десятилетий назад, и наблюдений участников агитрейса с полевыми материалами, собранными авторами статьи на Чукотке в тех же местах летом 2023 г.

Агитрейс – это специальный рейс судна, самолета, поезда или другого транспортного средства, совершаемый с целью проведения агитационной работы среди населения. Агитрейсы особым образом объединили мобильное (кочевые красные яранги) и стационарное (политпросветпункты, которые организовывались с середины 1920-х гг. при культурбазах – комплексах учреждений, хозяйственных организаций и подсобных помещений) (Терлецкий 1935, АМАЭ РАН Ф. К-V. Оп. 1. Д. 531). На Чукотке они активно осуществлялись в поздний советский период, в 1980-е гг., прежде всего, как один из важнейших инструментов выборных кампаний.

Практика агитационных кампаний была в общем распространена в советское время, в некоторых регионах десятилетиями работали агиттеплоходы и агитпоезда. В рассматриваемом нами конкретном агитрейсе перемещение осуществлялось по воде. Возможность следования по определенному маршруту позволяла его участникам посетить труднодоступные поселки, показать выставки, концерты и запечатлеть советскую действительность. В сущности агитрейс – это сочетание путешествия, политической коммуникации и искусства. Выступления с лекциями, информирование о партийной политике сочетались с культурной и досуговой частью: чтением стихов, выступлениями национальных ансамблей, исполнением музыкальных номеров, организацией передвижных выставок фотографий и т.д. (рис. 1).

В агитрейсах участвовали советские корреспонденты, фотографы, представители местной творческой интеллигенции. Например, в агитрейсе 1986 г. были задействованы солисты ансамбля эскимосского танца «Уэлен». Этот ансамбль и сейчас существует в одноименном селе, участвует в окружных и районных мероприятиях. Годом ранее в рейсе приняли участие солисты известного чукотско-эскимосского танцевального коллектива «Эргырон».

В целом агитрейсы возникали не стихийно. Организовывались они окружным комитетом КПСС совместно с окружным отделом культуры по прибрежным селам Восточной Чукотки. Это были своего рода марш-

броски по береговым чукотским поселкам, которые преследовали привычную для советского гражданина, человека того времени цель – политпросветительскую работу среди местного и коренного населения Чукотского полуострова.



Рис. 1. Программа мероприятий агитбригады в ДК с. Лорино, 18 августа 1985 г. Фото Н.Н. Боброва

Первый подобный рейс был организован на Чукотке в 1981 г. Тогда путь преодолевался по воздуху на самолетах. Одной из его главных задач было доведение до местного коренного населения решений XXVI съезда коммунистической партии. Тем не менее второй рейс был осуществлен в 1982 г. на борту теплохода «Капитан Сотников» – именно такие агитационно-пропагандистские рейсы прижились и получили распространение на Чукотке. Этот рейс был посвящен 60-летию образования СССР. Девизом очередной поездки стала подготовка празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне (Рига 1986: 129) (рис. 2).

Методология

Используя микроисторический подход, который предполагает рассмотрение событий и явлений действительности с автобиографических

позиций, нацеленный скорее не на количественные, а качественные изменения (Ginzburg 1993), остановимся более подробно на чукотском рейсе 1985 г., который был посвящен предстоявшему XXVII съезду коммунистической партии (Рига 1986: 129).



Рис. 2. Теплоход «Капитан Сотников» прибыл к с. Нунлингран, 14 августа 1985. Фото Н.Н. Боброва

Для реконструкции данного исторического события мы использовали набор источников: фотоархив участника событий Н.Н. Боброва, беседы и интервью с ним и В.В. Сертуном. Были использованы визуальные методы, проводилась экспедиционная работа в ключевых местах, где проходил агитрейс: пгт Провидения, с. Лорино, лоринские Горячие Ключи, с. Уэлен, с. Инчоун. В пгт. Провидения и с. Лаврентия мы добрались на том же самом теплоходе, на котором проводился агитрейс. По сей день «Капитан Сотников» играет важную роль в транспортной схеме Чукотки в период навигации. Подобная стратегия позволила выявить изменения, произошедшие в материальности (используемых жителями вещах и инфраструктуре) населенных пунктов Чукотки. Авторы статьи старались документировать похожие места и события для более детальной визуализации происходивших изменений. Дополнительным источником послужил очерк о чукотском агитрейсе 1985 г., который был опубликован его участником – журналистом И.Г. Ригой в магаданском литературно-художественном альманахе «На Севере Дальнем» в 1986 г. Очерк предварял агитационный коммунистический слоган – «Энергию планов и замыслов – в энергию дел».

Участники агитрейса 1985 г.

Рассмотрим состав участников агитрейса. Его руководителем была заведующая лекторской группой окружкома КПСС Л.А. Петрова.

Логично было бы предположить, что большая часть участников агитрейса должна была быть из партийных работников и представителей культурной сферы. Вместе с тем Владимир Сертун открывает истинный принцип «набора» в участники агитрейсов. Вспоминая о событиях тех лет, он с улыбкой обращает внимание, что чаще всего было так: «агитбригада» представляла собой сборную из тех, кто по каким-либо причинам не смог уехать в отпуск. Соответственно, потому делали «кто на что горазд». Например, Николай Бобров и Владимир Сертун официально шли в рейс в качестве фотографов, но Владимир, кроме этого, пел и участвовал в театральных постановках, а Николай предпринимал, пусть и не очень успешные, попытки декламировать русскую поэзию (рис. 3). Не без самоиронии Николай Бобров пишет в своих воспоминаниях: «На репетиции за день до отплытия я даже прочитал его (стихотворение. – *О.М.*) успешно, закончив любимой строчкой: “И если я тебе и в этот раз желаю добра лишь, то ты прости меня”. Словом, доказал право участвовать в агитбригаде. Увы, через сутки, кажется, в Конергино я бесславно опозорился, забыв середину стиха. После чего лишь фотографировал происходящее: скетчи о пьянстве, танцы, лекции, дуэты, будни рейса и местечки, где мы были» (Архив Н.Н. Боброва).



Рис. 3. Временный дуэт В. Сертуна и Л. Нестеровой, лето 1985 г.
Фото Н.Н. Боброва

Лекторско-концертный коллектив представляли журналисты И.Г. Рига (1937–2009), Д.И. Власов и А.Д. Емельянов, работники учреждений культуры Н.Н. Бобров, П.Г. Гарбузов, С.П. Кузьмин, О.К. Манасбаева, Л.Н. Нестерова, В.В. Сертун, М.В. Тевлянаут.

Отметим, что состав участников агитрейса был многонациональным. В нем принимали участие как коренные жители Чукотки, так и люди, приехавшие из разных уголков Советского Союза. К примеру, в рейсе 1985 г. участвовала солистка ансамбля «Эргырон» Татьяна Рультынеут. С ней в рейсе были ее коллеги Зоя Тагрина (оставшаяся на несколько дней в родном селе Энмелен) и Олег Тнагиргин, которые участвовали в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве и планировали посетить родные селения. В агитрейсе также принимала участие и уже известная к этому времени эскимосская писатель и поэтесса, журналист и активный общественный деятель, второй секретарь окружкома партии Татьяна Юрьевна Ачиргина, которая с 1975 г. занималась вопросами развития физической культуры и спорта и улучшением работы по сдаче ГТО в округе.

Несколько слов о команде теплохода. Экипаж судна был небольшим и состоял всего из 9 человек. Капитаном корабля был Г.И. Булашкин, который до того, как занял эту должность, 5 лет проводил теплоход «Капитан Гагарин» по реке Анадырь. На корабле работали также боцман Сергей Федоров, старший помощник капитана, комсомолец Сергей Соболев, которые помогали во время агитрейса с организацией вечеров отдыха в намеченных для посещения населенных пунктах. В команду входили старший механик Михаил Карабанов, старший моторист Сергей Исаев. Матросом-мотористом на корабле был Миндаугас Довидайтис (которого для краткости называли Мишей). В команду входил матрос Игорь Стащук – коренной северянин, родившийся в Анадыре. Кок Валентина Чучина, участвовавшая в рейсе 1985 г., приехала на Чукотку из Донецка. Готовить ей помогала комсомолка Светлана Капустина (Рига 1986: 138).

Таким образом, в группу агитбригады входили и культпросветители: сотрудники чукотского окружного Дома народного творчества Анадыря (Дома культуры), руководители народных фотостудий «Чукотка» (В. Сертун, г. Анадырь), «Берингия» (Н. Бобров, пгт Эгвекино), журналисты. С бригадой выступали солисты национального ансамбля «Эргырон».

По водам двух океанов: маршрут агитрейса

Рейс, о котором пойдет речь, состоялся в августе 1985 г. и длился 12 дней. Группа участников прошла на теплоходе «Капитан Сотников»

вдоль Восточного берега Чукотки (Анадырского, Провиденского и Чукотского районов) по маршруту Анадырь → Конергино → Энмелен → Нунлингран → Провидения → Новое Чаплино → Янранкыннот → Лорино → лоринские Горячие Ключи → Уэлен → Инчоун → Сиреники. Маршрут проходил в водах двух морей (Берингово и Чукотское) и океанов (Тихий и Северный Ледовитый), в двух проливах (Сенявина и Берингов). Было пройдено более 2 000 км.

Рейс начался в понедельник 12 августа в порту г. **Анадырь**. По понедельникам в портовом расписании обычно был пассажирский рейс на Эгвекино (Рига 1986: 129). Примечательно следующее: для того чтобы агитки состоялись, теплоход сняли с обычных рейсов и предоставили для нужд окружкома партии. Владимир Сертун, один из участников агитрейса 1985 г., отмечает, что как раз в этот период благодаря таким рейсам теплоход был несколько усовершенствован участниками: они придумали и сделали своеобразный аппарат, который позволял сходить на берег спокойно, не пользуясь лодками (рис. 4).



Рис. 4. Ольга Манасбаева сходит с теплохода в с. Энмелен, 14 августа 1985 г. Фото Н.Н. Боброва

13 августа 1985 г. в 11.00 «Капитан Сотников» подошел к галечному берегу у с. **Конергино**. На берегу участников агитрейса ждали председатель сельского совета И.Н. Ранаутагин, директор совхоза «Возрождение» Г.К. Трофименко и секретарь парткома А.И. Бутко (Рига 1986: 129). В селе Конергино располагалась наиболее крупная, центральная усадьба совхоза «Возрождение». Вечером участник рейса журналист Д.И. Власов прочитал местным жителям лекцию о международном положении. Выступление работников окружного Дома культпросветработы прошло

под девизом «Мир – счастье планеты». Зоя Тагрина, специалист чукотского музыкального фольклора, поделилась с жителями впечатлениями о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (131).

В **Энмелен** «Капитан Сотников» зашел на пару-тройку часов в среду 14 августа. Сегодня, как и несколько десятилетий назад, Энмелен – далеко не самая посещаемая точка Чукотки: вертолет залетает в село только считанные разы в году. Вместе с тем именно в Энмелене на несколько дней осталась Зоя Тагрина, работавшая в составе фольклорной экспедиции научно-методического центра Магаданского областного управления культуры и Новосибирской консерватории. Одной из основных задач экспедиции в плане культуры было собрать образцы устного творчества чукчей и эскимосов для обновления репертуара ансамбля «Эргырон» (Рига 1986: 132). В Энмелене участники рейса встретились с управляющим отделения совхоза «Маяк Севера» А.К. Кузьминовым. Участники рассказали жителям о задачах партии и правительства, был организован концерт. Программу дополнил начальник фольклорной экспедиции, (тогда еще) кандидат искусствоведения Ю.И. Шейкин, который спел песню-рассказ на удэгейском языке, аккомпанируя на национальном музыкальном инструменте – кункане (Там же) (рис. 5).



Рис. 5. Ю.И. Шейкин солирует на кункане на концерте в с. Энмелен, 14 августа 1985 г. Фото Н.Н. Боброва

В этот же день участники рейса пошли дальше, к соседнему прибрежному **Нунлинграну**. На берегу участников рейса ждали секретарь парткома совхоза «Маяк Севера» Б.П. Мамедов, председатель сельского совета Я.А. Тнеуги (Рига 1986: 133). В Нунлигране прошла встреча с

Г.Н. Тагриной (матерью солистки «Эргырона» З. Тагриной) – чукотским поэтом-песенником и методистом по народному творчеству.

Утром 15 августа, в четверг, теплоход подошел к с. **Сиреники**, но высокая волна не позволила высадиться на берег. На обратном пути 20 и 21 августа теплоходу снова не удалось причалить к берегу в этом месте (Рига 1986: 134).

В пгт **Провидения** агитбригада прибыла в тот же день, где стояла относительно долго. Организаторы, по словам Николая Боброва, «пропали где-то в местных правительственных кругах» – естественно, надо было скоординироваться с райкомом партии. Прошла встреча с директором сиреникского совхоза Б.Б. Ластовским и заведующей народным отделом культуры Т.Н. Бородиной. Участников сводили в официальные заведения, показали местную электростанцию, была организована встреча с фотолюбителями. С лекциями выступили Л. А. Петрова, Д.И. Власов и И.Г. Рига (Рига 1986: 136). Концерт давали днем в столовой для ее коллектива, а вечером пришли в практически пустой зал Дома культуры. Зрителей сидело десятка полтора, но концерт прошел как положено. В то время, в августе 1985 г., Провидения был еще и военным портом: у Николая Боброва есть фотография артиллерийского орудия на корабле, а сегодня сфотографированные тогда многоэтажки зияют черными глазницами давно выбитых стекол (Архив Н.Н. Боброва).

Участники рейса планировали также провести мероприятия в соседнем поселке **Урелики** (сейчас заброшен). Однако заказанная лекция там сорвалась. Машина опоздала на полчаса, потом искали бензин, в итоге, когда приехали в поселок, зал был пустым (Рига 1986: 136–137).

В эскимосское село **Новое Чаплино** агитбригада добиралась дольше, чем выступала. Участники прибыли в село 16 августа в пятницу. В фотоархиве Николая Боброва есть несколько снимков из это села, по которым можно сравнить старое раскидистое село с деревянными домами и нынешний населенный пункт – остандартизованный, с современным мышлением и образом жизни. Участников рейса на местном Доме культуры встретил лозунг «XXVII съезду КПСС – достойную встречу». В селе было расположено отделение совхоза «Заря коммунизма».

В **Янракыннот** «агитнабег» причалил в субботу 17 августа и отчалил вечером того же дня. В то время, не в пример сегодняшнему, прибрежный Янранкыннот жил вполне прилично. В том, как это было, можно убедиться из фотоматериалов Боброва: был почти закончен добротный гараж для техники, строительные леса заслоняли новую двухэтажку, молодая мать двух детей что-то обсуждала с ее односельчанами у прекрасной, похожей на палубу корабля, смотровой площадки, с которой хорошо видно, куда уходят промысловики и когда приходят. Действовала звероводческая ферма – ведущее и, пожалуй, главное (несмотря на то, что в тундре были еще и три оленеводческие бригады) хозяйственное звено совхоза, регулярно ходили

на промысел рыбаки и зверобой, была создана, как и положено во всех населенных пунктах, соответствующая сфера обслуживания.

В **Лорино** агитбригада прибыла в воскресенье 18 августа. В селе участники встречались с председателем лоринского сельсовета Г.Н. Горобием. В день приезда бригады над центральной усадьбой совхоза был поднят красный флаг в честь первой оленеводческой бригады Николая Михайловича Кайвычайуна – победителя социалистического соревнования за первое полугодие 1985 г. (Рига 1986: 141). Фотоматериалов из с. Лорино у Николая Боброва практически нет. Есть лишь несколько фотографий из краеведческого музея, которого сейчас уже не существует, и несколько фотоснимков звероводческой фермы. Она сохранена, сильно уменьшилась в размере, но продолжает работать. Каких масштабов песцовое хозяйство достигало прежде, можно убедиться на снимке из вертолета, когда Николай Николаевич летел над этим селом за год до агитрейса, летом 1984 г. (Архив Н.Н. Боброва).

Отдельно необходимо коснуться и посещения агитбригадой лоринских **Горячих Ключей**. В середине 1960-х гг. в 10 километрах от Лорино на горячих источниках был возведен мощный хозяйственный комплекс: появились теплицы, парники, а в 1970 г. начал работать пионерлагерь (рис. 6). Вплоть до середины 1980-х гг. разрабатывался проект по проведению теплотрассы от Горячих Ключей к поселку, однако он так и не был реализован. Сегодня от теплиц остались только скелеты, домики для отдыха пионеров давно исчезли, но Горячие Ключи все так же являются местом притяжения местного населения и туристов. Места для купания также преобразились под стать времени: раздевалки обустроены в приспособленных для этого морских контейнерах.



Рис. 6. На лоринских Горячих Ключах, 18 августа 1985. Фото Н.Н. Боброва

Теплоход подошел к **Уэлену** 19 августа, в понедельник. Снимки Уэлена позволяют рассмотреть, что представлял собой поселок в 1985 г.: коса, вдоль которой тянется главная улица села. Здесь основные точки – это магазины, сельсовет, школа-интернат, «Полярка» – метеорологическая станция «Уэлен», и когда-то уникальная для всего Советского Союза косторезная мастерская «Северные сувениры» имени Вуквола. Еще у Николая Николаевича есть снимки аэровокзала, сохранившегося с времен ленд-лиза. Отметим, что сегодня в «топографии» села не произошло кардинальных перемен. Отдельного внимания заслуживает серия портретов: председателя сельсовета Нины Дмитриевны Рыжковой, директора школы-интерната Сергея Михайловича Раскина, который, по воспоминаниям Боброва, «отдавался любимому делу». Потому и теплица, организованная им при школе, была весьма неплоха: в ней, солидной по размерам, полностью зеленели помидоры, радовали краски цветов, некоторые даже смогли, наверняка, покрасоваться в букетах к 1 сентября. Кстати, это «южное царство» у Северного Ледовитого океана Боброву рекомендовал писавший этюды здесь в те же дни Николай Сергеевич Давыдов, знаменитый сегодня руководитель тверских живописцев из Союза художников России (Архив Н.Н. Боброва). Концертной бригаде агитрейса вручили после выступления букет свежесрезанных астр, выращенных в школьной теплице. Теплица была построена по инициативе директора школы Сергея Михайловича Раскина. Первый урожай был собран в мае 1985 г. В теплице выращивали огурцы, помидоры, острый и болгарский перец, редис, щавель, укроп и цветы (Рига 1986: 142). Николаю Николаевичу удалось сфотографировать талантливых художников (рис. 7) и многих мастеров Уэленской косторезной мастерской в тот момент, когда они сдавали свои работы Художественному совету творческого коллектива, который тогда, как показало время, был в расцвете своих возможностей с многочисленными умельцами и их учениками: на кадрах запечатлены уважаемые советские деятели, заслуженные члены Союза художников СССР, победители многих творческих выставок в стране и за рубежом. В отличие от нынешнего времени, на кадрах Боброва косторезная мастерская выглядела единым трудовым коллективом, а теперь она складывается в основном из отдельных индивидуальных предпринимателей, поодиночке работающих в цеху или на дому. Сегодня многое ориентировано на рынок, преобладает копирование классики и простое тиражирование изделий. Многие косторезы заняты изготовлением не крупных и сложных изделий, а брелоков и украшений, которые реализуются в сувенирных киосках в аэропорту Анадыря (ПМА 2023). В Уэлене участники агитрейса беседовали с председателем парткома совхоза «Герой труда» В.З. Нечаевым (Рига 1986: 142).



Рис. 7. Гравер Валентина Тагъёк с сыном Андреем за работой в Уэленской косторезной мастерской, 19 августа 1985 г. Фото Н.Н. Боброва

Попасть в **Инчоун** агитбригаде помогли вездеходчики от уэленской конторы, не без содействия художника Николая Давыдова. Участники рейса были там совсем недолго, но у Боброва осталась пара десятков снимков из этого села. Николай Николаевич пишет в своих воспоминаниях: «А как добывают пищу для здешних песцов и людей, как охотятся за моржами, тем более, китами, и на каких утлых посудинах, и как все ловко, стремительно получается, – дико и страшно смотреть! Действительно, отважные люди, умелые мастера своего дела» (Архив Н.Н. Боброва).

22 августа, в четверг, теплоход подошел к эскимосскому селу **Уэлькаль**. Гостей на борт теплохода пришел поздравить председатель сельского совета Т.Ш. Тохтиев. Участники рейса встретились также с исполняющим обязанности управляющего отделением совхоза «Возрождение» А.Я. Волобуевым, старейшим коммунистом села, в прошлом председателем колхоза «Угляткак» К.И. Акилькаком, директором Дома культуры К.П. Васкецовой, заведующей библиотекой Н.Л. Поповой (Рига 1986: 143).

23 августа теплоход вернулся в Анадырь. По итогам рейса его участники побывали в пяти совхозах, прочитали двадцать лекций «по пробле-

мам внутренней и международной жизни», работа велась на русском и чукотском языках (Рига 1986: 144). В рамках данной поездки Н.Н. Бобровым были сделаны важные фактографические фотографии, дающие представления о феномене агитрейса и делающие синхронный срез повседневной жизни прибрежных сел Чукотки (Бобров 2023: 576–577).

Агитация и мониторинг: от канона к творчеству

В рамках агитрейса сотрудники областного комитета КПСС рассказывали жителям прибрежных населенных пунктов Чукотки о планах очередной пятилетки, пересказывали материалы очередного съезда КПСС, просвещали о международном положении Советского Союза, и, как всегда, ругали «проклятую буржуазию», вещая о борьбе социалистического лагеря с ней (Архив Н.Н. Боброва).

Агитация – особая форма коммуникации, использовавшаяся для формирования и закрепления особых отношений местных жителей с государством. Важнейшей составляющей агитрейсов была наглядная агитация. Могли использоваться специальные транспаранты. Например, на рубке теплохода было закреплено красное полотнище с надписью: «Агитрейс окружкома КПСС, посвященный XXVII съезду КПСС» (Рига 1986: 129). Лозунги и другая торжественная атрибутика сопровождали также места проведения агитационных мероприятий.

В рамках агитрейсов проводились летучие фотовыставки, которые разворачивали участники в поселках. Для выставок использовались любые подходящие пространства и реквизиты, будь то стены отдельных помещений (п. Энмелен), стулья в столовой (пгт Провидения), фасады зданий (п. Новое Чаплино) (рис. 8). Визуальность – важнейшая составляющая агитации. Как писал Крейг Кемпбелл, любые фотографии так или иначе выполняют функцию агитации и действуют они несколько иначе, нежели слова, фразы, текстовые документы и книги (Campbell 2014: xiv). Фотография, будь то она профессиональная или любительская, сама по себе гораздо сложнее и глубже, чем инструмент пропаганды. Во-первых, даже плохо выполненная с технической точки зрения фотография, взятая в рамку определенного момента времени, помогает памяти, облегчает эстетические воспоминания и переживания. Во-вторых, фотография затрагивает и важные вопросы этики: она изменяет наш взгляд на жизнь, в определенной степени стимулирует формирование чувства ответственности за прожитую жизнь, ведь сегодня каждый из нас знает – ничто не забывается, а фотография точно запоминает не только личные моменты, но и совокупность общественных деяний человека (Лихачёв 1984а: 18–19).

Отметим, что агитации, а в частности и агитационной фотографии, всегда в той или иной мере присуща постановка. Соответственно, фото-

графия показывает не саму жизнь, а ее имитацию, чувствуется подыгрывание фотографа в пользу изображаемого лица, жизнь превращается в театральное действо, люди изображают вдохновение, а снимок по своей сути неправдив. Именно потому Бобров, чьи фотографии мы привлекаем, рассматривая агитрейсы как особое явление советской эпохи, – плохой агитатор, но отличный фотограф. Его фото – с настроением. Практически на каждой фотографии ненавязчиво присутствует человек, придавая фотографиям жизненности, делая их документом эпохи, а не съемки.



Рис. 8. Фотовыставка в с. Новое Чаплино, 16 августа 1985 г.
Фото Н.Н. Боброва

Агитационному кадру свойственна идеализация, которая влечет за собой размышления о взаимоотношении фотографии и общества. Если судить о жизни только из агитационных материалов, может сложиться ложное чувство, что вокруг все легко и просто: построить БАМ – раз плюнуть, добыть уголь и переплавить металл – пустяки. Едва ли из таких источников можно понять, какой ценой все это достигается. Рассматривая фотографии Боброва, можно заключить, что он умеет понять душевное состояние того, кто находится перед камерой. На его снимках – настоящий оптимизм, который опирается на знание, что жизнь неотделима от трагедии: человек болеет, стареет и, безусловно, должен умереть. Но в то самое время он может оставить свой след.

Во время агитрейсов не только демонстрировались небольшие выставки фотографий, но и создавались новые, которые потом дополняли саму выставку. Фотографии также печатались в центральных и местных изданиях, создавая определенные образы. Фотографии Н.Н. Боброва можно было видеть на страницах газет «Правда», «Магаданская правда», «Горняк Заполярья», «Советская Чукотка» (Бобров 2023). Как бы не каза-

лось парадоксальным, в сущности, фотографии Николая Боброва посвящены не политике и агитации, а человеку и его делам, причем фотограф делает это искренне и с величайшим художественным достоинством.

Владимир Сертун делится воспоминаниями о том, что в его фотостудии «Чукотка» в Анадыре, еще задолго до агитрейсов, собирались агитюнармейцы, которых он обучал искусству фотографии. Занимались они в основном документальными фото, учились отражать происходящие события. В какой-то момент в конце 1970-х – начале 1980-х гг. один из участников фотоклуба предложил Владимиру пройти пешком от Провидения до Уэлена по оленеводческим бригадам для того, чтобы читать местным жителям лекции, рассказывать о международном положении, петь песни под гитару, фотографировать и, главное, показывать уже имеющиеся работы участников фотоклуба «Чукотка». Ведь суть заключалась в том, что часто фотографы делают снимки, а люди не имеют обратной связи, видят фотографов, но не имеют возможности познакомиться с результатами работы. Уже тогда Владимир носил с собой «подборочку фотографий», пусть и небольшого формата, формата А4, но тем не менее 30–40 таких наиболее удачных работ фотостудии у него было. Эти фотографии участники похода раскладывали прямо на яранге (ПМА 2023). Памятуя о таком успешном опыте, подобная практика была перенята и в агитрейсах. Таким образом, серьезное «партийное задание» перемежалось пением, танцами, декламацией поэзии и показом сценок на самые разнообразные сюжеты, организацией летучих фотовыставок.

В Выставочном центре Европейского университета в Санкт-Петербурге 25 марта 2022 г. состоялся вернисаж фотовыставки «Советский канон: чукотские фотографии Николая Боброва». Организаторы мероприятия приглашали аудиторию задуматься через призму чукотских его фотографий о «правильных» героях и сюжетах для фотографа-любителя и для профессионального фотокорреспондента, о границах приватности и о том, как эти категории изменились с 1980-х гг. (Советский канон). В то же время сам Николай Николаевич назвал свой фотоальбом «Советская Чукотка. Это было так», смещая фокус скорее на художественном и антропологическом видении повседневности, нежели на более формализованном и каноническом воспроизведении советскости, выполняемом по ожиданиям и заказу редакций советских газет (Фотограф Николай Бобров 2019). Воспроизведение каноничности предлагает более статичный взгляд на историю, поскольку фокусируется на воспроизводстве определенной идеологизированной модели репрезентации повседневности. Работы Н.Н. Боброва зачастую как раз демонстрируют некое отступление от жанра советской репортажной фотографии, призванной показывать достижения и героизм северян. Выполненные с любовью к изображаемому людям, они создавали запоминающиеся образы, которые особым образом показывали советскую Чукотку аудитории газет, журналов и

фотовыставок. Все они отличались фактологичностью и, как подчеркивает сам автор, представляли собой «картинки жизни Чукотки во многих ее сферах» (Бобров 2023: 577).

Заключение: агитрейс как форма рефлексии

Рейс на корабле «Капитан Сотников» выполнял функцию мониторинга. Он позволял сравнить различные аспекты развития хозяйства, выявлял конкретные проблемы, давал возможность пообщаться участникам рейса с администрацией населенных пунктов и представителями различных организаций. Проводились беседы с местными жителями, фиксировались как достижения (опережение плана), так и различного рода проблемы.

Участники агитрейса делали интересные наблюдения, фиксировали факты, которые, тем не менее, неплохо отражают повседневность местных поселков. Некоторые участники работали корреспондентами в местных газетах, увлекались фотографией. В рамках поездки ими были созданы текстовые и визуальные документы, которые позволяют увидеть и проанализировать повседневность Чукотки 1985 г. Здесь важно именно эмоциональное, художественное видение участников событий. Дневниковые записи, фиксирующие изменения, рефлекссию процессов – важнейший исследовательский инструмент, позволяющий понять и проинтерпретировать повседневность (Беньямин 2013).

Например, И. Рига пишет в своем очерке (представленном в форме дневника поездки) о селе Конергино Иультинского района: «Уныл и однообразен внешний вид новых домов» (Рига 1986: 131). Автор рефлексировал новую и стандартизированную материальность, которая сейчас превратилась в обыденное явление. Указывает журналист и на проблемы конергинцев: «...необходимо ускорить затянувшийся ремонт Дома культуры, надо изменить отношение к своему делу связистов Эгвекинота...» (Там же). В Энмелене журналист запомнил «ватагу механизированных подростков», которая сопровождала «машину со сценическим реквизитом, музыкальными инструментами и ящиками с картинами и фото на своих грохочущих мотоциклах и мотороллерах» (Рига 1986: 133). Автор сделал интересное наблюдение о том, что «в Лорино удивительно гармонично переплетаются традиции предков и новь нашего времени. Здесь есть киоск, где продаются изделия признанных мастериц национального пошива из меха оленя и морского зверя. Это красивые чукотские тапочки, модные нерпичьи шапки и другие изделия» (141). Сейчас в Лорино также есть подобный киоск, в котором продают изделия, изготовленные работниками мастерской ТСО КМНЧ «Лорино».

Таким образом, агитрейс давал возможность не просто прочитать лекции и проинформировать местных жителей о современных событиях, он позволял произвести участникам агитрейса одномоментный срез повседневности различных населенных пунктов Чукотки, а также сопоставить

ход процесса благоустройства сел, узнать планы на будущее, помогал лучше понять местный контекст и выявить конкретные проблемы.

Агитрейс – это особая форма мобильности, применявшаяся для создания единого информационного поля в отдаленных селах. Эта мобильность носила рефлексивный характер (Davydov 2017). Знание о повседневной жизни населенных пунктов Чукотки буквально наращивалось в процессе посещения новых точек маршрута, позволяя произвести сравнение, увидеть как достижения и перспективы развития, так и негативные тенденции. Участники агитрейса создавали тексты и документы, которые формировали определенный образ советской действительности. Они своими заметками в газетах и печатных изданиях могли влиять на происходящие процессы, обращать внимание не только на советские достижения, но и на реальные проблемы. Таким образом, агитрейс выполнял не только функцию информирования, но и позволял произвести оперативный мониторинг происходивших на Чукотке процессов и изменений.

Список источников

- Архив Музея антропологии и этнографии РАН (АМАЭ РАН). Ф. К-V. Оп. 1. Д. 531. Отчет о работе политпросветпункта «Красная Яранга» при Чукотской культбазе.
- Архив Н.Н. Боброва – Личный архив Н.Н. Боброва. Дневниковые записи 1985 г.
- Беньямин В. Московский дневник. М.: Litres, 2013.
- Бобров Н.Н. Дешёвое золото: Автофактография. СПб.: Арт-Экспресс, 2023.
- Бобров Н.Н. Фотограф Николай Бобров. Советская Чукотка. Это было так. Магадан: Охотник, 2019. (Фотография. Жизнь на Севере. Кн. 2)
- Лихачёв Д.С. Фотография: история и воспитание // Советская фотография. 1984а. № 7. С. 18–19.
- Лихачёв Д.С. Фотография: история и воспитание // Советская фотография. 1984б. № 8. С. 14–15.
- ПМА 2023 – полевые материалы В.Н. Давыдова, О.М. Шульгиной – записи интервью Н.Н. Боброва, В.В. Сертуна, полевые дневники и фотоматериалы экспедиции в Чукотский район ЧАО 2023 г.
- Рига И.Г. У дальних берегов России // На Севере Дальнем. Вып. 1: литературно-художественный альманах. Магадан: Кн. изд-во, 1986. С. 129–144.
- Романо К. Авантюра времени. М.: РИПОЛ классик, 2019.
- Советский канон: чукотские фотографии Николая Боброва // Сайт Европейского Университета в Санкт-Петербурге. URL: <http://arch.eu.spb.ru/Bobrov> (дата обращения: 07.10.2023).
- Терлецкий П.Е. Культбазы Комитета Севера // Советский Север. 1935. № 1. С. 36–47.
- Campbell C. Agitating Images: Photography against History in Indigenous Siberia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.
- Davydov V.N. Temporality of Movements in the North: Pragmatic Use of Infrastructure and Reflexive Mobility of Evenkis and Dolgans // Sibirica. 2017. Vol. 16, No. 3. P. 14–34.
- Ginzburg C. Microhistory: Two or Three Things That I Know about It / transl. by J. Tedeschi, A.C. Tedeschi // Critical Inquiry. 1993. Vol. 20, No. 1. P. 10–35.

References

Archive of N.N. Bobrov – Personal archive of N. N. Bobrov. Diary notes from 1985.

- Archive of the Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences (AMAE RAS). Fund K-V. List 1. File 531. Report on the work of the political education center “Red Yaranga” at the Chukotka cultural center.
- Benjamin W. (2013) *Moskovskii dnevnik* [Moscow Diary]. Moscow: Litres.
- Bobrov N.N. (2023) *Deshevoe zoloto: Avtofaktografiia* [Cheap Gold: Autofactography]. Saint-Peterburg: Art-Ekspress.
- Bobrov N.N. (2019) *Fotograf Nikolai Bobrov. Sovetskaia Chukotka. Eto bylo tak* [Photographer Nikolai Bobrov. It was so]. Magadan: “Okhotnik”. (Photography. Life on the North. Bk. 2)
- Campbell C. (2014) *Agitating Images: Photography against History in Indigenous Siberia*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Davydov V.N. (2017) Temporality of Movements in the North: Pragmatic Use of Infrastructure and Reflexive Mobility of Evenkis and Dolgans. *Sibirica*, vol. 16, no. 3, pp. 14–34.
- Ginzburg C. (1993) Microhistory: Two or Three Things That I Know about It / Translated by J. Tedeschi, A. C. Tedeschi. *Critical Inquiry*, vol. 20, no. 1, pp. 10–35.
- Likhachev D.S. (1984a) Fotografiia: istoriia i vospitanie [Photography: History and Education]. *Sovetskaia fotografiia*, no. 7, pp. 18–19.
- Likhachev D.S. (1984b) Fotografiia: istoriia i vospitanie [Photography: History and Education]. *Sovetskaia fotografiia*, no. 8, pp. 14–15.
- PMA 2023 – field materials of V. N. Davydov, O. M. Shulgina – recordings of interviews with N.N. Bobrov, V.V. Sertun, field diaries and photographic materials of the expedition to the Chukotka region of the Chukotka Autonomous Okrug 2023.
- Riga I. G. (1986) U dal’nikh beregov Rossii [On the Far Shores of Russia]. *Na Severe Dal’nem. Vypusk 1: literaturno-khudozhestvennyi al’makh* [In the Far North. Iss. 1: literature-artist almanac]. Magadan: Knizhnoe izdatel’stvo, pp. 129–144.
- Romano C. (2019) *Avantiura vremeni* [Adventure of the Time]. Moscow: RIPOL classic.
- Soviet canon: Chukotka photographs of Nikolai Bobrov. *Website of the European University in St. Petersburg*. Available at: <http://arch.eu.spb.ru/Bobrov> (accessed 7 October 2023).

Информация об авторах:

ШУЛЬГИНА Ольга Михайловна – младший научный сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: shulgina@kustkamera.ru

ДАВЫДОВ Владимир Николаевич – PhD, заместитель директора, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург, Россия); Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Анадырь, Россия (Анадырь, Россия). E-mail: davydov.kustkamera@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Olga M. Shulgina, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: shulgina@kustkamera.ru

Vladimir N. Davydov, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (St. Petersburg, Russian Federation), Chukotka Branch of the Northern Federal University (Anadyr, Russian Federation). E-mail: davydov.kustkamera@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 01 декабря 2023 г.;
принята к публикации 01 марта 2024 г.

The article was submitted 01.12.2023;
accepted for publication 01.03.2024.

Научная статья
УДК 355.48:316.7
doi: 10.17223/2312461X/43/14

Память и политика. Кавказская война в мемориальном пространстве Чечни

Валентина Александровна Танайлова

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия, valya00763@gmail.com

Аннотация. Анализируются причины периферийности памяти о Кавказской войне в мемориальном пространстве Чечни (РФ). Автор представляет общую картину памяти в этой республике и задается вопросом о том, почему она имеет здесь именно такую форму и занимает именно такое место. Анализ имеющихся материалов позволил прийти к выводу о том, что ответом на поставленные вопросы являются особенности существования республики как субъекта Российской Федерации и сложная история взаимодействия чеченского народа с Российским государством. Работа основана на нескольких полевых исследованиях автора, во время которых было собрано более шестидесяти интервью, в том числе с акторами памяти в Чечне, и полевых наблюдениях. Важным источником также стал анализ СМИ, социальных сетей и выступлений чеченских политиков.

Ключевые слова: память о Кавказской войне, героизация, виктимизация, национальные чеченские герои, политика памяти в Чечне

Благодарности: публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Для цитирования: Танайлова В.А. Память и политика. Кавказская война в мемориальном пространстве Чечни // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 229–250. doi: 10.17223/2312461X/43/14

Original article
doi: 10.17223/2312461X/43/14

Memory and Politics. The Caucasian War in the Memorial Space of Chechnya

Valentina A. Tanaylova

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian Federation, valya00763@gmail.com*

Abstract. The article is devoted to the analysis of the causes of the peripherality of memory of the Caucasian War in the memorial space of Chechnya (RF). The author presents a general picture of memory in this republic and wonders why it has such a form here and occupies such a place. The analysis of the available materials allowed us

to conclude that the answer to the questions posed is the peculiarities of the existence of the republic as a subject of the Russian Federation and the complex history of interaction between the Chechen people and the Russian state. The work is based on several field studies by the author, during which more than sixty interviews were collected, including with memory actors in Chechnya, and field observations. An important source also was the analysis of the media, social networks and speeches of Chechen politicians.

Keywords: memory of the Caucasian war, heroization, victimization, national Chechen heroes, politics of memory in Chechnya

Acknowledgements: Published in accordance with the research plan of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences.

For citation: Tanaylova, V.A. (2024) Memory and Politics. The Caucasian War in the Memorial Space of Chechnya. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 229–250 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/14

На Северном Кавказе трудно найти общество, важным периодом истории которого не был бы период Кавказской войны. Однако в памяти этих обществ Кавказская война занимает разное место и принимает различные формы. Где-то эта память регулярно актуализируется, а где-то находится на периферии мемориального пространства. Чеченское общество скорее относится ко второму варианту. И на первый взгляд, это может показаться удивительным. Многие, в том числе ключевые, события Кавказской войны происходили именно в Чечне, и в них активно участвовали чеченские политические и военные деятели. В этой работе я постараюсь представить общую картину памяти о Кавказской войне в Чечне и объяснить, почему она имеет именно такую форму и занимает именно такое место.

Работа основана на нескольких полевых исследованиях¹, во время которых было собрано более шестидесяти интервью, в том числе с акторами памяти в Чечне. Важным источником также стали полевые наблюдения, анализ СМИ, социальных сетей и выступлений чеченских политиков.

Кавказская война в Чечне

В середине XVIII в. политические образования Чечни в своей внешней политике ориентировались в первую очередь на взаимодействие с Российским государством. Однако начиная с 1757 г. отношения с Россией обостряются, и к концу XVIII в. Чечня превращается в главный оплот противостояния продвижению Российской империи на Северном Кавказе. С 1785 г. чеченцы начинают консолидироваться вокруг Шейха Мансура, которого собрание улемов провозглашает первым чеченским имамом. В 1786 г. Мансур предпринимает первые попытки по созданию

государственного образования. Вплоть до 1791 г. Мансур, возглавляя отряды из чеченцев, черкесов, ногайцев, ведет вооруженную борьбу с Российской империей.

Несмотря на периодические попытки наладить как-то мирное взаимодействие с Россией, Чечня продолжает оставаться основной силой, противодействующей ей на Кавказе. В 1816 г. фактическим наместником на Северном Кавказе становится генерал А.П. Ермолов. Двумя годами позднее он начинает реализацию ранее представленной Александру I программы военно-экономической блокады Северо-Восточного Кавказа. Ермолов ставит перед собой в качестве цели «не одну необходимость оградить себя от нападений и хищничеств», но и захват выгодных в военно-стратегическом отношении пунктов для будущих наступательных действий (Блиев, Дегоев 1994). После очередного столкновения с чеченцами на Кавказской линии Ермолов обращается к старейшинам Чечни: «Вот мой ответ: пленных и беглых солдат немедленно отдать. Дать аманатов из лучших фамилий и поручиться, что когда придут назад ушедшие в горы, то от них взяты будут русские и возвращены. В посредниках нет нужды. Довольно одному мне знать, что я имею дело с злодеями. Пленные и беглые или лишение ужасное». Лично прибыв на берег Сунжи, генерал закладывает крепость Грозную, и это окончательно проясняет для чеченского населения планы российского командования.

С 1818 г. началось наступление Российской империи на Чечню по всем направлениям: на ее территории строятся крепости, составляющие новую укрепленную линию, начинается выселение чеченцев с равнинных земель в горы и заселение освободившихся земель казаками и другими переселенцами, установление российской административной и судебной власти. Малейшее неповиновение чеченцев властям жестоко подавляется военной силой (Блиев, Дегоев 1994). Новый курс власти, исполнителем которого стал генерал Ермолов, сделал окончательно невозможным мирный путь развития отношений между Чечней и Россией.

Жесткая политика Империи в Чечне и на Северном Кавказе в целом приводит к не менее жесткому сопротивлению со стороны горцев. Горцы захватывают российские укрепления и крепости, а имперские войска уничтожают десятки чеченских аулов. Союзные дагестанские и чеченские войска в 1830 г. захватывают и сжигают Кизляр, создают реальную угрозу Владикавказу и крепости Грозной. Получив усиление, российская армия переходит в наступление. Генерал Г.В. Розен сжигает около 60 равнинных чеченских аулов. В 1836 г. генерал К.К. Фези еще раз разоряет равнинную Чечню, население которой вынуждено бежать в леса и горы. В 1840 г. генерал А.В. Галафеев вступает в известное сражение с чеченцами на реке Валерик. В том же году российские войска выдвигаются в глубь Ичкерии с целью захвата аула Дарго. Несколько дней тяже-

лых боев с горцами на пути к Дарго заставили российские отряды прекратить наступление. В начале 1859 г. имперские войска осадили чеченский аул Ведено, который на тот момент был столицей Имамата, весной того же года аул был взят. Много лет Чечня в составе Имамата под предводительством Шамиля вела бои с Российской империей. На протяжении этих лет горцы держали оборону и переходили в успешное наступление. Но все это давалось большой ценой. Чеченцы теряли аулы, плодородные земли и самое главное – людей. К 1860 г. численность чеченцев сократилась с 250 тысяч до 130–150 тысяч человек (Чеченцы 2023: 72). В 1864 г. Кавказская война была официально закончена. Однако не закончилось на этом чеченское сопротивление. На территории Чечни продолжали вспыхивать беспорядки. В 1865 г. восстание поднял Тазу Эмирзаев, а одним из самых крупных стал бунт 1877 г. под предводительством Алибека Алданова. При таком обилии исторических событий, происходивших в Чечне во время Кавказской войны, память о ней сфокусирована вокруг нескольких персонажей и очень ограниченного количества событий.

Память о Кавказской войне: виктимизация и героизация

Для многих северокавказских обществ память о Кавказской войне является травматической, в разных случаях обретающей или не обретающей статус культурной травмы. Говоря о травме, следует учесть два подхода к пониманию этого феномена:

1) подход, основанный на психоаналитической традиции, берущей свое начало в исследованиях З. Фрейда. Следующие этому подходу исследователи обращаются к понятиям индивидуальной и коллективной травмы, которая суть объединение многих индивидуальных травм. В его рамках работают Ш. Фелман, К. Карут, Д. Лауб, благодаря которым в начале 1990-х гг. появился термин «историческая травма», позволивший включить само понятие травмы в поле социокультурной и исторической реальности (Мороз, Суверина 2014);

2) понимание травмы, основанное на конструктивистском подходе, в большей степени обращается к понятиям культурной и избранной травмы. В рамках этого подхода особое значение обрели работы Дж. Александера, В. Волкана, Д. Бар-Тала. Поскольку память о событиях, которые произошли несколько поколений назад, представляет собой много раз трансформированный конструкт, именно этот подход оказывается наиболее продуктивным при обращении к памяти о Кавказской войне как к травматической.

В целом, под травмой можно понимать коллективную память о событии, которое нанесло ущерб сообществу и поставило его на грань выживания, тем самым способствуя обретению статуса жертвы (Bar-Tal, Oren,

Nets-Zehngut 2014). Коллективная виктимность может быть принята не только непосредственно пострадавшими, но и последующими поколениями, если событие приобретает травматическое значение для нескольких поколений группы (Alexander et al. 2004; Volkan 2001). Иными словами, коллективная травма – это репрезентация события, которое постоянно реконструируется в коллективной памяти группы и которому постоянно приписываются особые смыслы (Hirschberger 2018). Причем это конструирование смысла происходит в культурном и политическом контексте настоящего времени (Assmann, Clift 2016). Преодоление коллективной виктимности предполагает признание международным сообществом вины преступника и статуса жертвы, что способствует формированию внутригруппового чувства справедливости и безопасности. В противоположном случае память о (безнаказанном, непризнанном) преступнике сохраняется в поколениях как травматическая; в этом нарративе постоянной и часто избранной травмы (Volkan 2001) пострадавшая группа должна сохранять бдительность в отношении преступника или даже мстить, чтобы предотвратить повторение события в будущем (Druey, Shogenov, Tanaylova 2024).

Согласно предложенной В. Волканом концепции избранной травмы (chosen trauma), травмированное сообщество может иметь особый менталитет, при котором в основе идентичности лежит память о трагедии: некое событие заставляет большую группу людей почувствовать себя беспомощной жертвой другой группы, испытать унижение от обиды или причиненного вреда. Травмированная таким образом группа избирает путь психологизации и мифологизации «рокового» для нее события. Она как бы встраивает его образ в самую основу своей идентичности, и сопутствовавшие ему чувства боли и позора передаются от поколения к поколению в качестве маркера этнической идентичности. И с того момента, как реальная травма трансформировалась в «избранную травму», подлинные исторические факты перестают играть какую-либо роль. Сохраняет значение лишь их психологическое преломление в качестве центрального стержня чувства этнической общности (Волкан, Оболонский 1992: 41). Схожие идеи развивает и Дж. Александер. Таким образом, «избранные травмы» часто выступают в качестве нарративов, поддерживающих конфликты, поскольку они существенно препятствуют примирению и нормализации отношений между враждующими группами. В.А. Шнирельман называет такую память «травматической памятью постколониального типа» и также утверждает, что она придает напряженность межэтническим взаимоотношениям в регионе и осложняет взаимодействие с федеральным центром (2021). Что касается виктимизации на Северном Кавказе, то она связана по большей части с двумя сюжетами: Кавказская война и депортация таких народов, как чеченцы, ингуши, балкарцы и карачаевцы. Кроме того, для чеченского народа

чрезвычайно травматичными оказываются недавние события, связанные с двумя войнами в Чечне.

Правительство Чечни давно и довольно успешно осуществляет такую политику памяти, в рамках которой память о Кавказской войне движется от виктимизации к героизации. Это связано в том числе и с демонстрацией лояльности местной власти по отношению к власти федеральной. Память о Кавказской войне трудно инструментализировать, она ни в какой мере не соответствует текущим установкам на всеобщее единение и согласие. Но и предать эту память забвению тоже невозможно, она оказывается слишком значимой на локальном и даже региональном уровне. Компромиссным решением является замалчивание исторических событий на общегосударственном уровне. Между тем на уровне отдельных кавказских обществ политика памяти в отношении Кавказской войны может быть разной. В Чечне она принимает довольно интересную форму. Власти очень активно вводят в публичное, культурное и коммеморативное пространство образы национальных чеченских героев, которые сыграли большую роль в сопротивлении Российской империи. Однако при этом в фокусе оказываются личные качества и героизм этих исторических персонажей. Они как бы изымаются из исторического контекста. В публичном поле находится обсуждение того, что чеченские исторические деятели проявили себя как стойкие и отважные бойцы, но с кем они боролись и почему, не говорится.

Политика памяти в Чечне

Память и политика не просто связаны между собой, память буквально задает рамки внешней и внутренней политики и влияет на нее. Коллективная или личная память может служить источником исторической аналогии и моделью принятия политического решения (Muller 2002). Важным проявлением взаимосвязи памяти и власти является легитимация. Память используется политиками для обоснования своего права на власть, для объяснения своих политических решений и действий. Выявление исторических аналогий дает политикам возможность использовать их в качестве моделей, позволяющих анализировать и моделировать текущие ситуации. Легитимность власти, полученная благодаря историческому обоснованию, не всегда оказывается связанной с традиционной преемственностью. Объясняющая текущий политический порядок отсылка к прошлому может опираться также и на идею разрыва, радикального отказа от того, что было. Говоря о «власти памяти», А. Васильев утверждает, что она «носит структурный характер... определяет, что именно должно быть помещено в политическую повестку дня, в каких

терминах политический опыт должен быть оформлен и т.д. Таким образом, память оказывается ключевым элементом политической культуры» (Васильев 2012).

Связь политики и памяти не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Политическая деятельность не просто осуществляется с использованием памяти как ресурса, но и сама находится под ее влиянием. Память и политические интересы существуют в отношениях взаимозависимости и равно формируются в борьбе за определение настоящего и будущего группы. «Политические акторы реагируют на сдвиги в системе баланса власти и эволюцию международных институтов теми способами, которые определены политической культурой и в частности памятью, но и сами стремятся оказывать влияние на процессы мемориализации и забвения» (Muller 2002).

Исходя из этого, следует говорить о политике памяти, которая может реализовываться как правительствами на разных уровнях (от федерального до локальных), так и другими акторами памяти, претендующими на сколько-нибудь значимое влияние в этом поле. Н. Копосов выводит определение политики памяти из понимания того, чем является сама память на сегодняшний день. Отталкиваясь от утверждения П. Нора о том, что «о памяти столько говорят потому, что ее больше нет» (Нора и др. 1999: 17), Копосов замечает, что «тем не менее она повсюду – искусственная, сконструированная при живом участии историков, но неподвластная науке. Продукт политических манипуляций, государственных ритуалов и культов, транслируемый в общественное сознание через систему образования, литературу, искусство, прессу. Современные массовые представления об истории рядятся в одежды естественной памяти, но являются созданием профессиональных агентов исторической политики» (Копосов 2011: 47). При этом политику памяти Копосов рассматривает как довольно узкое и специфическое явление, сосредоточиваясь во многом на законодательной области. В любом другом случае я бы предложила рассматривать политику памяти как более широкую область деятельности, в которой принимают участие различные акторы, формирующие политическую и общественную среду. Однако в случае с Чечней я соглашусь с этим более узким определением Копосова. В силу определенной системы власти в Чечне и ее характера (об этом будет сказано ниже) политика памяти в республике почти всегда реализуется самим правительством.

С наибольшей очевидностью особенности политики памяти в Чеченской Республике проявляются в выступлениях политиков, в выборе памятников, открываемых по инициативе или как минимум при одобрении республиканского правительства, в названиях, которые присваиваются улицам и городским объектам, в образовательных программах по истории.

Эдкинс пишет (Edkins 2003), что события и личности, формирующие коллективную память, всегда являются предметом борьбы и споров о том, как и какая память о них должна быть сохранена. При этом Эдкинс говорит о двух формах выражения политики памяти и взаимосвязи между ними. Во-первых, это может быть политика памяти, реализуемая через строительство или реконструкцию памятников; во-вторых, это может быть форма определенной коммеморативной деятельности. Обе формы могут быть рассмотрены как способы формирования цельного нарратива (Mitchell 2003). Мемориалы и памятники никогда не бывают нейтральными и представляют определенную власть (Edkins, 2003), при этом именно коммеморативная деятельность и соответствующие дискурсы наполняют их смыслом (Шуясов. Рукопись). Примером трансформации этих смыслов при фактическом сохранении одного и того же места памяти оказывается мемориал Дади-Юрт, расположенный в Гудермесском районе Чечни. Он был открыт в 2013 г. ко Дню чеченской женщины. Мемориал посвящен памяти жителей аула Дади-Юрт, погибших в 1819 г. Рамзан Кадыров опубликовал пост, приуроченный к открытию мемориала: «Этот населенный пункт был полностью сожжен по приказу Ермолова. Все жители, включая женщин, стариков, детей, погибли. Девушки Дадин Айбика, Амаран Зазу и их подруги вдохновляли песнями защитников села, а оказавшись в плену, со связанными руками бросились в бурные воды Терека. Они предпочли смерть бесчестью». Это история известна почти каждому чеченцу и, кроме всего прочего, в ней говорится также и о том, что чеченки не просто бросились в Терек, они утопили и своих конвоиров, солдат генерала Алексея Ермолова. Однако в своих социальных сетях Кадыров призвал к избеганию воинственности: «Необходимо вырастить тех, кто способен думать об Отечестве, о сохранении мира и стабильности и имеет мудрость предотвращать конфликты. Об этом мы помним и сделаем все, чтобы нового повода ставить памятники на месте трагедий больше у нас не было!» (Коц 2013).

Пример мемориала Дади-Юрт довольно наглядно демонстрирует риторику чеченских властей о Кавказской войне и стремление двигаться от виктимизации к героизации памяти о том периоде. Когда корреспондент «Комсомольской правды» начал задавать вопросы, связанные с открытием мемориала, Альви Каримову, который на тот момент был пресс-секретарем главы Чеченской Республики, тот озвучил вариант памяти о событиях в Дади-Юрт, который бытовал среди чеченцев довольно давно и традиционно укладывался в концепцию виктимизации: «А вы хотите, чтобы народ из своей памяти стер те события, которые связаны с массовыми убийствами ни в чем не повинных людей? Это не бой какой-то был, это село окружили, и без предъявления какого-нибудь ультиматума и требований оно было сожжено и все люди погибли. Я вам опять говорю, там никакой памятник не открыли, там мемориал всегда был, и вот

после реконструкции там прошли мероприятия» (Коц 2013). Тенденция героизации памяти о Кавказской войне прослеживается также и в моих интервью:

Когда спрашивают у людей, что первое приходит в голову, то очень многие называют память о сорока шести чеченских женщинах. Вот по поводу этих девушек там стоит мемориал. Чтобы не пленили их, они раскатали мост и в Терек за собой унесли своих конвоиров. Вот Айбика, вот женщина в Кавказской войне, вот эта героиня, которую самому царю показывали, про нее мы тоже проводим музейные уроки, показываем, рассказываем... Она мужественно сражалась. Наши женщины, они как амазонки, наравне с мужчинами воевали, и даже если в семье не было мальчика, одну дочь специально так воспитывали.

Мемориал в Дади-Юрт – это практически единственный широко известный памятник, посвященный конкретным событиям Кавказской войны на территории Чеченской Республики. Все остальные «места памяти» связаны с национальными героями, которые принудительно лишены связи с нарративами о борьбе с российской армией или государством и выведены за пределы дискурса виктимности.

В ноябре 2020 г. в Курчалое открылся детский игровой центр, на стенах которого были изображены герои комиксов Марвел. Однако по указанию Рамзана Кадырова они были заменены на национальных героев Чечни. Таковыми стали Идиг, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский и Ахмат Кадыров (Исаева 2020). Трое из пяти одобренных главой республики героев являются чеченскими военными и политическими лидерами в борьбе с российской властью на Северном Кавказе: Шейх Мансур, Бейбулат и Байсангур.

Один из важнейших исторических периодов в коллективной памяти чеченцев связан с личностью шейха Мансура (1785–1795). С его руководства начинается история сопротивления чеченцев российскому военному продвижению на Северном Кавказе и формируется прочная связь между коллективной памятью чеченцев и конфликтом с Россией. Шейх Мансур считается у чеченцев примером для подражания, настоящим героем и патриотом. Часто повторяемая история повествует о том, как он был захвачен в плен во время нападения имперских войск на османскую крепость Анапу в 1791 г. после многолетних боев на чеченской земле. В том же году он был осужден и заключен в Шлиссельбургскую тюрьму за отказ (как утверждает чеченская народная память) признать свою вину (Piyaşov. Рукопись). Однако постепенно фокус памяти о Шейхе Мансуре стал сдвигаться. Перед чеченскими властями встала задача совместить свою пророссийскую политическую позицию с памятью об антироссийской борьбе шейха Мансура. Муфтий Чечни Салах Межиев во время своей поездки в Шлиссельбургскую крепость в 2019 г. утверждал: «В те времена обстоятельства были другими, и чеченцам приходилось бороться за свою независимость и право исповедовать ислам, тогда как

сейчас мы можем свободно исповедовать ислам, и наш лидер – чеченец и мусульманин» (Piyaov. Рукопись). Это обращение говорит о том, что больше нет причин помнить о сопротивлении Шейха Мансура, теперь его можно и нужно помнить просто как символ чеченской силы духа.

Бейбулат Таймиев (1779–1831) – еще одна значительная фигура чеченской памяти о периоде Кавказской войны. Признанный в 1820-х гг. предводителем Чечни, Таймиев воспринимался имперской военной администрацией как реальная угроза на Кавказе (Чеченцы 2023). Коллективная память говорит о том, что он обладал незаурядным политическим чутьем, хорошо понимал характер действий царского режима на Кавказе и умел наладить правильные отношения с властями. Когда царские власти увидели, что авторитет Бейбулата стремительно растет, они сочли необходимым привлечь его на свою сторону. Власти рассматривали Таймиева как представителя, избранного народом.

В течении нескольких лет Бейбулат Таймиев возглавлял многочисленные отряды и постоянно нападал на Кавказскую линию. Однако спустя какое-то время Таймиев изменил свою политику и начал призывать к диалогу с имперскими властями. Он пытался найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. Это позволило бы Чечне войти в состав России в качестве автономного субъекта, сохранив при этом свои обычаи, традиции, религию и землю. Таймиеву так и не удалось осуществить свои планы по включению Чечни в состав Российской империи собственными силами. Бейбулат умер в 1831 г., по одной из версий он был убит одним из своих многочисленных кровников. Личность Бейбулата Таймиева только в последние несколько лет заняла свое место в популяризируемом чеченскими властями героическом пантеоне. Он был хорошо известен профессиональным историкам и любителям, но точно не был в центре мемориального чеченского пространства. Однако его ориентированность на ту или иную форму сотрудничества с Российским государством сделала его в глазах современных чеченских политиков хорошим кандидатом на место «достойного примера для подражания».

Байсангур Беноевский (1794–1861) – тот чеченский национальный герой, вокруг которого сосредоточено более всего легенд. О его жизни до 1839 г. известно очень мало. Но считается, что и в этот период он не мог остаться в стороне от борьбы за свободу, в которой члены общества Бенной принимали активное участие. Байсангура называют наибом Шамиля и рассказывают о том, что он со своим отрядом из Беноя участвовал во многих сражениях времен Кавказской войны.

В 1845 г. Байсангур потерял руку в бою, но и тогда не перестал быть воином. Бытуют истории о том, что однорукий Байсангур обладал таким мастерством и силой, что мог разрубить врага на две части своей саблей. Через некоторое время после потери руки он потерял в бою глаз. Позже, в одном из сражений пушечным ядром чеченскому наibu оторвало ногу

и Байсангур попал в плен. Новость о том, что наиб Шамиля попал в плен, быстро разнеслась по горам и Шамиль лично организовал побег Байсангура. Во время транспортировки наиба в тюремный госпиталь он был освобожден. По легенде, Байсангура привязывали к лошади, чтобы он не выпадал из седла во время галопа, и, зажав поводья в зубах, он сражался одной рукой. Считается, что после сдачи Шамиля Байсангур вырвался из окружения и уехал в Беной, где скрывался от царских властей до мая 1860 г., тогда же он вместе с лидерами других чеченских обществ начал готовить новое восстание. Однако восстание было подавлено имперскими войсками, а в феврале наиб и его сыновья были схвачены и переданы военному трибуналу. Яркий, полулегендарный образ Байсангура занимает важнейшее место в мемориальном пространстве Чечни. Он выступает главным символом горской силы духа и воли. На что может и должна быть направлена эта воля, остается на усмотрение республиканских властей.

Байсангур, Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и другие герои чеченского сопротивления занимают важное место в чеченском мемориальном пространстве. Так, в 2023 г. был принят закон о переименовании грозненских судов. Новые названия получили четыре суда Грозного, которые находятся в районах, переименованных в честь чеченских героев еще в 2020 г. По словам местных представителей власти, старые названия судов не совпадают с районами, и это создает сложности для граждан, а поэтому наименования следует унифицировать. Ленинский суд стал Ахматовским, Старопромысловский – Висаитовским, Октябрьский – Байсангуровским, а Заводской – Шейх-Мансуровским. Названия городских районов и учреждений, муралы и плакаты, изображения на футболках и чехлах для смартфона – повсеместно в Чечне вы сталкиваетесь с примерно одним набором национальных героев.

Что касается образовательной программы, то последним школьным учебником, который детально излагал события Кавказской войны и рассказывал об участии в ней чеченцев, был учебник «История Чечни (XIX век)» под редакцией Ш.Б. Ахмадова. Большая часть учебника посвящена «народно-освободительному движению горцев в Чечне в 1817–1859 гг.». На страницах учебника представлена не только последовательность событий военного времени, там дан анализ значения и последствий этих событий с точки зрения чеченского общества. Описывается также роль чеченских политических и военных деятелей в Кавказской войне. Насколько я знаю от своих чеченских собеседников, сейчас к изданию готовится новый учебник чеченской истории. К нему предъявляются новые требования, и каким будет его содержание, пока можно только догадываться.

Память

Исследования чеченской истории и памяти (Campana 2006; Iliyayev 2018) показывают, что значительное место в ней отведено представлению о конфликте с российским государством, который в разные периоды истории принимал разные формы. И эта память несет в себе как травматический, так и героический компонент. В большом нарративе о постоянной борьбе чеченцев начало конфликта связано с продвижением имперской армии на Северный Кавказ в 1780-х гг. и сопротивлением чеченцев под предводительством шейха Мансура. Даже когда люди в Чечне не имеют точных знаний об истории жизни чеченского лидера и том историческом периоде в целом, они оказываются осведомлены о его роли в национальной истории и смерти в Шлиссельбургской крепости. Также чеченцы сохраняют память и о Кавказской войне и роли в ней уже упомянутых мною чеченских героев. Самым растиражированным событием является трагедия аула Дади-Юрт (Iliyayev. Рукопись). В широко распространенном чеченском повествовании об этом эпизоде память о защитниках представлена как в трагических, так и в героических тонах, особенно ярко героизация проявляется в нарративе о группе девушек, которые предпочли смерть плену. Однако в целом людям сложно восстановить ход событий Кавказской войны, назвать какие-то конкретные даты и т.д.

Во-первых, это далеко. Во-вторых, хорошо знает эту тему узкий круг, может быть, интересующиеся и историки, который занимается целенаправленно этой темой. В начале 90-х, когда происходили вот эти события у нас, стали политизировать события Кавказской войны. Обращались... Даже клуб «Кавказ» интеллектуальный создан. Да, мы с ними контактировали. Контактывали с теми, кто еще остался. Вот эти острые темы поднимались. Про эту борьбу. Как раз Ельцин заявил, берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить и так далее. И вот, что мы всегда боролись за свободу. И вот эти коллективные травмы, в том числе и выселение, депортация, Кавказская война, они стали более-менее актуализироваться. Ну а потом, все это со временем, от памяти... Опять же, это не вчерашние события. Сейчас это как память о событиях Отечественной войны 1812 года. Ну, знают и знают. Так, чтобы это все будоражило... отошло уже со временем. Время много чего сглаживает, много чего забывается и так далее.

Долгое время в чеченской коллективной памяти несколько периодов истории увязывалось в целостную картину сложного и конфликтного взаимодействия с государственной властью. На протяжении нескольких лет исследования памяти в Чечне я постоянно сталкиваюсь с нарративом о 350–400 годах чеченского сопротивления и борьбы.

У них есть четко вот начало, вот конец. У нас это продолжается с тех пор. У нас как один конфликт это получилось с какими-то перерывами, паузы какие-то, потом опять пауза, опять. То есть как бы у нас это не заканчивалось. Даже если взять историю официально, когда 25 августа 1859 года Шамиль в Гунибе

сдался, любят власти, чтобы здесь официально закрыли войну. На самом деле в 1860-м, в 1861-м, еще 2–3 года чеченцы продолжали сопротивление. После этого прошло в 1865 году восстание Мирзаева, потом 1877–1878 годы восстание Алибека Хаджи Алдамова, потом это абреческое движение, потом чуть ли опять война в 1911 году, высылка всех шейхов из Чечни. То есть подозревали, что опять что-то недоброе чечены злые затеяли. Может быть не беспочвенно. Потом 17-й год, 18-й, 19-й, 20-й, Деникин прошелся огнем и мечом.

Этот нарратив о последовательном многолетнем сопротивлении чаще всего имел типичные признаки травматической памяти и был связан с коллективной виктимностью. Прошлое в этом случае является не только способом объяснения и осмысления настоящего, но и оказывается включенным в процесс моделирования возможного будущего.

Я долго над многим думаю, и я говорю, вот у нас говорят, мы скорые на что-то, то есть быстрые, скорые, там, разобраться с чем-то, что-то сделать, вот нам это касается всего. Быстро закончить учебу, быстро найти работу, устроиться, быстро построить дом, жениться поскорее, вот все нужно, вот поскорее все сделать. А в чем причина, почему? ...Да потому, что у нас на подсознательном уровне сидит, завтра неизвестно, что будет. Я говорю, вы сегодня уверены, что через энное количество времени опять у нас чего-то здесь не будет? Ни один человек не сказал, да, я уверен, что ничего не будет. Ни у кого нет уверенности, что у нас здесь опять чего-то не будет. И вот эта неуверенность, она сидит на подсознательном уровне, она сидит в людях, они не осознают даже, почему они так поступают, нету даже времени задуматься об этом. Нужно быстро сделать, там, детей устроить, самому что-то, потому что неизвестно завтра, что будет, нужно вот сегодня что-то делать. И вот это одна из, наверное, особенностей наших поведенческих, там, ментальных, да, на уровне менталитета, где-то вот каких-то особенностей.

В последнее время память о Кавказской войне, хранимая людьми в Чечне, постепенно трансформируется. Конечно, на это влияет и политика памяти, проводимая чеченскими властями. Но есть и другой важный фактор – тотальная усталость чеченского общества от войны. Осмысление Кавказской войны как части системного процесса подавления чеченского общества российским государством приносит людям чувство фрустрации и безысходности. Часть моих собеседников, чаще представители более молодого поколения, говорили мне, что бесконечная актуализация травматической памяти – это путь в никуда. Те же, кто был непосредственным свидетелем войн в Чечне, порой боятся, что эта актуализация может стать основанием для новых конфликтов.

А у нас сейчас другая концепция. Мы ищем точки соприкосновения. Мирной жизни, взаимовлияния... Мы так от этого устали, что мы хотим пусть про это время, но о другом. Как вы сказали. У нас даже в начале нулевых, когда мы еще после синдрома войны выживали, интерес к этой теме был именно с точки зрения конфликта. А сейчас, когда успокоились, хотим видеть другое... И все же воевали. И когда Ельцин заявлял, что 400 лет противостояния, войн с Кавказом, с Чечней.

Ну а когда ж тогда жили? Когда что-то строили? Не было постоянно одних кровавых битв. Где-то там произошло, где-то Ведено взяли. Где-то в Ханкале. Такие локальные стычки... Уже люди устали. Тем более сейчас события на Украине, то, что там происходит. Старшему поколению, мне, по крайней мере, эти развалины нас напоминают. В интернете этих картин полно. Поэтому не хочется муссировать тему войны. Может, блок стоит у людей. Защитная реакция. Хочется более позитивного. В истории можно всякое найти. История богатая, история чеченского народа богатая. Противостояние было, и дружба была. И поэтому хочется искать мирные страницы. Перелистывать, а не трагически мусолить. И искать какие-то моменты, которыми можно разбить вражду. Где-то можно найти почву и для конфронтации. Но это старая тема, мы это уже проходили.

Среди моих собеседников были и чеченские историки, которые активно ведут исследовательскую работу в разных районах и населенных пунктах Чечни. В поле их интересов попадает и Кавказская война. Они обратили мое внимание на семейную память чеченцев. В Чечне есть семьи, которые хранят и передают из поколения в поколение артефакты времен Кавказской войны или, по крайней мере, семейная история относит их к тем временам. Вокруг этих артефактов строятся нарративы об участии членов семьи в Кавказской войне, их встречах с известными историческими личностями. Эти нарративы могут не только не соответствовать академическому историческому знанию о том периоде, но и прямо противоречить ему. Однако это не мешает людям бережно хранить семейную память и передавать ее своим детям.

Музеи и локальные историки – медиаторы памяти

Когда я только начала исследовать память о Кавказской войне в Чечне, я пыталась прощупать почву и понять, с чего лучше начать погружение в эту тему. Тогда на вопросы о Кавказской войне мне порой отвечали: «Это Вам нужно в главный музей или библиотеку. Слишком давно было». Конечно, я приехала собирать материал и в Национальную чеченскую библиотеку, и в Музей Чеченской республики в Грозном. Библиотека оказалась лишь хранилищем книг о Кавказской войне, но не местом репрезентации памяти о ней. И хотя в ней проводятся лекции, семинары и выставки, по словам работников библиотеки, в ней уже давно не проводилось ничего, что было бы посвящено Кавказской войне. Все публичные мероприятия, связанные с памятью, посвящены в основном двум темам: память об Ахмате Кадырове и память о Великой Отечественной войне.

Музей представляет собой важнейшее пространство памяти. Это не просто место хранения культурных и исторических реликвий, в музее происходит объективация культуры, там она превращается в упорядоченную целостность и принимает форму, позволяющую ей репрезенти-

ровать себя: «Все музеи – это сцены, а артефакты – это просто выступающие там актеры. Они должны своевременно уйти или выйти, причем каждый артефакт в свою очередь играет много разных ролей» (Каерpler 1996: 20). Вместе с другими социальными институтами музеев играет важную роль в вопросе формирования идентичностей. Музейные экспозиции наглядно проводят границы между «своими» и «чужими», делают видимыми и осязаемыми значения «быть кем-то». Исследователи говорят о музее как о «совокупности социальных событий, в которых мы проигрываем нашу жизнь и придаем форму нашим идентичностям» (Кагр, Kreamer 1992: 4).

В процессах, образующих собой жизнь музея, оказываются задействованы создатели или дарители артефактов, посетители и, конечно, сами музейные специалисты: «Они дают (артефактам. – *В.Т.*) те или иные интерпретации, представляют их в тех или иных сочетаниях и размещают в том или ином локусе музея, при этом привлекая внимание к одним и затеняя или даже скрывая другие» (Шнирельман 2010: 5). Куратор одного из крупных российских музеев сказала мне во время нашей беседы, что перед работниками музея стоят задачи, которые порой трудно совместить: экспозиции музея не должны вступать в очевидное и непримиримое противоречие с правительственной политикой памяти, музей должен приносить какую-то прибыль, он должен быть привлекательным для посетителей и соответствовать их позитивным ожиданиям. В этом смысле музей обладает некоторой долей автономности, которая и позволяет ему принимать решения, помогающие в большей или меньшей степени решать указанные задачи.

В данный момент музей Чеченской республики в Грозном находится на реконструкции, которая должна закончиться в этом году. Работники музея ожидают, что на его открытии после реставрации будет презентована картина Франца Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля», которая была эвакуирована во время Первой чеченской войны и находится на реставрации. Это не единственный объект, который связан с темой Кавказской войны. Планируется, что она будет в достаточной степени представлена в экспозиции музея, однако неясно, какими смыслами и интерпретациями будет наполнено это представление.

До закрытия на реставрацию музей также часто и охотно обращался к Кавказской войне. В нем проходили открытые уроки, посвященные этой теме, лекции, семинары, отдельные выставки, приуроченные к юбилейным датам и т.п. Специалисты чеченского музея вкладывали много сил в то, чтобы выставленные в залах артефакты и их подача находили отклик у посетителей, которые не всегда придерживались именно тех представлений о Кавказской войне, которые стремилась сформировать политика памяти чеченских властей. В этой деятельности музейным спе-

циалистам помогают местные чеченские историки, которые сделали довольно много для популяризации Кавказской войны и ее героев, особенно среди детей и молодежи. Зачастую именно историки помещают музейные объекты в рамки целостных повествований во время своих лекций в залах музея. Так, например, чеченский историк Амин Тесаев, посвятивший много времени исследованию исторической личности Бейбулата Таймиева, способствовал заметному росту популярности этого чеченского героя.

Местные же историки работают с частными архивами, в которых хранятся документы и артефакты времен Кавказской войны и вокруг которых формируется история некоторых чеченских семей. Местное происхождение этих специалистов заставляет чеченцев доверять им больше, чем другим исследователям.

Очень трудно работать, потому что люди до сих пор со стереотипами, до сих пор боятся, объективно боятся, потому что всегда, даже в советский период, были деятели, вроде бы связанные с научной деятельностью, но так или иначе они были связаны с органами. Тогда это было нормальное явление. И в итоге у людей конфисковывали семейные реликвии. Люди до сих пор боятся. Сложно работать. Я не исключаю, что у людей еще что-то есть, но об этом сложно узнать.

Множество артефактов и документов Кавказской войны хранятся в Дагестане. Некоторые из них были вывезены туда из Чечни во время Первой и Второй чеченской войны. Сейчас чеченские историки пытаются способствовать если не возвращению их в музеи Чечни, то, по крайней мере, тому, чтобы они хотя бы на время оказывались в выставочных пространствах республики.

* * *

Память крайне динамична и подвержена значительному влиянию меняющихся обстоятельств. Она злободневна и дает о себе знать в социальном дискурсе. Значение исторического нарратива выходит далеко за рамки профессионального поля. Ведь этот нарратив нередко играет большую социальную или политическую роль (Шнирельман 2021). Это свойство памяти – нахождение в прямой зависимости от текущего социального, политического, культурного контекста – является крайне важным для моего исследования. Именно на основании анализа текущего политического контекста будет строиться мое объяснение того, почему память о Кавказской войне принимает в Чечне существующие формы.

Исторический контекст в случае с Чечней таков, что он позволил сформироваться в поле чеченский памяти целостному представлению о сложной судьбе целого народа, который постоянно подвергался притес-

нениям со стороны государства и с большим трудом находил в нем достойное место. Такому представлению способствовала и память о депортации чеченцев в 1944 г., и жестко цензурируемая память о двух чеченских войнах.

Если же говорить о современности, то сейчас важнейшую роль в трансформациях памяти о Кавказской войне играет политический контекст в Чеченской республике. Именно он задает рамки памяти и допускает только определенные формы ее существования и выражения. Исследователи и аналитики по-разному определяют режим власти в современной Чечне, хотя при ближайшем рассмотрении между разными версиями можно найти много общего. Рассел (Russel 2014) в своей статье «Нелиберальный мир Рамзана Кадырова в Чечне» сравнивает Чечню с Северной Ирландией, Эмиратами, Курдистаном и Африкой (точнее, с четырьмя ее постконфликтными территориями – Анголой, Эфиопией, Руандой и Суданом). Он утверждает, что в Чечне население движется в сторону улучшения материального благосостояния и видимой стабильности, но дела с гражданскими свободами и правами обстоят хуже. Существует некоторое несоответствие между большой долей суверенной власти Кадырова и официальной политикой Российской Федерации, которая заявляет о себе как о суверенной демократии. В Чечне сформировалось то, что Рассел называет «полуавторитарным» режимом правления. Он выделяет некоторые особенности режима, утверждая, что, во-первых, Рамзану Кадырову удалось установить мир в Чечне, во-вторых, нелиберальный мир лучше войны, в-третьих, то, что удалось создать Кадырову, оказалось более прочным и стабильным, чем «либеральные демократии», которые были созданы и создаются с помощью западных интервенций в Афганистане, Ираке или Сирии. Рассел называет это вариантом гибридного мира. Однако он задается вопросом, можно ли назвать чеченское общество мирным и, в полном смысле, свободным? И отвечает на этот вопрос следующим образом: «Да. Там нет войны. Нет. Там присутствуют очевидные признаки давления на гражданское население, которое касается в том числе и пространства памяти» (Russel 2014).

Другой подход заключается в определении режима власти в Чечне как неосултанистского. Такие режимы обычно характеризуются крайним патримониализмом – центральная роль в государстве принадлежит «султану» и его семье, высокой степенью контроля над значительной частью бюджета и бизнеса, отсутствием определенной идеологии, которая заменяется культом личности, подавлением политического и культурного плюрализма, неспособностью к мирным политическим изменениям и т.д. (Eke and Kuzio 2020). В случае с Чечней к этому списку некоторые исследователи также добавляют традиционализм и исламизацию общества (Druey 2015). Дерлугьян (2010) утверждает, что такие режимы не следует рассматривать как чисто переходные. Это не просто неудачи или

неизбежные промежуточные этапы на историческом пути восхождения к чему-то лучшему и, согласно теории демократического перехода, более «западному». Напротив, этот «восточный» тип власти возникает как отдельная система, создавая необходимые ниши для сети политического патронажа и управления периферией (Дерлугьян 2010).

Лерюэль (2017) предлагает термин «кадыровизм» и акцентирует внимание на создании культа Кадырова, но в рамках фактического подчинения главы Чеченской Республики президенту России. По мнению Лерюэль, «кадыровизм» – это относительно целостная система, имеющая свою внутреннюю логику и пропагандистские инструменты и отражающая реальность правления Рамзана Кадырова. Кадыровизм определяется двумя основными чертами: во-первых, антиколониальным чеченским нарративом и его последующей трансформацией в российскую патриотическую идеологию. Во-вторых, жесткой, пуританской версией ислама, вдохновленной Персидским заливом, и ее пересечением с традиционным чеченским исламом (Laruelle 2017).

Как бы ни называли текущую политическую ситуацию в Чечне, как бы ни описывали режим и идеологию разные исследователи, все они характеризуют форму власти, требующую легитимации и проявления лояльности федеральному центру, выражаемой в том числе и в формировании «допустимого прошлого». В результате двух войн и политики «чеченизации» в обществе возникли глубокие расколы по линии памяти. Поэтому после 2000 г. стало очевидно, что власти Грозного должны преодолеть эти «мнемонические расколы» с помощью сильной, единой официальной политики памяти. Федеральные и местные власти неоднократно предпринимали попытки убрать из мемориального пространства спорные темы, не вписывающиеся в государственную политику, направленную на консолидацию общества. Совершенно избавиться от памяти без отложенных последствий невозможно, но можно придать этой памяти «нужные» смыслы. Начав с принудительного внедрения этих смыслов с помощью тщательно контролируемой политики памяти, республиканские власти создали почву для дальнейшего, относительно безболезненного принятия трансформаций памяти чеченским обществом. Хотя убежденность в том, что есть вещи, которые лучше не говорить о прошлом собственного народа, присутствует до сих пор:

Поэтому адыги будут рассказывать, осетины будут, ингуши будут. Потому что, помимо всего, у нас здесь для здоровья небезопасно быть болтливым. Там, знаете, с адыгами-то проще в том смысле, там 21 мая² достаточно приехать, все становится понятно. Очень много каких-то символических элементов, которые на виду и на слуху. И больше, конечно, не у людей что-то узнаешь, потому что они не всегда вообще рефлексируют по этому поводу, а больше просто видишь и слышишь. Но у нас не так. У нас и не скажут, и не увидишь, и не услышишь.

Форма власти в Чечне, особенности существования республики как субъекта Российской Федерации и сложная история взаимодействия чеченского народа с Российским государством обуславливают текущую чеченскую политику памяти. Эта политика почти всегда реализуется самим правительством, что также является следствием характера функционирования этого правительства внутри общей системы российской власти. Однако какую бы форму памяти не продвигало правительство, она не будет по-настоящему принята обществом, если нет предпосылок внутри самого этого общества. Пока люди не примут предлагаемые смыслы и не начнут передавать их друг другу, нельзя говорить о том, что политика памяти достигла успеха. В Чечне одной из главных предпосылок принятия инициированных властью трансформаций памяти о Кавказской войне стало желание какой-то части общества выйти за рамки дискурса виктимности и бесконечной борьбы. Особую роль играет в этом свежая память о двух войнах в Чечне. Логика травматической памяти предполагает четкое распределение роли «жертвы» и роли «палача». Чеченцы, беседы с которыми легли в основу этой работы, предполагают, что пришла пора расстаться с ролью жертвы. А на роль палачей они и вовсе никогда не претендовали.

Примечания

¹ Полевые исследования проводились в Чечне (Грозный, Ведено, Шали, Урус-Мартан) в 2019, 2021 и 2023 гг.

² День памяти жертв Кавказской войны, ежегодно отмечаемый в некоторых кавказских республиках.

Список источников

Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994.

Васильев А. Memory studies: единство парадигмы – многообразие объектов (Обзор англоязычных книг по истории памяти) // Новое литературное обозрение. 2012. № 5.

Волкан В., Оболонский А. Национальные проблемы глазами психоаналитика с политологическим комментарием // Общественные науки и современность. 1992. № 6. С. 31–48.

Дерлугьян Г. Адепт Бурдые на Кавказе: эскизы к биографии в миросистемной перспективе: авторизованный перевод с английского. М.: Территория будущего, 2010.

Исаева А. Герои Чечни: кто они? // Это Кавказ. 2020. 9 декабря. URL: <https://etokavkaz.ru/istoriya/geroi-chechni-kto-oni> (дата обращения: 28.01.2024).

Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Коц А. Кадыров открыл памятник первым «шахидкам» // Комсомольская правда. 2013. 16 сентября. URL: <https://www.kp.ru/daily/26133.5/3024328/> (дата обращения: 28.01.2024).

Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: История, репрезентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 2014. № 1.

Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память / пер. Д. Хапаевой. СПб., 1999.

- Чеченцы / отв. ред. Л.Т. Соловьева, В.А. Тишков, З.И. Хасбулатова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Комплексный научно-исследовательский ин-т им. Х.И. Ибрагимова РАН. 2-е изд., стереотип. М.: Наука, 2023.
- Шнирельман В.А. Историко-этнографический музей: презентация традиции или репрезентация конструкции? // Этнографическое обозрение. 2010. № 4. С. 3–8.
- Шнирельман В.А. Интеллектуальные дебаты постсоветского времени вокруг истории и культуры народов Северного Кавказа // Историческая и этнокультурная тематика в учебном, научном и общественно-политическом дискурсе Северного Кавказа / под ред. В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2021.
- Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. (eds.) *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2004.
- Assmann A., Clift S. *Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity*, First edition. New York: Fordham University Press, 2016.
- Bar-Tal D., Oren N., Nets-Zehngut R. Sociopsychological Analysis of Conflict-Supporting Narratives: A General Framework // *Journal of Peace Research*. 2014. Vol. 51, No. (5). P. 662–675.
- Campana A. The effects of war on the Chechen national identity construction // *National Identities*. 2006. No. 8 (2). P. 129–148.
- Druey C. Stability without Peace in Chechnya // *Politorbis*. 2015. No. 60 (2).
- Druey C., Shogenov M., Tanaylova V. *Fighting for Self-Determination, Participation and Control: Statebuilding and the Role of Historical Memories in Chechnya (1986–2023)*. Peter Lang Publishing, 2024.
- Edkins J. *Trauma and the Memory of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Eke S.M., Kuzio T. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus // *Europe-Asia Studies*. 2000. Vol. 52, No. 3. P. 530–532.
- Hirschberger G. Collective Trauma and the Social Construction of Meaning // *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9 (August), No. 1441. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01441
- Ilyasov M. Chechen ethnic identity: assessing the shift from resistance to submission // *Middle Eastern Studies*. 2018. Vol. 54 (3). P. 475–493.
- Ilyasov M. The clash of collective memories in post-war Chechnya (manuscript).
- Karp I., Kreamer C.M., Levine S. *Museums and communities: the politics of public culture*. Washington: Smithsonian Institution Press, 1992.
- Kaeppler A.L. Paradise regained: the role of Pacific museums in forging national identity // Kaplan F.E.S. (ed.) *Museums and the making of “ourselves”*. The role of objects in national identity. L.: Leicester Univ. Press, 1996. P. 19–44.
- Laruelle M. Kadyrovism: Hardline Islam as a Tool of the Kremlin? // *Russic. Nei. Visions, Ifri*. 2017. No. 99.
- Mitchell K. Monuments, memorials, and the politics of memory // *Urban Geography*. 2003. No. 24 (5). P. 442–459.
- Muller W. *Memory and power in post-war Europe: Studies in the Presence of the Past*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Russel J. Ramzan Kadyrov’s ‘illiberal’ peace in Chechnya // *Chechnya at war and beyond* / ed. by Anne Le Huérou, Aude Merlin, Amandine Regamey, Elisabeth Sieca-Kozłowski. Routledge, 2014. P. 133–151.
- Volkan V. Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity // *Group Analysis*. 2001. No. 34 (1). P. 79–97.

References

- Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. (eds.) (2004) *Cultural Trauma and Collective Identity*. University of California Press, Berkeley, Calif.
- Assmann A., Clift S. (2016) *Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity*. First edition. Fordham University Press, New York.

- Bar-Tal D., Oren N., Nets-Zehngut R. (2014) Sociopsychological Analysis of Conflict-Supporting Narratives: A General Framework, *Journal of Peace Research*, Vol. 51, No. (5), pp. 662–675.
- Bliev M.M., Degoev V.V. (1994) *Kavkazskaia voina* [The Caucasian War]. Moscow.
- Campana A. (2006) The effects of war on the Chechen national identity construction, *National Identities*, No. 8(2), pp. 129–148.
- Chechentsy [Chechens] / executive editors L.T. Solov'eva, V.A. Tishkov, Z.I. Khasbulatova; Institute of Ethnology and Anthropology n.a. N.N. Mikloukho-Maklaia RAS; Comprehensive Research Institute n.a. H.I. Ibragimov RAS. 2nd edition. Moscow: Nauka, 2023.
- Derluguian G. (2010) *Adept Burd'e na Kavkaze: eskizy k biografii v mikrosistemnoi perspektive: avtorizovannyi perevod s angliiskogo* [Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography: authorized translation from English]. Moscow: Territoria budushchego.
- Druey C. (2015) Stability without Peace in Chechnya, *Politorbis*, No. 60 (2).
- Druey C., Shogenov M., Tanaylova V. (2024) *Fighting for Self-Determination, Participation and Control: Statebuilding and the Role of Historical Memories in Chechnya (1986–2023)*. Peter Lang Publishing.
- Edkins J. (2003) *Trauma and the Memory of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eke S.M., Kuzio T. (2000) Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus, *Europe-Asia Studies*, Vol. 52, No. 3, pp. 530–532.
- Hirschberger G. (2018) Collective Trauma and the Social Construction of Meaning, *Frontiers in Psychology*, Vol. 9 (August), 1441. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01441
- Ilyasov M. (2018) Chechen ethnic identity: assessing the shift from resistance to submission, *Middle Eastern Studies*, Vol. 54(3), pp. 475–493.
- Ilyasov M. *The clash of collective memories in post-war Chechnya* (manuscript)
- Isaeva A. (2020) Geroi Chechni: kto oni? [Heroes of Chechnya: who are they?], *Eto Kavkaz*. 9 December. Available at: <https://etokavkaz.ru/istoriya/geroi-chechni-kto-oni> (Accessed 28 January 2024)
- Kaeppler A.L. (1996) Paradise regained: the role of Pacific museums in forging national identity. In: Kaplan F.E.S. (ed.) *Museums and the making of "ourselves". The role of objects in national identity*. L.: Leicester Univ. Press, pp. 19–44.
- Karp I., Kremer C.M., Levine S. (1992) *Museums and communities: the politics of public culture*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Koposov N. (2011) *Pamiat' strogogo rezhima: Istoriia i politika v Rossii* [High Security Memory: History and Politics in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Kots A. (2013) Kadyrov otkryl pamiatnik pervym «shakhidkam» [Kadyrov unveiled a monument to the first 'female suicide bombers'], *Komsomol'skaia pravda*. 16 September. Available at: <https://www.kp.ru/daily/26133.5/3024328/> (Accessed 28 January 2024)
- Laruelle M. (2017) Kadyrovism: Hardline Islam as a Tool of the Kremlin? *Russie. Nei. Visions*, Ifri. No. 99.
- Mitchell K. (2003) Monuments, memorials, and the politics of memory, *Urban Geography*, No. 24(5), pp. 442–459.
- Moroz O., Suverina E. (2014) Trauma studies: Istoriia, reprezentatsiia, svidetel' [Trauma studies: History, representation, witness], *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 1.
- Muller W. (2002) *Memory and power in post-war Europe: Studies in the Presence of the Past*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Nora P., Ozuf M., Piuimezh Zh. de, Vinok M. (1999) *Frantsiia-pamiat'* [France-memory] / Translation by D. Khapaeva. St. Petersburg.
- Russel J. (2014) Ramzan Kadyrov's 'illiberal' peace in Chechnya. In: *Chechnya at war and beyond* / Ed. by Anne Le Huérou, Aude Merlin, Amandine Regamey, Elisabeth Sieca-Kozłowski. Routledge, pp. 133–151.

- Shnirelman V.A. (2010) Istoriko-etnograficheskie muzei: prezentatsiia traditsii ili reprezentatsiia konstruktsii? [Introduction To a Discussion: Historical-Ethnographic Museum: Presenting A Tradition or Representing a Construct?], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 4, pp. 3–8.
- Shnirelman V.A. (2021) Intel'ktual'nye debaty postsovet'skogo vremeni vokrug istorii i kul'tury narodov Severnogo Kavkaza [Intellectual debates of the post-Soviet era on the history and culture of the peoples of the North Caucasus]. In: *Istoricheskaiia i etnokul'turnaia tematika v uchebno-m, nauchnom i obshchestvenno-politicheskom diskurse Severnogo Kavkaza* [Historical and ethnocultural topics in educational, scientific and socio-political discourse of the North Caucasus] / Ed. by V.A. Tishkov. Moscow: IEA RAN.
- Vasil'ev A. (2012) Memory studies: edinstvo paradigmy — mnogoobrazie ob'ektov (Obzor angloiazychnykh knig po istorii pamiati) [Memory studies: unity of paradigm – diversity of objects (Review of English-language books on the history of memory)], *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 5.
- Volkan V. (2001) Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity, *Group Analysis*, No. 34 (1), pp. 79–97.
- Volkan V., Obolonskii A. (1992) Natsional'nye problemy glazami psikhooanalitika s politologicheskim kommentariem [National problems through the eyes of a psychoanalyst with political commentary], *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 6, pp. 31–48.

Сведения об авторе:

ТАНАЙЛОВА Валентина Александровна — стажер-исследователь Института этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: valya00763@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Valentina A. Tanaylova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: valya00763@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 20 декабря 2023 г.;
принята к публикации 15 марта 2024 г.

The article was submitted 20.12.2023;
accepted for publication 15.03.2024.

Научная статья
УДК 331.55(51:47)
doi: 10.17223/2312461X/43/15

Чайна-таун в России: судьба символа «китайской экспансии»

Виктор Иннокентьевич Дятлов^{1, 2}
Елена Викторовна Дятлова³

^{1, 3} *Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия*

² *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

^{1, 2} *vikdyatlov@yandex.ru*

³ *dyatlovae@mail.ru*

Аннотация. Массовая китайская трудовая миграция в постсоветскую Россию поставила сложную задачу понять новое явление и оценить его последствия. Популярным ответом на этот запрос стала идея о том, что немедленным и обязательным следствием становится формирование чайна-таунов – мест совместного проживания, концентрации экономической деятельности и общественной жизни мигрантов. Чайна-таун рассматривался как имманентная характеристика китайской миграции, ее образ жизни, механизм социальной организации и контроля. Во многих геополитических конструкциях и в масс-медиа чайна-тауны рассматривались как уже существующие многочисленные и неподконтрольные анклавов в городах – основной инструмент «китайской экспансии». Эмпирической основой для формирования таких построений стали смутные обрывки исторической памяти о дореволюционных китайских кварталах и образы американских чайна-таунов, почерпнутые из западной массовой культуры. Однако мощный в начале процесса синдром начал быстро терять энергию и влияние. Чайна-таунов в российских городах найти никто не смог в силу их отсутствия. Ужас перед «китайской экспансией» постепенно менялся на привычную уже мигрантофобию. К снижающейся количественно китайской миграции привыкли и привыкли извлекать из нее пользу. Как результат, чайна-таун постепенно трансформировался из очень конкретного, материального феномена в метафору, обозначение китайскости как таковой. Поэтому синдром теряет свою мобилизующую силу.

Ключевые слова: китайские мигранты, чайна-таун, китайский квартал, ксенофобия, китаефобия, мигрантофобия, этнический анклав, «китайская экспансия», этническая сегрегация

Для цитирования: Дятлов В.И., Дятлова Е.В. Чайна-таун в России: судьба символа «китайской экспансии» // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 251–271. doi: 10.17223/2312461X/43/15

Original article

doi: 10.17223/2312461X/43/15

Chinatown in Russia: The Fate of the Symbol of “Chinese Expansion”

Viktor I. Diatlov^{1, 2}

Elena V. Diatlova³

^{1, 3} Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

² National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

^{1, 2} vikdyatlov@yandex.ru

³ dyatlovae@mail.ru

Abstract. The massive Chinese labor migration to post-Soviet Russia has posed a difficult task in understanding this new phenomenon and assessing its consequences. A popular response to this request was the idea that the immediate and obligatory consequence is the formation of Chinatowns – places of cohabitation, concentration of economic activity and social life of migrants. Chinatown was seen as an immanent characteristic of Chinese migration, its way of life, a mechanism of social organization and control. In many geopolitical constructions and in the mass media, Chinatowns were considered as already existing numerous and uncontrolled enclaves in cities – the main tool of “Chinese expansion”. The empirical basis for the formation of such constructions was provided by vague fragments of historical memory of pre-revolutionary Chinatowns and images of American Chinatowns drawn from Western popular culture. However, this syndrome, which was powerful at the beginning of the process, began to quickly lose energy and influence. Nobody could find Chinatowns in Russian cities due to their absence. The horror of “Chinese expansion” gradually changed to the already familiar migrant phobia. People became used to decreasing quantitative Chinese migration and became accustomed to benefiting from it. As a result, Chinatown gradually transformed from a very concrete, material phenomenon into a metaphor, a designation of Chineseness as such. Therefore, this syndrome loses its mobilizing power.

Keywords: Chinese migrants, Chinatown, Chinese quarter, xenophobia, sinophobia, migrant phobia, ethnic enclave, “Chinese expansion”, ethnic segregation

For citation: Diatlov, V.I. & Diatlova, E.V. (2024) Chinatown in Russia: The Fate of the Symbol of “Chinese Expansion”. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 251–271 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/15

Введение

Массовые трансграничные трудовые миграции стали важнейшей частью постсоветских трансформаций. Внезапно и совершенно неприглядно для населения и властей, после нескольких десятилетий закрытости, возник новый сегмент экономики и социальных отношений. Пришли новые люди, новые отношения, а вместе с ними и новые проблемы. Важнейшей составной частью этого миграционного процесса стала мигрантофобия. Массовые ксенофобские антимигрантские настроения и страхи широко использовались в качестве инструмента политической мобилизации и борьбы за власть. Сформировался сильный соответствующий дискурс в масс-медиа, в том числе и на государственном телевидении¹.

Особую роль и в миграционном процессе, и в формировании мигрантофобского дискурса играли китайские мигранты. Они составляли численно значительную (а в некоторые периоды – большую) часть трудовых мигрантов, за ними стоял, как казалось, неисчерпаемый миграционный потенциал более чем миллиардного Китая. О существовании по всему миру многочисленных и влиятельных сообществ *хуацяо* – зарубежных китайцев, было известно не только специалистам, но и обычным обывателям. Их культура, образ и стиль жизни, обычаи и манеры были совершенно не знакомы жителям России, в отличие от бывших советских соотечественников – мигрантов из стран Центральной Азии. На формирующееся отношение огромное воздействие оказала эпоха советско-китайского противостояния и военных столкновений 1960–1970-х гг. Дальний Восток и Сибирь воспринимались их населением как форпост – и это формировало соответствующее отношение к китайцам как к потенциальному инструменту нашествия и агрессии. Их массовый приток в качестве трудовых мигрантов воспринимался как угроза. Масштабы и интенсивность этих настроений и оценок принимали иногда характер паранойи².

С началом «второго пришествия» китайских мигрантов в постсоветскую Россию (первая волна была в конце XIX – первой трети XX в.)³ стремительно сформировался и образ чайна-тауна как основного механизма и символа «китайской экспансии». Особенно большое, можно сказать экзальтированное, внимание к проблеме чайна-тауна и возможности его появления в России наблюдалось на начальном этапе процесса – в девяностые и начале нулевых годов. Практически сразу стала преобладать идея чайна-тауна как имманентной характеристики китайской миграции, ее образа жизни, механизма социальной организации и контроля.

Широко распространилась уверенность в том, что если в России есть китайские мигранты, то исключительной средой их обитания могут быть только территориальные анклав, места совместного проживания и экономической деятельности, особым образом организованные и почти не контролируемые властями; непроницаемые для местных жителей; инструменты территориальной, экономической и демографической экспансии Китая. Эта уверенность была не только у журналистов или политиков, но и у ряда считающихся вполне респектабельными и серьезными учеными, особенно специализирующимися в такой странной науке, как геополитика. Приняв в качестве аксиомы существование и большую экспансионистскую роль чайна-таунов, эти авторы выстраивают и их конструкцию.

Этот феномен заслуживает специального изучения. Поэтому статья не столько о самих чайна-таунах, сколько об их образе и представлениях об их месте и роли в жизни общества. Чайна-таун – это неотъемлемая составная часть образа китайской миграции, его символ. Поэтому этот

образ стал для многих прогнозом недалекого будущего если не всей России, то ее востока точно.

Мы хотим увидеть, на базе какой информации вдруг возник и мощно заработал в масс-медиа, пропагандистской сфере, геополитических построениях образ чайна-тауна. Поэтому отдельные разделы будут посвящены тому, как возрождался почти из небытия образ китайских кварталов или слободок в дальневосточных городах дореволюционной России, отечественному образу чайна-тауна американских и европейских городов. Одновременно мы попытаемся проследить процесс формирования профессионального научного интереса в отечественной историографии к этим сюжетам. На основании этого постараемся реконструировать динамику образа и его инструментального использования в контексте меняющихся представлений о значении китайской миграции в современной России.

«Миллионка»: «китайские слободки» дальневосточных городов рубежа XIX–XX вв.

Поиски источников современных знаний, образов и представлений о китайских кварталах логично начать с отечественной традиции. С того, что известно сейчас и что было известно о «китайских слободках» дальневосточных городов поздней имперской России в конце прошлого века, в те бурные годы, когда формировался стереотип «современного российского чайна-тауна», когда началось его интенсивное идеологическое и политическое использование в качестве важного элемента синдрома «китайской экспансии».

Трансграничные миграции китайцев на Дальний Восток привели к появлению мест их жилищной и деловой концентрации («китайские слободки» и «кварталы»), к распространению особого типа экономической деятельности и образованию специфических экономических ниш. Специальные правовые режимы для мигрантов подкреплялись эффективным функционированием общинных структур, которые осуществляли, помимо этнокультурных и конфессиональных функций, еще и задачи внутреннего социального контроля, регулирования и санкций.

Любопытно, что когда на рубеже XIX–XX вв. чайна-тауны (китайские слободки, китайские кварталы) были важным элементом городской жизни населения Дальнего Востока, масштабы страхов и фобий по их поводу были не слишком велики. Велись дискуссии относительно того, разрешать или не разрешать их существование, что выгоднее – сконцентрировать китайцев города и сопутствующие проблемы в одном месте, чтобы сегрегировать их и обеспечивать властный контроль, или стараться не допустить их территориальной концентрации – опять же для

целей максимально возможного контроля и предотвращения «неконтролируемой клоаки». Результатом дискуссий стали управленческие решения⁴, направленные на сегрегацию и вытеснение, иногда насильственное, китайцев в отдельные кварталы.

Однако здесь власти столкнулись с тем, что не все зависит от их решений. Сегрегация китайцев происходила и естественным захватным образом, не там и не так, как это предписывалось властями. Формировались слабо поддающиеся властному контролю анклав, тревожащие антисанитарией, угрозой пожаров, разгулом криминала, недоступностью для административного и полицейского контроля, явной собственной системой власти, напрямую зависящей от властей Китая. При проведении сегрегации приходилось преодолевать сопротивление зажиточной части мигрантов, справедливо ссылающихся на то, что при насильственном вытеснении в китайские кварталы нарушаются их законные права, в том числе имущественные как иностранных подданных. Понимая это, власти предпочли «управлять процессом» – выделять территорию и пытаться регулировать процесс формирования мест территориальной концентрации китайцев в качестве меньшего зла.

Китайские кварталы были постоянным предметом внимания городского населения. Прежде всего – как кусочек экзотичного мира, мира организованного и функционирующего по особым нормам, правилам и законам. Непроницаемого, недоступного для проникновения, опасного мира, не подчиняющегося властям. Сосредоточия антисанитарии, грязи, нищеты. Концентрации всевозможных пороков – уголовщины, азартных игр, опиумокурения, проституции. Отмечалась экзотичность китайских кварталов в силу образа жизни обитателей, их субкультуры и т.д. Экзотизация – это не просто интерес или даже любование чем-то особым. Она может стать (и часто становится) механизмом дегуманизации, расчеловечивания объекта внимания (Дятлов 2014; Huggan 2001). Но китайские слободки не стали в дореволюционной России символом «китайской экспансии», «желтой опасности», даже просто китайской миграции. Они оставались сложной, но решаемой проблемой для местных властей.

Закономерный вопрос: что об этом было известно жителям постсоветской России, которые внезапно для себя встретились с китайскими мигрантами на уровне повседневного общения? Откуда возник, в частности, пугающий образ чайна-тауна?

Отправной точкой этого процесса не могли быть эмпирические наблюдения, собственный опыт. Историческая память о дореволюционных китайцах в России почти полностью исчезла после полного их вытеснения, частично и уничтожения, в годы «Великого перелома». Они исчезли из жизни страны и из городского пространства, оставшись только в быстро слабеющей исторической памяти.

Теоретически были доступны обширные комплексы дореволюционных источников – архивы, газеты, журналы, многочисленные публикации путешественников, публицистика, исследовательские статьи, государственные документы. Но работа с ними требовала профессиональных навыков, а профессиональный исследовательский интерес к проблеме китайских мигрантов по идеологическим причинам в советские годы сошел почти на нет.

Начало китайской миграции на современный Дальний Восток стало стимулом к формированию научного интереса к проблеме китайских кварталов. Этому способствовало исчезновение идеологических ограничений советской эпохи и существование довольно развитой историографической дореволюционной традиции. Никуда не исчезли и многочисленные богатые источники. Специальных монографических работ пока нет, хотя появилось довольно много статей и разделов в общих монографиях (Сухачева 1993; Сорокина 2001; Нестерова 2004, 2008; Чернолуцкая 2008). Но основной массив этих публикаций относится уже к нулевым годам, их тиражи были минимальны и в доинтернетную эпоху они были малодоступны вне профессионального сообщества. Поэтому на начальной стадии процесса ни эти исследовательские работы, ни комплексы дореволюционных источников не стали информационной основой для формирования представлений о российских чайна-таунах.

Какие-то обрывки знаний и представлений сохранились во многом благодаря одному из китайских кварталов Владивостока – Миллионке. Миллионка даже в советские времена была достопримечательностью города, местом памяти о когда-то живших там китайцах и их образе жизни. Возможно, она зацепилась в исторической памяти благодаря своей локации в самом центре современного Владивостока и тому, что ее материальная основа – дома, дворы, закоулки, трущобный облик – пережили своих прежних китайских обитателей и даже изгнавшую их советскую власть. Любопытно, что другие китайские кварталы города, их аналоги Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска (Никитина 2008), не просто не сохранились, но существуют в памяти горожан в лучшем случае в виде некой абстракции – без собственных названий и привязки к местности, без своей мифологии.

Не только для дальневосточников, но и для всей страны Миллионка стала символом китайских кварталов вообще, их стереотипном воплощением. Википедия сообщает, что в 1966 году Миллионка предстала в своем былом обличье в фильме «Пароль не нужен» по одноименному роману Юлиана Семенова. 1969 г. – ряд эпизодов телесериала «Сердце Бонивура» происходит в Миллионке. 1977 г. – Валентин Пикуль в романе «Богатство» сравнивает Миллионку с Хитровым рынком дореволюционной Москвы. 2008 г. – вышел исторический роман Александра Токовенко «Владивостокская Миллионка» (Миллионка 2022).

Принципиально важно для процесса стереотипизации и формирования собственной мифологии то, что Миллионка прочно вошла в массовую культуру, причем еще с советских времен. Знаково в этом смысле обращение к теме невероятно популярного тогда автора в жанре поп-истории Валентина Пикуля. Сейчас эту традицию успешно продолжил автор исторических боевиков Николай Свечин, в одном из романов которого Миллионка предстает не просто местом действия, но практически самостоятельным и важным действующим лицом (Свечин 2022). Сегодня то, что осталось от Миллионки является почти обязательным для посещения туристическим объектом, предметом показа и обсуждений в масс-медиа и социальных сетях («Желтый» Владивосток... 2016).

Образ зарубежного чайна-тауна

Видимо равноценный по важности массив представлений и образов пришел в современную Россию от зарубежных чайна-таунов, особенно американских. Не случайно традиционные российские названия («китайский квартал», «китайская слободка») практически не вошли в современный лексикон. Феномен сразу и как-то естественно стал называться чайна-тауном под прямым воздействием англо-американской традиции. Хотя, возможно, здесь следует учесть влияние общего процесса экспансии англицизмов в современный русский язык.

История этих кварталов насчитывает уже почти двести лет. Возникнув как место концентрации китайских мигрантов, они стали сегодня частью городского пространства, где китайцы живут, работают, вступают в многообразные связи и отношения, создают собственные механизмы социального регулирования, власти и контроля. Это место, где говорят, выглядят, ведут себя по-китайски. Районы с китайскими вывесками, рекламой, запахами, где *китайскость* продается в качестве товара многочисленным туристам.

«Чайна-таун» понимают сейчас и как место жилищной концентрации мигрантов, и как средоточие этнической экономики, и как социальный организм с формальными и неформальными институтами, и как место встречи обитателей этнического квартала с горожанами и туристами, а последних – с возможностью получить необычные впечатления. Наконец, как площадку для продажи «этнического продукта»: экзотических товаров и сувениров, блюд «национальной» кухни. Это понимание сформировалось через знакомство – непосредственное или по чужим впечатлениям – с чайна-таунами в крупных городах Европы и Северной Америки.

Такому пониманию не мешает то обстоятельство, что со временем произошла дифференциация функций чайна-таунов, смена их значений и иерархии. Первоначальная основная функция первичной адаптации

мигрантов, способа их выживания в чужом и враждебном мире постепенно отступала. Ей на смену шла функция формирования общинных социальных и экономических структур, центра общинной жизни и сохранения культуры предков и, разумеется, центра этнической экономики. И уже затем на первый план выходит функция «туристического аттракциона», чайна-таун обретает вид места, где люди «работают китайцами»: производят и продают сувениры, национальную еду и экзотику приписываемых им образов. И все это – внутри, в оболочке территориального анклава.

Чайна-тауны – чрезвычайно значимый элемент городской жизни многих городов Запада. Одновременно – это заметный актор миграционных процессов, важный механизм интеграции мигрантов. Поэтому они хорошо представлены в научной традиции, особенно в США. На этой исследовательской площадке во многом формировались современная социология и социальная антропология (Anderson 1987; Curtis 1995; The Encyclopedia 1999; Lin 1998; Wan-Yin Tan 2008; Wong 2002; Zhou 1992, 2004; Zhou, Logan 1989, 1991; Yip 1995).

Традиционно чайна-тауны привлекают большое общественное внимание в качестве популярного туристического объекта, экзотического места, одновременно проблемной территории, откуда могут исходить угрозы безопасности. Они широко представлены в массовой культуре, особенно в криминальных романах и фильмах.

Советский человек имел ничтожно мало шансов увидеть чайна-таун своими глазами. Зарубежные деловые поездки, а тем более туризм были доступны редким избранным. Но он мог получить некоторое стереотипное представление из «Кинопанорамы», «Клуба кинопутешественников» и других телевизионных «окон в мир». Массовый зарубежный туризм, рабочая и учебная миграция начались только в девяностые годы. Вот тогда чайна-таун стал доступен, и впечатления от его посещения явились важным фактором динамики стереотипа. До этого же он формировался из переводной литературы, криминальных романов, продукции Голливуда. Нельзя не вспомнить здесь знаковую фигуру Джеки Чана.

Был и некоторый научный интерес к американским чайна-таунам (Севастьянов, Корсакова 1983; Бирюков 1983), но монографии и статьи ученых не оказали существенного влияния на формирование стереотипа, главным образом потому, что в советские годы не было соответствующего запроса. В постсоветскую эпоху исследовательский интерес также не слишком вырос (довольно редкие исключения: Мещеряков, Антропов 2020; Анохина 2012). Причины этого – важная тема для особого разговора.

Поиски чайна-тауна в современной России: причины и результаты

До начала массовой китайской трудовой миграции в Россию проблема чайна-тауна интересовала только очень немногих специалистов. Само это слово было знакомо обычному человеку, но почти не востребовано им. Однако начало процесса миграции, вызванный этим шок создали огромный спрос на понимание его природы – как научный, так и общественный, идеологический, политический, просто бытовой. Надо было понять, кто такие китайские мигранты – живые конкретные люди, а не некая абстракция, чего от них ждать, как выстраивать отношения с ними. Новый феномен потребовал новых слов и образов.

Идея чайна-тауна была массово востребована практически сразу как инструмент для объяснения и прогнозирования развития этого совершенно нового феномена. Чайна-таун стал рассматриваться не просто как неизбежный элемент китайской миграции, но в категориях массового дискурса – экспансии, как его основа, воплощение.

Образ чайна-тауна интенсивно конструировался из обрывков исторической памяти о Миллионке, из таких же обрывочных стереотипных представлений о зарубежных чайна-таунах, из пришедших на смену научному коммунизму геополитических построений, из пропаганды времен военного противостояния с Китаем. Кроме того, заметный вклад внесли ученые, не только специалисты в такой «науке», как геополитика, но и даже некоторые демографы. Они практически сразу дали образу чайна-тауна необходимые слова, сформировали дискурс.

Попытаемся выделить основные характеристики, несущие конструкции этого образа. Основная, базовая посылка – неизбежность, безальтернативность того, что зарубежные китайцы могут жить только вместе, отдельным, изолированным сообществом. Это диктуется их вечной и неизменной китайскостью, природой данным образом их жизни. Нельзя забывать, что вся советская национальная политика, идеология, содержание соответствующих школьных и вузовских программ были глубоко примордиалистскими. Представление о вечном и неизменном национальном характере было практически монопольным и естественным. Раз уж в России появились китайцы – значит они смогут и захотят жить только чайна-тауном.

В 2006 г. «Независимая газета» приводит мнение директора Института Дальнего Востока РАН, академика, профессора Михаила Титаренко: «У китайцев очень сильно развиты осознание национальной самодентичности и привязанность к своей родине. “Где бы китаец ни был, он везде останется китайцем и будет воспроизводить менталитет своей страны, – уверен профессор. – Для китайцев очень важно возвращаться в своей культурной среде, сохранять свой язык, свои обычаи. А где всего этого можно достичь, кроме как в кругу соотечественников?”»

Именно поэтому везде, где появляются китайцы, обязательно возникают их компактные поселения, которые со временем превращаются в чайна-тауны. Так происходило во Франции, в Англии, в США» (Уколов 2006).

При таком подходе игнорируется контекст времени, места и обстоятельств. Прежде всего – характер реакции принимающего общества (в диапазоне от доброжелательного равнодушия до открытой враждебности), выдавливающей мигрантов в изолированные гетто или дающей им возможность относительно безопасно расселяться дисперсно. Политика властей – при создании дореволюционных дальневосточных китайских кварталов именно это стало решающим фактором. Примордиалистский подход позволяет игнорировать огромную неоднородность китайских мигрантов – культурную, образовательную, профессиональную, имущественную, социальную, региональную и т.д. Начальная стадия миграционного процесса не давала возможности увидеть динамику жизни в принимающем обществе, неизбежные процессы адаптации, социального и культурного расслоения, развития географической мобильности. От этого зависел выбор миграционных стратегий, в том числе и вопрос выбора дисперсного или анклавного расселения.

Возобладало восприятие чайна-тауна как механизма адаптации мигрантов к принимающему обществу и одновременно способа сегрегации, тормоза адаптации. Однако больше всего волновала их предполагаемая экстерриториальность, замкнутость внутренней жизни, закрытость от «чужого глаза», прежде всего, от контроля государства; образ абсолютно чужеродного анклава – в культурном, этническом, властном и даже политическом отношениях, рассадника антисанитарии и потенциального источника заразы и эпидемий⁵, площадки неподконтрольной властям организованной преступности («Триады»), наркобизнеса, проституции и других социальных язв.

Практически с самого начала массовой миграции возникло и широко распространилось убеждение, что чайна-тауны *уже есть*. Это даже не проговаривалось в качестве гипотезы, но понималось на уровне очевидности. Чайна-таун видится не как будущий результат, даже не как процесс формирования, а как сложившийся, эффективно функционирующий институт, чужеродное и непроницаемое китайское культурное, экономическое, криминальное и даже политическое ядро в недрах российского общества, в его невралгических центрах – городах. Правда, Л.Л. Рыбаковский с соавторами писали и об опасности появления китайских деревень (Захарова, Миндогулов, Рыбаковский 1994: 17).

В 1996 г. К.Э. Сорокин констатирует в качестве несомненного и очевидного факта «растущую неконтролируемую “ползучую” миграцию китайцев в Россию (их в нашей стране насчитывается до 2 млн человек), образование, особенно на Дальнем Востоке, не подчиняющихся российским законам “чайна-таунов”, массовую незаконную скупку китайскими

предпринимателями недвижимости к востоку от Урала при бездеятельности местных и центральных властей» (Сорокин 1996: 107).

Возможно, самоочевидность факта существования китайских анклавов, их повсеместного присутствия, освобождала от необходимости назвать конкретную локацию, не говоря уже об ее изучении. Авторам, по крайней мере, не встретилось ни одной такой попытки.

В этой цитате есть еще одна констатация «самоочевидного» – оценка количества китайских мигрантов в России в миллионах. Здесь автор не одинок – оценки многих авторов могли варьироваться в пределах от 1 до 6 млн человек. Источник таких сведений, естественно, не указывался. Или одни эксперты ссылались на других.

А коль скоро китайцев по определению не может быть мало, то и чайна-тауны могут (уже стали) густонаселенными опорными пунктами политического освоения российской территории. Особенно при осознанном и рациональном применении методов демографической экспансии (через смешанные браки, например)⁶.

В 2005 г. А. Храмчихин выражал твердую уверенность, что «восток России (в лучшем случае пространство к востоку от Байкала, возможно – к востоку от Енисея, в худшем – к востоку от Урала) за пару десятилетий превратится в гигантское “Косово”... Он будет заселен китайцами и в экономическом, финансовом и административно-политическом отношении станет частью Китая. При этом формально он будет числиться российским (до тех пор, когда в Кремле не появится президент, который отдаст де-юре то, что уже потеряно де-факто), в отдельных гетто будут жить немногочисленные граждане России... В Китае прекрасно видят, что Россия сама сдает свой восток, хотя живет за его счет. В Китае прекрасно знают, что их собственная страна не проживет, не забрав соседние территории. Нация хочет жить и решает вопрос выживания единственно возможным путем» (Храмчихин 2005: 61–64).

Китайцы оцениваются скорее не как «желтая раса», биологическое образование (как в классических представлениях рубежа XIX–XX вв.), но как органическая часть государства, его инструмент. Миграция в Россию воспринимается и оценивается не столько как результат самостоятельного и добровольного выбора отдельных людей, движимых стремлением к улучшению своего положения, сколько как продукт реализации воли державы, ставящей задачи экспансии, в том числе территориальной.

Поэтому неизбежные чайна-тауны обязательно становятся (уже стали для некоторых) инструментами такой «демографической экспансии». Как результат целенаправленной политики китайских властей рассматривает такие проекты журнал «Бизнес и финансы». В нем сообщается (без ссылки на источники), что в рамках кампании ненасильственной экспансии мигрантов Китай выделил огромные деньги на строительство

чайна-таунов в крупнейших российских городах (Москве, Санкт-Петербурге и Казани). «В перспективе чайна-тауны могут стать центрами сосредоточения социально опасных, националистически ориентированных маргиналов и превратиться в рассадники терроризма внутри больших городов. Вполне закономерно, что российские власти не желают видеть в городах РФ районы компактного проживания выходцев из других стран одной национальности. Об этом заявил, выступая в нижней палате российского парламента, директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский... Однако как объяснить первый, торжественно заложенный, булыжник чайна-тауна в Петербурге? Учитывая практику возведения подобных анклавов в других странах, мы запросто можем получить территорию, где российские законы в принципе не действуют... Не секрет, что любой такой чайна-таун может по команде из-за границы спровоцировать любой сложности конфликт внутри страны, логическим продолжением которого может стать вторжение китайских армий, прикрывающихся защитой бывших соотечественников от “российской агрессии”» (Чайнатауны... 2006).

В этой квинтэссенции стереотипа российского чайна-тауна (поэтому пришлось поместить такую большую цитату) прослеживается мотив, который постепенно перевел довольно конкретный и точный термин в сферу метафор. В категориях чайна-тауна оценивается теперь строительство (или проекты такового) объектов городской недвижимости (обычно деловые центры и отели) с участием китайского капитала. По словам В.Г. Гельбраса, «российская и китайская стороны подписали соглашения о строительстве в Москве и Санкт-Петербурге двух крупных высотных комплексов, предназначенных для размещения в них китайских фирм... Уже сейчас даже в печати эти здания часто именуются “чайна-таунами” (2013: 139). Истории наиболее известного проекта «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге и общественно-политической кампании против его реализации посвящена, в частности, диссертация Меган Диксон (Dixon 2008).

Кампании против подобных инвестиционных проектов, окрашенные античайна-таун-риторикой, бушевали в первой половине нулевых годов в Новосибирске, Екатеринбурге, Чите, даже в Карелии. Чайна-таунами стали называть и китайские рынки (Этнические рынки в России... 2015), а накануне пандемии – инфраструктуру китайского туризма в России. Это слово постепенно перестает нести первоначальный смысл и превращается в клише, символ китайскости и китайского присутствия.

Именно тогда проблема чайна-тауна становится предметом озабоченности властей и важной частью их пропагандистской риторики. В том же духе, что и директор ФМС К. Ромодановский, высказывались сенатор Владимир Слуцкер, секретарь Совета безопасности Н. Патрушев и другие высокопоставленные лица.

На этой базе объединяются даже политические антагонисты. В 2007 г., как пишет газета «Лимонка», «группа иркутских национал-большевиков захватила офис Федеральной миграционной службы по Иркутской области в знак протеста против пособнической политики властей китайской миграции в Россию. Были мирно заняты крыша, балкон и несколько кабинетов данного ведомства. На захваченном объекте были вывешены транспаранты “Россия – не чайна-таун!”, “Остановим китайскую экспансию!” и флаг НБП. Другая группа национал-большевиков в это время устроила несанкционированный пикет под окнами ФМС с лозунгом “Чиновники – пособники китайцев!”. Национал-большевики выступили против китайской экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке и обвинили чиновников ФМС в укрывании реальной численности китайских мигрантов, по неофициальным данным сейчас в Приморье только постоянно проживает более 2 млн китайских граждан» (Бухаров, Михайлов 2007).

Окончательно позиция властей была сформулирована президентом В.В. Путиным. В послании Федеральному собранию (12 декабря 2012 г.) он заявил: «Мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила» (Послание... 2012).

С точки зрения принятия управленческих решений это была запоздалая реакция. Уже к середине нулевых годов стало понятно, что чайна-таунов в классическом понимании (как мест территориальной жилой концентрации, экономической деятельности, социальной организации и культурной жизни) в России нет. Проверить это было несложно – достаточно при желании и некоторых не очень значительных усилиях выявить и описать конкретные локации, которых так и не нашлось.

Более того, стало понятно, что тенденции к их формированию довольно призрачны. Мешает этому много обстоятельств. Прежде всего, это советская инерция организации городского пространства, препятствующая сегрегации не только социальной, но и этнической. Востребованное мигрантами дешевое жилье до сих пор дисперсно рассредоточено по всему пространству города. То же можно сказать и о местах их экономической деятельности. Несопоставимая по внешнему враждебному давлению на рубеже XIX–XX вв. в Северной Америке и Европе ситуация, не заставляющая, для того чтобы выжить, собираться в анклавы. Преобладание миграционных стратегий, ориентированных на временное пребывание. Разнообразие самих мигрантов – региональное, социальное, имущественное и культурное. Способность многих из них адаптироваться и добиваться экономического успеха индивидуально, без такого механизма первичной адаптации, как чайна-таун. Интернет, вообще новые средства коммуникации, которые позволяют тесно и постоянно общаться с людьми с подобной культурой и образом жизни, не проживая

рядом, компактно. Наконец, сокращение масштабов китайской миграции в последние годы, вызванное ускоренной трансформацией китайского общества.

Возникшие на ранних этапах миграционного процесса китайские рынки, китайские общежития и гостиницы, воплощающие в себе отдельные элементы концентрации экономической, отчасти социальной и культурной жизни, потеряли свое прежнее значение, оттеснены на периферию городской жизни. Большие инвестиционные строительные проекты с участием китайского капитала вышли из моды. Пандемия пресекла массовый китайский туризм и больно ударила по набравшей силу инфраструктуре его обслуживания.

Три десятка лет интенсивной китайской миграции продемонстрировали, что чайна-тауны в России не сложились, но их образ, ставший частью «виртуальной реальности», регулярно возникает в геополитических построениях и идеологических конструкциях. Теперь это скорее метафора, мифологема, часть мигрантофобского идеологического комплекса. Но роль китайских мигрантов как раздражающего и пугающего фактора резко сократилась в два последних десятилетия. Динамика их численности уже не пугает. Действует эффект привыкания. Наблюдается скорее раздражение от численности и довольно высокого уровня материального благосостояния туристов, различия культурных норм.

Это не означает снижения уровня ксенофобии вообще и мигрантофобии в частности. Объект, масштабы и накал мигрантофобии зависят сейчас от направленности идеологических кампаний, от присутствия этой темы на государственном телевидении. А там с недавних пор, учитывая особые отношения России с Китаем, сюжеты о конфликтах и противоречиях, связанных с китайскими мигрантами, становятся если и не табуированными, то не очень популярными, неконъюнктурными. Что называется, «не сезон».

Что касается исследовательского интереса к проблеме российских чайна-таунов, то он явно не соответствует масштабам использования образа в общественной практике. Возможно, такой массовый спекулятивный интерес, пропагандистское использование темы и отталкивали серьезных ученых. Их усилия концентрируются сейчас на более общей проблеме этнических анклавов применительно к современной российской ситуации (Варшавер и др. 2020, 2021; Дятлов 2018).

Заключение

Когда в начале нулевых годов одному из соавторов статьи предложили подготовить тематический номер журнала «Этнографическое обозрение» по проблеме чайна-таунов в России, первой реакцией было не-

которое недоумение и желание сразу (и с большим сожалением) отклонить это лестное предложение. Что писать о том, чего нет? Уже тогда было видно, что мест жилищной, деловой, культурной концентрации китайских мигрантов, аналогичных американским чайна-таунам, не появилось. Это легко доказывалось элементарными наблюдениями на местности в дальневосточных и сибирских городах. Тогда же возникла гипотеза о том, что это результат инерции советской модели организации городского пространства, препятствующей социальной и этнической сегрегации (Вендина 2005).

Однако были еще неясны перспективы. Темпы китайской миграции хотя и снизились, но количественно она оставалась на высоком уровне. Шли сложные процессы адаптации. Формировались отдельные, хотя и разбросанные по городскому пространству очаги экономической и жилищной концентрации – китайские рынки, гостиницы и общежития, деловые центры. Не исключалась потенциальная возможность появления чайна-тауна.

Но все это не снимало вопроса о том, почему проблема так интенсивно обсуждается в масс-медиа, во многих геополитических построениях, становится предметом глубокой озабоченности властей. Почему возникло такое интенсивное ожидание, сделавшее для многих чайна-тауны сбывшимся фактом? Почему при этом не предпринималось попыток подтвердить или опровергнуть наличие чайна-таунов эмпирическим путем, методом простейшего наблюдения – так, как это проделала Наталья Рыжова в Благовещенске (Рыжова 2008)?

Поэтому в специально номере «Этнографического обозрения» констатировалось: «Чайна-таунов в России нет, но есть проблема чайна-тауна» (Специальная тема номера... 2008: 4). Именно эта проблема и стала предметом изучения сейчас, когда появилась возможность проследить динамику процесса становления и упадка важнейшей составляющей комплекса «китайской экспансии».

Объяснительный и оценочный потенциал «образа российского чайна-тауна» как ксенофобского синдрома, возникшего в результате синтеза мигрантофобии и китаефобии, был востребован с началом массовой трудовой миграции из Китая. В совершенно новой ситуации возник огромный спрос на объяснительные модели, новые стереотипы, модели поведения. Страх перед чайна-тауном как наиболее видимым и очевидным воплощением ожидаемой «китайской экспансии» приобрел популярность и распространение как на уровне бытовых фобий и предубеждений, так и в виде геополитических построений, идеологем, политических и административных практик.

При этом в российском обществе многие десятилетия не было опыта непосредственного общения, наработанных стереотипов, элементарных знаний китайской культуры. Имелась поэтому крайне малая нарративная

база для использования этого понятия и термина. Совсем не было в начале процесса и не появилось в дальнейшем собственного эмпирического опыта непосредственного наблюдения за феноменом. Активизировались только смутные обрывочные воспоминания о китайских мигрантах на дореволюционном Дальнем Востоке, образы массовой культуры относительно зарубежных чайна-таунов. Историографическая база только начинала формироваться. При этом создается впечатление, что для авторов создаваемых геополитических схем отсутствие эмпирических знаний, дающих по определению противоречивую и размытую картину, особенно на начальных стадиях процесса, – скорее преимущество.

Однако мощный в начале процесса синдром начал быстро терять энергию и влияние. Ужас перед «китайской экспансией» постепенно менялся на привычную уже мигрантофобию. К снижающейся количественно китайской миграции привыкли и привыкли извлекать из нее пользу. По мере адаптации китайцы становились менее заметными и потому менее раздражающими. Чайна-таунов в российских городах найти никто не смог в силу их отсутствия. Попытка подменить классический чайна-таун суррогатами типа китайских рынков, гостиниц, инвестиционных проектов в недвижимость оказались слаборботающими.

Как результат, чайна-таун постепенно трансформировался из очень конкретного, материального феномена в метафору, обозначение китайскости как таковой. Поэтому синдром теряет свою мобилизующую силу. Китаефобия в качестве составляющего элемента мигрантофобии остается, но принимает иные формы и воплощения.

«Синдром российского чайна-тауна» продемонстрировал наглядный – в силу стремительности и наблюдаемости процесса – пример эволюции ксенофобского комплекса от массовой востребованности, популярности и инструментального использования к упадку и уходу в «отстойники» исторической памяти. Помимо всего прочего, это делает тему важным объектом всестороннего изучения.

Примечания

¹ Компендиум ключевых или/и наиболее дискуссионных отечественных статей, посвященных этому процессу, см. в (Миграция 2013).

² Подборка наиболее часто цитируемых статей по проблеме см. в (Миграция 2013. Т. 1. Ч. 2: 100–206, 789–952).

³ Обобщающий очерк этапов китайской миграции в Россию см. в (Ларин 2009).

⁴ Публикацию документов по этой проблеме см. в: (Петров 2003: 320–328; Анча, Мизь 2015: 93–170).

⁵ Влияние факторов скученности, антисанитарии, распространения заразных болезней в чайна-таунах на формирование синофобии анализирует С. Урбански (Urbansky 2019).

⁶ О мифологии китайских браков см. в (Diatlova, Diatlov 2017).

Список источников

- Анохина Е.С. Китайские диаспоры США и Канады и «новая» китайская миграция // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 355. С. 51–54.
- Анча Д.А., Мизь Н.Г. Китайская диаспора во Владивостоке: страницы истории. Владивосток: Дальнаука, 2015.
- Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе. М.: Наука, 1983.
- Бухаров Д., Михайлов Д. Россия – не чайна-таун // Лимонка. Газета прямого действия. 2007. № 314 (февраль).
- Варишавер Е., Рочева А., Иванова И., Ермакова М. Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн? // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19, № 2. С. 225–253.
- Варишавер Е.А., Рочева А.Л., Иванова Н.С., Андреева А.С. Мигранты в российских городах: расселение, концентрация, интеграция. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2021.
- Вендина О. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 3. М., 2005.
- Гельбрас В. Китайские мигранты в России // Миграция в России 2000–2012. Хрестоматия: в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова; отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013. Т. 1, ч. 2. С. 129–144.
- Дятлов В. Этнические кластеры в России на рубеже XIX–XX и XX–XXI вв.: ушедший в прошлое и ожидаемый в будущем осадок миграционных процессов // От века бронзового до века цифрового: феномен миграции во времени. Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2018. С. 179–185.
- Дятлов В.И. Экзотизация и «образ врага»: синдром «желтой опасности» в дореволюционной России // Идеи и идеалы. 2014. Т. 1, № 2 (20). С. 23–41.
- «Желтый» Владивосток начала XX века: пожары, антисанитария и бандитская «Миллионка» // Свободные новости: Дальний Восток. Сообщество ВКонтакте. 3 апреля 2016. URL: https://vk.com/wall-33908692_3936?ysclid=lkulytrycj736505503 (дата обращения: 12.02.2023).
- Захарова О.Д., Миндогулов В.В., Рыбаковский Л.Л. Нелегальная иммиграция в приграничных районах Дальнего Востока // СоцИс: Социологические исследования. 1994. № 12. С. 11–21.
- Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М.: Восточная книга, 2009.
- Мещеряков А.Ю., Антропов О.К. Культурная гибридность и диаспора в контексте китайской и американской истории (на примере пространства Чайнатауна в США) // Манускрипт. 2020. Т. 13, вып. 6. С. 44–52.
- Миграция в России 2000–2012. Хрестоматия : в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова; отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013. Т. 1–3.
- Миллионка // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Миллионка&oldid=124178567> (дата обращения: 20.07.2022).
- Нестерова Е.И. Атлантида городского масштаба: китайские кварталы в дальневосточных городах (конец XIX – начало XX в.) // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 44–58.
- Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России (вторая половина XIX – начало XX в.). Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2004.
- Никитина М. Китайский квартал // Амурская правда. 2008. 27 нояб.
- Петров А.И. История китайцев в России. 1856–1917 годы. СПб.: Береста, 2003.
- Послание Президента РФ Федеральному собранию от 12.12.2012 // Официальный сайт Президента России. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements%20/17118> (дата обращения: 12.02.2023).

- Рыжова Н.П. Благовещенск: в поисках «чайнатауна» // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 17–30.
- Свечин Н. На краю. М.: Эксмо, 2022.
- Севастьянов В.П., Корсакова Н.Е. Позолоченное гетто. Очерки жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии. М.: Наука, 1983.
- Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М.: РОССПЭН, 1996.
- Сорокина Т. Китайские кварталы дальневосточных городов // Диаспоры. 2001. № 2–3. С. 54–74.
- Специальная тема номера: «Чайнатауны» в России / отв. ред. В.И. Дятлов // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 3–58.
- Сухачева Г.А. Обитатели «Миллионки» и другие. Деятельность тайных китайских обществ во Владивостоке в конце XIX – начале XX века // Россия и АТР. 1993. № 1. С. 62–70.
- Уколов Р. Первопрестольный China-град. «Имея в Москве свои банки, газеты, рестораны и увеселительные заведения, китайцы и здесь живут в строгих рамках конфуцианской культуры» // Независимая газета. 01.04.2006.
- Храмчихин А. Желтое господство. Захват Китаем Сибири – не «страшилка». Поскольку другого выхода у него просто нет // Политический журнал. 2005. № 27. С. 61–64.
- Чайнатауны – вызов России // Бизнес и финансы. 2006. 20 марта. URL: <http://www.advis.ru> (дата обращения: 20.07.2022).
- Чернолуцкая Е.Н. Конец «Миллионки»: ликвидация китайского квартала во Владивостоке // Россия и АТР. 2008. № 4. С. 24–31.
- Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи / науч. ред. В.И. Дятлов, К.В. Григоричев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.
- Anderson K.J. The Idea of Chinatown: The Power of Place and Institutional Practice in the Making of a Racial Category // Annals of the Association of American Geographers. 1987. Vol. 77, No. 4. P. 580–598.
- Curtis J.R. Mexicali's Chinatown // Geographical Review. 1995. Vol. 85, No. 3. P. 335–348.
- Diatlova E.V., Diatlov V.I. "Demographic Expansion": Russian-Chinese Marriages in Migration Mythology // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. Vol. 10, No. 11. P. 1654–1663.
- Dixon M. The Baltic Pearl in the Window to Europe: St. Petersburg's Chinese Quarter: Ph.D. Diss. University of Oregon Graduate School, 2008.
- Huggan G. The postcolonial exotic: marketing the margins. London: Routledge, 2001.
- Lin J. Reconstructing Chinatown: ethnic enclave, global change. Minneapolis: Univ. of Minnesota, 1998.
- The Encyclopedia of the Chinese Overseas / ed. by L. Pan. Cambridge (Mass.): Harvard Univ., 1999.
- Urbansky S. A Chinese Plague: Sinophobic Discourses in Vladivostok, San Francisco, and Singapore // Bulletin of the German Historical Institute. 2019. No. 64 (spring). P. 75–92.
- Wan-Yin Tan W. Chinatowns of New York City. Charleston: Arcadia Publishing, 2008.
- Wong B.P. Chinatown. Economic Adaptation and Ethnic Identity of the Chinese. Belmont: Wadsworth/Thompson Learning, 2002.
- Yip C.L. Association, Residence, and Shop: An Appropriation of Commercial Blocks in North American Chinatowns // Perspectives in Vernacular Architecture. 1995. Vol. 5: Gender, Class, and Shelter. P. 109–117.
- Zhou M. Chinatown: The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave. Philadelphia: Temple Univ., 1992.
- Zhou M. The Role of the Enclave Economy in Immigrant Adaptation and Community Building: The Case of New York's Chinatown // J.S. Butler and G. Kozmetsky (eds.). Immigrant and Minority Entrepreneurship: Building American Communities. Westport: Praeger. 2004. P. 37–60.

- Zhou M., Logan J. Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown // *American Sociological Review*. 1989. Vol. 54, No. 5. P. 809–820.
- Zhou M., Logan J.R. In and Out of Chinatown: Residential Mobility and Segregation of New York City's Chinese // *Social Forces*. 1991. Vol. 70, No. 2. (Dec.). P. 387–407.

References

- Anokhina E.S. (2012) Kitaiskie diaspory SShA i Kanady i «novaia» kitaiskaia migratsiia [Chinese Diasporas of The USA and Canada and New Chinese Migration], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 355, pp. 51–54.
- Ancha D.A., Miz' N.G. (2015) *Kitaiskaia diaspora vo Vladivostoke: stranitsy istorii* [The Chinese diaspora in Vladivostok: pages of history]. Vladivostok: Dal'nauka.
- Biriukov V.I. (1983) *Kitaitsy v SShA i amerikano-kitaiskie otnosheniia na sovremennom etape* [Chinese in the United States and US-China relations at the present stage]. Moscow: Nauka.
- Bukharov D., Mikhailov D. (2007) Rossiia – ne chaina-taun [Russia is not a China-town], *Limonka. Gazeta priamogo deistviia*. no. 314 (February).
- Varshaver E., Rocheva A., Ivanova I., Ermakova M. (2020) Mesta rezidentnoi kontsentratsii migrantov v rossiiskikh gorodakh: est' li pattern? [Residential Concentrations of Migrants in Russian Cities: Is There a Pattern?], *Sotsiologicheskoe obozrenie*, Vol. 19, no. 2, pp. 225–253.
- Varshaver E.A., Rocheva A.L., Ivanova N.S., Andreeva A.S. (2021) *Migranty v rossiiskikh gorodakh: rasselenie, kontsentratsiia, integratsiia* [Migrants in Russian cities: resettlement, concentration, integration]. Moscow: Izdat. dom «Delo» RANKhiGS.
- Vendina O. (2005) Migranty v Moskve: grozit li rossiiskoi stolitse etnicheskaia segregatsiia? [Migrants in Moscow: is the Russian capital threatened by ethnic segregation?]. In: *Migratsionnaia situatsiia v regionakh Rossii* [Migration situation in the regions of Russia]. Vol. 3. Moscow.
- Gel'bras V. (2013) Kitaiskie migranty v Rossii [Chinese migrants in Russia]. In: *Migratsiia v Rossii 2000–2012. Khrestomatiia v 3 tomakh* [Migration in Russia 2000–2012. A reader in 3 volumes] / NP RSMU; under the general editorship of I.S. Ivanova; Executive editor Zh.A. Zayonchkovskaya. Moscow: Spetskniga, Vol. 1. Book 2, pp. 129–144.
- Diatlov V. (2018) Etnicheskie klastery v Rossii na rubezhe XIX–XX i XX–XXI vv.: ushedshii v proshloe i ozhidaemyi v budushchem osadok migratsionnykh protsessov [Ethnic clusters in Russia at the turn of 19th – 20th and 20th – 21st centuries: outlived and projected sediments of migration process]. In: *Ot veka bronzovogo do veka tsifrovogo: fenomen migratsii vo vremeni* [Migration Throughout Times: From the Bronze Age to The Century of The Digital]. Barnaul: Izd-vo Altaiskogo un-ta, pp. 179–185.
- Diatlov V.I. (2014) Ekzotizatsiia i «obraz vraga»: sindrom «zheltoi opasnosti» v dorevoliutsionnoi Rossii [Exotization And "The Enemy Image": The Syndrome Of "Yellow Peril" In Pre-Revolutionary Russia], *Idei i idealy*, no. 2(20), Vol. 1, pp. 23–41.
- «Zheltiy» Vladivostok nachala XX veka: pozhary, antisanitariia i banditskaia "Millionka" ["Yellow" Vladivostok at the beginning of the 20th century: fires, unsanitary conditions and the gangster "Millionka"], *Svobodnye novosti: Dal'nii Vostok*. VK Community. 3 April 2016. Available at: https://vk.com/wall-33908692_3936?ysclid=lkulytrycj736505503 (Accessed 12 February 2023)
- Zakharova O.D., Mindogulov V.V., Rybakovskii L.L. (1994) Nelegal'naia immigratsiia v prigranichnykh raionakh Dal'nego Vostoka [Illegal immigration in the border areas of the Far East], *Socis: Sotsiologicheskie Issledovaniia*, no. 12, pp. 11–21.
- Larin A.G. (2009) Kitaiskie migranty v Rossii. Istoriia i sovremennost' [Chinese migrants in Russia. History and present]. Moscow: Vostochnaia kniga.
- Meshcheriakov A.Iu., Antropov O.K. (2020) Kul'turnaia gibridnost' i diaspora v kontekste kitaiskoi i amerikanskoi istorii (na primere prostranstva Chainatauna v SShA) [Cultural Hybridity and Diaspora in The Context of The Chinese and American History (By the Example of The USA Chinatown Area)], *Manuskript*. Vol. 13, Is. 6, pp. 44–52.

- Migratsiia v Rossii 2000–2012. Khrestomatiia v 3 tomakh [Migration in Russia 2000–2012. A reader in 3 volumes] / NP RSMD; under the general editorship of I.S. Ivanova; Executive editor Zh.A. Zayonchkovskaya. Moscow: Spetsknaiga, 2013. Vols. 1–3.
- Millionka [Electronic resource] // Wikipedia. Available at: <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Millionka&oldid=124178567> (Accessed 20 July 2022).
- Nesterova E.I. (2008) Atlantida gorodskogo masshtaba: kitaiskie kvartaly v dal'nevostochnykh gorodakh (konets XIX – nachalo XX v.) ["Atlantis of The Urban Scale": Chinatowns in Far Eastern Towns (Late XIX – Early XX Centuries)], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 4, pp. 44–58.
- Nesterova E.I. (2004) *Russkaia administratsiia i kitaiskie migranty na luge Dal'nego Vostoka Rossii (vtoraiia polovina XIX – nachalo XX vv.)* [Russian administration and Chinese migrants in the south of the Russian Far East (second half of the 19th – early 20th centuries)]. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochnogo universiteta.
- Nikitina M. (2008) Kitaiskii kvartal [Chinatown], *Amurskaia pravda*, 27 November.
- Petrov A.I. (2003) *Istoriia kitaitsev v Rossii. 1856–1917 gody* [History of the Chinese in Russia. 1856–1917]. St. Petersburg: OOO «Beresta».
- Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniui ot 12.12.2012 [Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly. December 12, 2012], *Official website of the President of Russia*. Available at: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements%20/17118> (Accessed 12 February 2023).
- Ryzhova N.P. (2008) Blagoveshchensk: v poiskakh «chainatauna» [Blagoveshchensk: In Search of A "Chinatown"], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 4, pp. 17–30.
- Svechin N. (2022) *Na kraiu* [On the edge]. Moscow: Eksmo.
- Sevast'ianov V.P., Korsakova N.E. (1983) *Pozolochennoe getto. Ocherki zhizni v SShA emigrantov iz Kitaia, Korei i Iaponii* [Gilded ghetto. Essays on life in the United States of emigrants from China, Korea and Japan]. Moscow: Nauka.
- Sorokin K.E. (1996) *Geopolitika sovremennosti i geostrategiia Rossii* [Geopolitics of modern times and geostrategy of Russia]. Moscow: ROSSPEN.
- Sorokina T. (2001) Kitaiskie kvartaly dal'nevostochnykh gorodov [Chinatowns of Far Eastern cities], *Diaspory*, no. 2–3, pp. 54–74.
- Spetsial'naia tema nomera: «Chainatauny» v Rossii (otvetstvennyi redaktor V.I. Diatlov) [Special topic of the issue: "Chinatowns" in Russia (executive editor V.I. Dyatlov)], *Etnograficheskoe obozrenie*. 2008, no. 4, pp. 3–58.
- Sukhacheva G.A. (1993) Obitateli «Millionki» i drugie. Deiatel'nost' tainykh kitaiskikh obshchestv vo Vladivostoke v kontse XIX – nachale XX veka [Residents of "Millionka" and others. Activities of secret Chinese societies in Vladivostok at the end of the 19th – beginning of the 20th century], *Rossiia i ATR*, no. 1, pp. 62–70.
- Ukolov R. (2006) Pervoprestol'nyi China-grad. «Imeia v Moskve svoi banki, gazety, restorany i uveselitel'nye zavedeniia, kitaitsy i zdes' zhivut v strogikh ramkakh konfutsianskoi kul'tury» [First-throned China-town. "Having their own banks, newspapers, restaurants and entertainment establishments in Moscow, the Chinese live here within the strict Confucian culture"], *Nezavisimaia gazeta*. April, 1st.
- Khramchikhin A. (2005) Zheltoe gospodstvo. Zakhvat Kitaem Sibiri – ne «strashilka». Poskol'ku drugogo vykhoda u nego prosto net [Yellow domination. China's seizure of Siberia is not a "horror story". Because they simply have no other choice], *Politicheskii zhurnal*, no. 27, pp. 61–64.
- Chainatauny – vyzov Rossii [Chinatowns - a challenge to Russia], *Biznes i finansy*. 2006. 20 March. Available at: <http://www.advis.ru> (Accessed 20 July 2022).
- Chernolutskaia E.N. (2008) Konets «Millionki»: likvidatsiia kitaiskogo kvartala vo Vladivostoke [The end of "Millionka": the liquidation of Chinatown in Vladivostok], *Rossiia i ATR*, no. 4, pp. 24–31.
- Etnicheskie rynki v Rossii: prostranstvo torga i mesto vstrechi [Ethnic Markets in Russia: Space of Bargaining and Place of Meeting] / ed. by V.I. Diatlov, K.V. Grigorichev. Irkutsk: Izd-vo IGU, 2015.

- Anderson K.J. (1987) The Idea of Chinatown: The Power of Place and Institutional Practice in the Making of a Racial Category, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 77, N. 4, pp. 580–598.
- Curtis J.R. (1995) Mexicali's Chinatown, *Geographical Review*, Vol. 85, N. 3, pp. 335–348.
- Diatlova E.V., Diatlov V.I. (2017) “Demographic Expansion”: Russian-Chinese Marriages in Migration Mythology, *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, Vol. 10, № 11, pp. 1654–1663.
- Dixon M. (2008) *The Baltic Pearl in the Window to Europe: St. Petersburg's Chinese Quarter*. Ph.D. Diss. University of Oregon Graduate School.
- Huggan G. (2001) *The postcolonial exotic: marketing the margins*. London: Routledge.
- Lin J. (1998) *Reconstructing Chinatown: ethnic enclave, global change*. Minneapolis: Univ. of Minnesota.
- The Encyclopedia of the Chinese Overseas* / Ed. by L. Pan. Cambridge (Mass.): Harvard Univ., 1999.
- Urbansky S. (2019) A Chinese Plague: Sinophobic Discourses in Vladivostok, San Francisco, and Singapore, *Bulletin of the German Historical Institute*, No. 64 (spring), pp. 75–92.
- Wan-Yin Tan W. (2008) *Chinatowns of New York City*. Charleston: Arcadia Publishing.
- Wong B.P. (2002) *Chinatown. Economic Adaptation and Ethnic Identity of the Chinese*. Belmont: Wadsworth/Thompson Learning.
- Yip C.L. (1995) Association, Residence, and Shop: An Appropriation of Commercial Blocks in North American Chinatowns, *Perspectives in Vernacular Architecture*, Vol. 5, Gender, Class, and Shelter, pp. 109–117.
- Zhou M. (1992) *Chinatown: The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave*. Philadelphia: Temple Univ.
- Zhou M. (2004) The Role of the Enclave Economy in Immigrant Adaptation and Community Building: The Case of New York's Chinatown. In: J.S. Butler and G. Kozmetsky (eds.). *Immigrant and Minority Entrepreneurship: Building American Communities*. Westport: Praeger, pp. 37–60.
- Zhou M., Logan J. (1989) Returns on Human Capital in Ethnic Enclaves: New York City's Chinatown, *American Sociological Review*, Vol. 54, N. 5, pp. 809–820.
- Zhou M., Logan J.R. (1991) In and Out of Chinatown: Residential Mobility and Segregation of New York City's Chinese, *Social Forces*, Vol. 70, N. 2. (Dec.), pp. 387–407.

Информация об авторах:

ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич – доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия); профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: vikdyatlov@yandex.ru

ДЯТЛОВА Елена Викторовна – кандидат исторических наук, доцент Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия). E-mail: dyatlovae@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Viktor I. Diatlov, Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation); National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vikdyatlov@yandex.ru

Elena V. Diatlova, Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: dyatlovae@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20 декабря 2023 г.;
принята к публикации 03 марта 2024 г.*

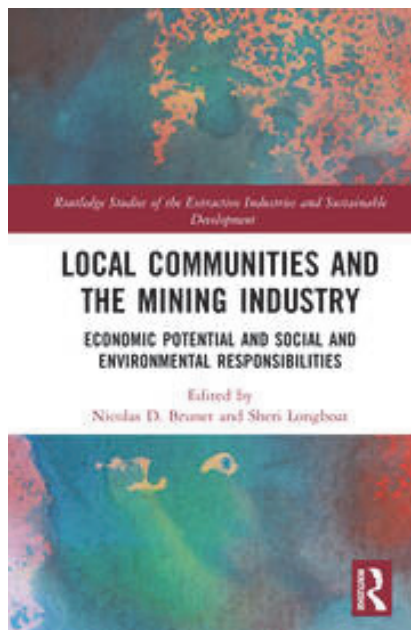
*The article was submitted 20.12.2023;
accepted for publication 03.03.2024.*

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия
УДК 316, 39, 622
doi: 10.17223/2312461X/43/16

Добывающие компании и местные сообщества в Канаде и на Филиппинах

Brunet, N. D., & Longboat, S. (Eds.).
Local communities and the mining
industry: Economic potential and so-
cial and environmental responsibili-
ties. London: Routledge, 2023.
206 p. ISBN 9781032022130



Благодарности: публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Для цитирования: Басов А.С. Добывающие компании и местные сообщества в Канаде и на Филиппинах (Рец. на Brunet, N. D., & Longboat, S. (Eds.). Local communities and the mining industry: Economic potential and social and environmental responsibilities. London: Routledge, 2023.) // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 272–278. doi: 10.17223/2312461X/43/16

Acknowledgments: published in accordance with the plan of research works of the Institute of Ethnology and Anthropology RAS

For citation: Basov, A. (2024) Mining Companies and Local Communities in Canada and the Philippines (Review of Brunet, N. D., & Longboat, S. (Eds.). Local communities and the mining industry: Economic potential and social and environmental responsibilities. London: Routledge, 2023). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 1. pp. 272–278 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/43/16

Книга «Локальные сообщества и добывающая промышленность: экономический потенциал, социальная и экологическая ответственность» вышла в серии «Исследования добывающей промышленности и устойчивого развития» (Routledge Studies of the Extractive Industries and Sustainable Development). Прошлый год был для серии очень заметным: она была запущена в 2015 г., всего в ней вышло 25 работ, из которых 8 были опубликованы в 2023 г. Серия позиционируется как междисциплинарная, призванная интегрировать результаты как социальных, так и естественных наук.

Работа написана в рамках проекта «Глобальные минералы и локальные сообщества в Канаде и на Филиппинах», профинансированного Советом Канады по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук в 2017 г. Проект ориентирован на то, чтобы оценить экологическое и социальное воздействие корпоративной социальной ответственности (КСО) в добывающей промышленности (р. xi), и книга также фокусируется на вопросах, связанных с КСО добывающих компаний. И предисловие, и введение к работе представляют ее как в значительной степени прикладную, ориентированную на выявление проблем и предложение решений. Во введении авторы предлагают исходить из того, что, несмотря на развитые программы по КСО, конфликты между сообществами и компаниями с существенными потерями для тех и других продолжаются. Соответственно, целью они провозглашают исследование факторов, которые формируют сложное пространство взаимодействия в ситуациях добычи полезных ископаемых (р. 6).

Прежде чем перейти к обсуждению содержания работы, надо заметить, что ни один из 15 авторов работы не является антропологом, и антропологическая литература практически не упоминается в книге, даже там, где это кажется крайне уместным – в разделах, обсуждающих отношения добывающих компаний и коренных народов или теоретизирующих о сути КСО как явления. Не упоминаются даже весьма широкие обзоры антропологических текстов, опубликованные в журнале *Annual Review of Anthropology*, или книги обзорного характера, подобные работе «*The Anthropology of Resource Extraction*», вышедшей в этой же серии в 2022 г. Оставаясь недостатком для книги в целом (а также указывая на то, каким все еще небольшим влиянием пользуется антропология в сфере даже социального сектора междисциплинарных исследований добывающей промышленности), эта особенность может принести пользу читателю-антропологу. Не ссылаясь на антропологические журналы, авторы книги обильно цитируют литературу неантропологическую, в значительной степени прикладную, опубликованную в таких журналах как *Extractive Industries and Society*, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *Organization Studies*, *Journal of Cleaner Production*, *The Journal of Corporate Citizenship*, *Community Development*

Journal, Resources Policy. Публикуемые там тексты, как правило, лишены внимания к деталям местного контекста, к этнографическим данным, но все же они могут быть полезны и для исследователя-антрополога, предлагая взгляд на глобальные процессы, который в итоге может оказаться достаточно продуктивным для ориентации внимания и понимания происходящего на локальном уровне (именно так, к примеру, предлагают строить антропологию добычи Р. Пайперс и Т.Х. Эриксен в книге «Mining Encounters: Extractive Industries in an Overheated World», опубликованной в 2018 г.).

Структурно книга распадается на две равные части – «Глобальные обзоры» и «Локальные кейсы», – содержащие по четыре главы каждая. Короткое введение поясняет, что в первой части предлагаются обзоры ключевых для книги тем (каждой посвящена своя глава): успехи и неудачи механизмов КСО; роль соглашений о воздействиях и мерах поддержки в смягчении негативных экстерналий добычи полезных ископаемых; особенности, связанные с иностранными добывающими компаниями; гендерно-специфичные проблемы, возникающие в ситуациях добычи. Во второй части представлены углубленные в локальные особенности кейсы, в которых раскрываются эти же темы, а также некоторые специальные вопросы – например, заброшенность закрытых предприятий, изменения климата (р. 6).

Надо признать, что такое пояснение создает несколько неверные ожидания. В первой части полноценно глобальным обзором является только первая глава (о КСО), оставшиеся главы, хотя и построены как обзоры литературы, имеют заметные географические ограничения: глава 2 (о соглашениях) ограничивается в основном Канадой; этой же стране эксплицитно посвящена глава 4 (о гендерных вопросах); глава 3 раскрывает особенности канадско-филиппинских отношений. Во второй же части есть только один текст, который в полной мере представляет исследование кейса в том смысле, что он основан не только на литературе, но и на полевых и архивных материалах – это глава 6, посвященная последствиям, оставшимся после завершения добывающего проекта на Филиппинах. Авторы этой главы провели, совокупно, 10 недель в поле в течение трех выездов, собрали интервью, использовали местные документы, архивные записи, данные СМИ. Остальные главы основаны на академических текстах и «серой» литературе (государственные и корпоративные отчеты), иногда на анализе законодательства, и в этом смысле мало отличаются от текстов первой части. При этом географически две из четырех глав посвящены Канаде: глава 7 прослеживает историю отношений между компаниями, добывающими уран, и сообществами коренных народов в северном Саскачеване от меньшего влияния сообществ к большому благодаря активизму, регулированию и КСО, а также представляет

интересный обзор ситуации с соглашениями о воздействиях и мерах поддержки; глава 8 фокусируется на провинции Онтарио и демонстрирует применение концептуальной рамки для выявления кумулятивных воздействий на сообщества коренных народов, происходящих на пересечении добычи полезных ископаемых и изменений климата, также обсуждаются механизмы и стратегии из области КСО по управлению этими воздействиями.

На общем достаточно разнообразном канадско-филиппинском фоне несколько одиноко выглядит первая глава второй части – она единственная посвящена Скандинавии. В ней приводятся краткие обзоры истории отношений саамов и добывающих предприятий, включая и связанное с этим регулирование, в Норвегии и Швеции; в виде приложения опубликован список добывающих предприятий, которые оказывали, оказывают или могут оказать воздействие на сообщества коренных народов – приведены названия рудников, краткая информация о них, указаны источники сведений. К сожалению, ни в этом обзоре, ни в других авторы не описывают процесс работы с литературой, отбор и анализ источников, так что оценить их полноту не представляется возможным. Тем не менее работа с указанными источниками выглядит добросовестной.

В целом книга не представляет собой монографического единства, скорее это набор статей разного качества, которые могут пригодиться в том или ином контексте, но как связанное целое они не работают. Одни части не опираются на другие, одни и те же понятия в разных главах определяются несколько по-разному, аргументы и тезисы не отсылают друг к другу. При этом нельзя сказать, что в текстах совсем нет ничего созвучного друг другу, однако редакторы, к сожалению, не оставили для читателя даже во введении никакого обсуждения пересечений между текстами: раздел с обзором содержания книги состоит из кратких аннотаций вошедших в нее текстов.

Поскольку книга не монография, не представляется возможным выделить и раскрыть центральное рассуждение. Все же некоторые связи между главами работают достаточно интересно. Так, автор первой главы рассматривает ряд кейсов реализации принципов КСО в разных частях света в попытке ответить на вопрос: каково реальное воздействие этих программ в долгосрочной перспективе с точки зрения устойчивости развития сообществ? Приводимые данные указывают, что сообщества чаще не удовлетворены добычей, чем удовлетворены, а значит, КСО работает не совсем так, как ожидается. Объяснение этой ситуации автор строит с опорой на работу Дж. Оуэна и Д. Кемп «*Extractive relations: Countervailing power and the global mining industry*», вышедшую в 2017 г., следующим образом: для частных компаний, реализующих добывающие проекты, целью является получение прибыли, КСО является средством для ее достижения. Другими словами, компании рассматривают КСО

прагматически, в контексте управления рисками. Соответственно, компании скорее будут вкладывать больше усилий в КСО в ситуациях давления балансирующей их силы. Источниками такого давления могут быть, например: государственное регулирование; коллективное саморегулирование промышленного сектора; негосударственные и независимые организации, осуществляющие мониторинг деятельности добывающих предприятий; общественное мнение и институциональные механизмы. Там, где такое давление слабее, компании скорее будут расположены избегать или ограничивать свои обязательства в рамках КСО, поскольку последние не будут представляться эффективным средством к достижению основной цели – прибыли. Неутешительное наблюдение в дополнение к этому состоит в том, что государства могут играть существенную роль в усилении давления на компании, но имеющиеся данные указывают на то, что и исторически, и сейчас государства скорее находятся в альянсе с компаниями, чем с сообществами, – потенциальные бюджетные доходы и привлечение инвестиций играют решающую роль в процессе принятия решений о регулировании добывающих проектов. Из этого делается вывод для сообществ: нужно создавать постоянное давление и искать альянсы с другими акторами. Проанализированные кейсы показывают, что хорошо работают формальные соглашения и постоянный мониторинг, а основная задача для активистов – развитие потенциала, возможностей (*sapacity*) сообщества для оказания давления и заключения союзов, на это в первую очередь должны быть направлены усилия, в том числе в рамках переговоров о мерах поддержки по КСО.

Взгляд на недостаточность самих по себе принципов КСО и необходимость организации различных источников давления на добывающие компании хорошо демонстрируется данными третьей главы, в которой на примере канадско-филиппинских отношений дается критический обзор разных уровней регулирования деятельности канадских добывающих компаний за рубежом (международные механизмы, законодательство «домашнее» для компаний, законодательство принимающей страны, механизмы добровольного регулирования) с указанием их недостатков в контроле за нарушениями прав человека и нанесением вреда окружающей среде. Авторы показывают, что все эти механизмы акцентируют внимание на добровольном самоконтроле и в итоге не делают компании в достаточной степени подотчетными и ответственными за нарушения, происходящие в зарубежных странах. Авторы указывают на особенности распространенного дискурса о «ресурсном проклятии», который позволяет характеризовать Филиппины как «слабое государство», не способное транслировать обилие ресурсов в национальное благосостояние, и отмечают, что этот дискурс оставляет за скобками роль внешних относительно Филиппин колониальных и затем капиталистических

актеров, которые систематически влияли (и влияют) на социополитическую среду Филиппин, структурируя ее именно таким образом – делая «слабым» государством. Анализируя присутствие канадских компаний на Филиппинах начиная с 1990-х гг., авторы приходят к выводу о том, что «слабое» государство оказывается выгодным и добывающим компаниям, и Канаде. Приводятся данные, свидетельствующие о непосредственном участии (или заметном неучастии) в (де)стабилизационных процессах, например сведения о финансировании добывающими компаниями вооруженных групп; об отсутствии действий со стороны Канады в отношении известных фактов преследования (и убийства) правозащитников и активистов в сфере добычи полезных ископаемых и, напротив, о сотрудничестве Канады и Филиппин в области армейской подготовки, продажи оружия и т.п. В итоге совместный акцент правительства Канады и добывающих компаний на КСО, очевидно, неэффективен; дискурс КСО либо не мешает воспроизводству структурного неравенства и насилия, либо поддерживает это воспроизводство. Соответственно, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и агентность местных сообществ, утверждают авторы, необходимо более жесткое «домашнее» регулирование для канадских транснациональных добывающих компаний.

В контексте, заданном первой и третьей главами, дополнительную глубину обретает и шестая глава, описывающая историю медного рудника, действовавшего в районе г. Сипалай на Филиппинах с 1950-х гг. и обеспечивавшего заработки, образование и инфраструктуру муниципалитету, но также оставившего по закрытии предприятия загрязненные территории и след невыполненных или брошенных инициатив. Хотя именно этот рудник не связан с канадскими компаниями, общие структурные проблемы реализации добывающих проектов в «слабых» (и репрессивных в отношении активистов и правозащитников) государствах с надеждой на механизмы КСО остаются теми же. Что касается происходящего в самой Канаде, сходные проблемы демонстрируются в третьей главе на примере неравенств в отношении женщин и девочек в сообществах коренных народов, вовлеченных в ситуации добычи. Авторы методично анализируют разные виды неравенства и приводящие к ним факторы, которые они сводят в три группы: женщины испытывают больше трудностей в связи с негативными воздействиями; получают меньше выгод от взаимодействия с добывающими компаниями; в гораздо меньшей степени по сравнению с мужчинами участвуют в принятии решений. В главе раскрывается и роль колониальной истории в том, как сложилась такая ситуация (на примере того, как складывалось регулирование самоуправления сообществ коренных народов Канады), и то, как недоступность для женщин механизмов для оказания давления на компании приводит к воспроизводству ситуаций неравенства.

Таким образом, книга может быть интересна антропологам с точки зрения достаточно обоснованного указания на некоторые особенности глобальных процессов, структурирующих ситуации добычи в различных местных контекстах. При этом надо иметь в виду, что работа не совсем ровная по качеству (хотя большая часть текстов представляется убедительной), не цельная (но все же содержит интересные концептуальные пересечения) и почти все авторы не раскрывают исследовательских процедур (но однако работа с источниками выглядит добросовестной). Тем не менее как тексты по отдельным темам или как достаточно быстрое и разностороннее погружение в канадские и канадско-филиппинские контексты книга представляет несомненный интерес.

Басов Александр Сергеевич

Сведения об авторе:

БАСОВ Александр Сергеевич – младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: a.basov@iea.ras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Aleksandr S. Basov, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: a.basov@iea.ras.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14.02.2024 г.;
принята к публикации 28.02.2024 г.*

*The article was submitted 14.02.2024;
accepted for publication 28.02.2024.*

Научный журнал

**СИБИРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
SIBERIAN HISTORICAL RESEARCH**

2024. № 1

Редакторы: Н.А. Афанасьева, Ю.П. Готфрид
Оригинал-макет А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой
Редактор-переводчик Д.Э. Уигет

Подписано в печать 03.04.2024 г.
Формат 70×108¹/₁₆. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 22,7. Гарнитура Times.
Тираж 50 экз. Заказ № 5855. Цена свободная.

Дата выхода в свет 13.05.2024 г.

Отпечатано на оборудовании
Издательства Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: 8+(382-2)–52-98-49
Сайт: <http://publish.tsu.ru>
E-mail: rio.tsu@mail.ru